ГЕССЕ

Жаклин Сапс
Даниель Сапс

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Герман Гессе (1877–1962) — поэт, прозаик, философ, общественный деятель — одна из ярчайших фигур XX века. Его произведения «Петер Каменцинд», «Демиан», «Сиддхартха», «Степной волк», «Игра в бисер» стали вкладом в сокровищницу мировой литературы. В 1946 году писателю была присуждена Нобелевская премия. Сам Гессе называл свое творчество «попыткой рассказать историю своего духовного развития», «биографией души».

Французские исследователи Жаклин и Мишель Сенэс, основываясь на большом эпистолярном материале, воссоздали жизненный путь писателя, ставшего для современников символом мучительных поисков смысла жизни.

- Жаклин Сенэс, Мишель Сенэс
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Глава I МАРИЯ
  - Глава II ПОДЕЛЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
  - Глава III ОДИНОКИЙ ЮНОША
  - Глава IV НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ
  - Глава V НА ТО БЕРЕГ
  - Глава VI НАКОНЕЦ-ТО ПОЭ!
  - Глава VII СОЗЕРЦАТЕЛЬ
  - Глава VIII ПЕТЕР ЛЕ ВЕР
  - Глава IX ВОЙНА
  - Глава X АБРАКСАС, ИЛИ ОСОБЕННЫЙ ОПЫ
  - Глава XI ВЕЧНОСТЬ РЕКИ
  - Глава XII ЧЕЛОВЕК-ВОЛК
  - Глава XIII КОЛЛИНА Д'ОРО, ИЛИ МАСТЕР ИГРЫ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГЕРМАНА ГЕССЕ
  - БИБЛИОГРАФИЯ

Жаклин Сенэс, Мишель Сенэс
Герман Гессе, или Жизнь Мага

ПРЕДИСЛОВИЕ

Узнавание каждой книги Гессе, духовное обогащение и удовольствие, которое испытываешь от нее, пересекаются в сознании читателя с образной символикой и эмоциональной наполненностью других его произведений — и невозможно проникнуть в целое, не подчиняясь невольной потребности перечитывать и перечитывать его. Между творениями и жизнью автора неизменно существует область тонких и многообразных взаимосвязей. Поэтому обращение к семейным архивам и книгам Гессе дало нам возможность придать его биографии подлинность, глубже проникнуть в содержание его творческого пути.

Мы хотим выразить благодарность всем, кто помогал нам собирать документальный материал, чьи советы во многом облегчили нашу работу. Мы признательны доктору Герхарду Кирхгоффу — директору Института Гёте в Тулузе, специалисту по творчеству Германа Гессе, — чьи комментарии были особенно полезны и чье любезное посредничество позволило нам сотрудничать с замечательными помощниками из Германии и Швейцарии. Сыну писателя Хайнеру Гессе мы обязаны незабываемым приемом в Тичино. Господин Фолькер Михельс, представляющий издательский дом «Зуркамп», дружелюбно облегчил нам доступ к необходимым трудам. Его собственными яркими историческими и критическими работами мы также плодотворно воспользовались. Назовем и тех, с кем мы познакомились в процессе работы: в Монтаньоле — сеньора Камуцци; в Тюбингене — господин Хекенхауэр, сотрудник издательства святилища высокой культуры, где еще жива память о Германе Гессе; в Кальве — связанные родственными узами с семьей Гессе господин и госпожа Бодамер. Наконец, это незнакомцы из Гайенхофена и Маульбронна, сопровождавшие нас по следам писателя.

Глава I МАРИЯ

…Происхождение у всех одно — матери, мы все из одного и того же жерла…

Г. Гессе. «Демиан»

Мария появилась на свет в самый разгар знойного лета на Востоке. Стон моря и покачивание кокосовых пальм баюкали девочку, подобно ласкам кормилицы Гозианны.

Родители не уделяли дочери особого внимания. У миссионеров Гундертов были более важные дела: их влекло непреодолимое желание апостольского служения. На восточном берегу Индии они хотели выполнить миссию, к которой считали себя призванными. Ничто не могло отвлечь их от священства, лишь откровения, являвшиеся им порой в паломнических скитаниях и аскетизме постов, радовали их души. Рождение третьего ребенка, девочки, 18 октября 1842 года в Талатчери протестантском районе, расположенном на вершине холма, окруженного церквями, — разрушило их планы.

В Индии дни недолговечны. Если дожди начинаются слишком рано, а заканчиваются слишком поздно, течение времени нарушается. Люди могут умирать с голоду, а Бог так и не снизойдет в их грязные жилища.

Девочка потерялась в молчаливой дрожи зорь и ночном ворчании шакалов, стоне волн у ближнего пляжа, в исполненных тоски колыбельных служанки. Привыкшая жить в ожидании возвращения родителей, удивлявшихся каждый раз ее взрослости, бледности и задумчивости, она была не «безмятежным розовощеким ребенком, покоряющим сердца своим смехом и лепетом, но существом со слабыми нервами, легко возбудимым, мрачным и бледным, с темными блестящими глазами». Говорить в семье миссионеров о том, что их девочка станет красавицей, было неприлично. Гундерты уже видели свою дочь распятой Господом и ведомой судьбой к агониям и ясновидению.

Герман Гундерт познакомился с Юлией Дюбуа на пике духовного кризиса, который приблизительно в двадцатилетнем возрасте заставил его отправиться проповедовать христианство язычникам. Молодой теолог из Штутгарта, пламенный поклонник Гёте, он проводил самые безмятежные годы своей жизни, сочиняя поэмы или переписывая гусиным пером переложения для фортепьяно «Волшебной флейты» Моцарта, пока его не осенило

озарение. Отрицание догматизма официальной церкви толкнуло его нарушить традиционный путь от обычной школы Маульбронна до университета в Тюбингене, который открыл бы ему доступ к достойной уважения карьере. Он сдружился со старым фабрикантом, производившим зубные протезы, Антоном Норрисом Гровесом, английским миссионером, и уехал вместе с ним и горсткой фанатиков в Индию. Среди них была молодая двадцатисемилетняя женщина с выдающимися скулами и короткими ногами, вся — пламя, вся — огонь, в английском платье горчичного цвета, в черных ботиночках, зашнурованных на икрах. Родившаяся в семье виноградаря из Корселя, на берегу озера в Невшателе, Юлия усвоила резкие жесты и крикливый тон простолюдинов. По приезде апостольского посольства в Мадрас она нахлобучила на голову бамбуковую каску, вынула из кармана экземпляр «Христианского установления» Кальвина и провозгласила на английском, что «нет ничего лучше для работы, чем жара».

От Гундертов, швабов из Шварцвальда, Мария унаследовала квадратный подбородок и исполненный грусти взгляд, который невозможно было бы выдержать, если бы не свет, мерцавший порой сквозь его сумеречность. Казалось, хрупкость она взяла от своих предков из французской Швейцарии. Была ли она счастлива в детстве? «С отрочества меня часто терзал неопределенный страх. Я просыпалась ночью с криком от ужасного сна…» Времени разбираться в этих мучениях у Юлии не было. Занятая до глубокой ночи подготовкой к проповедям, она просила мужа подняться к девочке, и той запомнились эти ночи. «Мой отец, сама нежность, — вспоминала Мария, — часами мог носить меня на руках и петь мне песни на всех языках до тех пор, пока, изо всех сил стараясь держать головку близ его надежного сердца, я, успокоенная, наконец засыпала…»

Пастор-шваб, вскормленный латынью и ивритом, влюбился в Индию. Бог никогда еще не блистал перед ним так ярко, как в значениях древних идиом, заключавших в себе откровения поэзии Вселенной. Он был погружен в глубокие лингвистические исследования и, рассказывая Марии историю погонщика и царских слонов, священных коров, умирающих от старости на берегу Ганга, или о походах пастухов и их буйволов между Дели и Бенгалором, извлекал из малаяламского наречия, на котором говорил каждый день, самые красивые обертоны. Он открыл Марии огромную звучащую книгу Индии, благодаря которой Библия Лютера засияла новыми красками. Мария все более привязывалась к отцу, одаренному молодостью, умом и красотой, не зная толком, что же ее так привлекало: быть может, излучение

нежности, которую Юлия не имела ни времени, ни желания отдавать. Не то чтобы эта женщина, работавшая с безграничным усердием во славу мира, не любила детей. Просто она отбрасывала как тривиальную и, соответственно, бесполезную заботу о домашнем очаге, совершенно искренне пренебрегая собой. Зачем тратить свое время на земные хлопоты, когда лишь Бог должен быть воспет, осенен молитвой и служением? И предложение Гундерта она приняла лишь затем, чтобы полнее посвятить себя работе в миссионерской общине. Во всем этом Господь не предусмотрел одного: кроме души, исполненной святости, она была наделена человеческой утробой. За три года Юлия родила троих детей. Ее жизнь осложнилась: приятная, когда речь шла о служении Господу, она была ей невыносима у домашнего очага.

Герман Гундерт не раскаивался, что женился на Юлии: ее преданность делу помогла ему достичь миссионерского поста, о котором он мечтал. Но управление в свои руки Гундерт смог взять лишь два года спустя после смерти главы немецкой миссии. Чтобы занять пост директора, необходимо было жениться. Так, волею обстоятельств, после двух лет одиночества он остановил свой выбор на Юлии.

Их брачная ночь была посвящена молитвам, зажженным одной небесной любовью. Начавшись в телеге, запряженной быками, по дороге к их новому посту, она закончилась на заре подготовкой к проповеди. С тех пор Юлия не переставала посещать бедных, неустанно молиться, вдыхать во всех и каждого непререкаемую веру в дары Господа.

Эта энергичная женщина, распоряжавшаяся чужими жизнями ценой строгой личной дисциплины, чудесным образом позволила Герману Гундерту открыть для себя на великом полуострове вселенную «божественной душевной чистоты».

Отдавая предпочтение научным занятиям в области искусства и эстетики, он искал новые откровения в спиритуализме и претворял суровый огонь протестантизма в какое-то иное знание. Все это раскрывалось, запечатленное таинственными мазками, в трепещущем душевном пространстве чувствительной Марии, в пейзаже мысли и меланхолии, где девушка ловила молчаливые длинноты звучаний, прелюдий к растущей в ней нежности. С зари, когда отец устремлялся к ней, чтобы взять се на руки и отнести к речке, она бормотала что-то от удовольствия и, цепляясь за него, притворялась испуганной, чтобы вскрикнуть жалобно: «Sahive, jenne mukkenda», что на малаяламском языке означало: «Господин, не мочите мне голову». Сагив! Господин! Ей не было и трех лет, и она дрожала от радости. Ее отец был

исполнен достоинства мессии и на фоне бурной деятельности Юлии блистал сановитостью.

Чтобы ее вселенная, существовавшая между царственным витязем, исполненным тайн, и этой маленькой нервной женщиной, ее матерью, не распадалась на мелкие крупицы, нужна была особая религия, которая поддерживала супружескую любовь: пиетизм6.

Пиетизм родился не внезапно. Он завоевывал лютеранские церковные круги на протяжении многих лет. Гундерта эти идеи потрясли. В двадцать лет он охотно сжег бы святые книги. Он, сын шваба, которого звали в Штутгарте «Бибельгундерт» — «человек Библии», размахивал Гегелем и поддался идеям одного из своих учителей, Давида Фридриха Штрауса7, который перед всем миром осмелился поставить под сомнение историю Иисуса. Молодой человек был обращен в новую религию — и сожжен ее болезненным пламенем. Обретя Мессию, он теперь вошел в его роль. Мария иначе своего отца и не воспринимала — в его словах она слышала лишь божественные повеления.

Когда Юлия, живя в Корселе, получила письмо с приглашением работать в миссии, она восприняла его как призыв, почувствовала в себе потребность провозгласить новое откровение, внушенное Библией, изгнать грех, мерзость которого ее воображение с удовольствием преувеличивало. Прекрасное и высокое пламя ее страсти обращалось в созерцание грешной человеческой души, и сама она была настолько подвластна ощущению своей неспособности к благостности, что замыкалась в своем служении, стремясь попрать собственную природу. Горячо приверженная катехизису, миссионерка провозглашала: в черноте своих мерзостей каждый должен был падать ниц. С рождения Марии Юлия, сочтя свою дочь грешной, увидела в ней добычу змия, которого скручивала своей рукой, чтобы удержать вдали от ребенка, с глазами, полными огня, заклиная свое дитя не терять его из виду. Рядом с этой воительницей малышка ворочалась, никак не засыпая. Она видела меркнущую ясность ночей. Мрак и ужас мучили ее. В ее глазах таился страх.

Пиетизм ведет к одержимости. Он — закон, оправдание жизни, безумие и самоосознание каждого. Человек просыпается с пиетизмом, принимает пищу с пиетизмом, говорит, дышит в пиетизме. Неискушенная вера Юлии выражалась в чрезмерной набожности — ее супруга увлекали строгость и глубокое чувство. Они не обменивались ни одним взглядом, который не был бы внушен им Небом. Плоть была вторична, нежность бесполезна. Для каждого из них поглощенность своей внутренней мистикой играла роль обручального кольца.

Со своими старшими братьями Германом и Самюэлем Мария выросла, окруженная этой атмосферой проклятия и восхищения, в пастырской резиденции рядом со стойлами буйволов, с верандой, где жались друг к другу в тесноте английские стулья, и храмом посреди дороги, где собирались крестьяне-мусульмане и молодые буддисты для упражнений и библейских чтений. Когда жара одолевала девочку, кормилица обмахивала ее пальмовой ветвью и кормила мякотью кокоса, находя радость в прикосновении к ее гладким черным волосам. Мария звала ее Гозианной — звучным именем, так похожим на жизнеутверждающее христианское Гозанна. До двух лет девочка не покидала загорелых рук и сари этой женщины, развязывавшей свое одеяние разве только чтобы приготовить чай или набрать в овраге листьев папируса. Жара, безлюдье пастырской резиденции и медленное течение времени располагали к апатии.

Так вяло и небрежно жизнь могла бы тянуться до бесконечности, но однажды по возвращении из очередной поездки Юлия поняла, что опять беременна. Как всегда занятая и суровая, она решила, что наступают тяжкие дни и дети больше не могут оставаться в Талатчери в столь нестабильных жизненных условиях. Она завернулась в огромную кашемировую шаль и стала ждать своего срока. Родилась дочь, названная Кристиан, такая маленькая и милая, что ее стали звать Нан.

Вскоре для Марии все изменилось — началось великое приключение: «Трех лет от роду я должна была покинуть мою прекрасную родину: родители перебирались в Европу ради более здорового образа жизни и брали с собой нас, нуждавшихся в воспитании. От этого путешествия у меня остались смутные и неприятные воспоминания, как от мучительного кошмара. Это было отвратительное плавание по Красному и Средиземному морям в тесной каюте, с плохим питанием. Бедная больная мать много намучилась со мной, слабенькой и вечно мрачной. моя маленькая двоюродная сестра ко всему легко привыкала и поглощала с огромным удовольствием плохой сыр, хранившийся на корабле. Чтобы развеять скуку, я кидала ножницы и все, что мне попадалось под руку, через узкое окно каюты в волны…»

Мария свертывалась клубочком в уголке, с недовольным видом ожидая дня, когда ей придется встретить испытание еще более жестокое — испытание зимой. «… Во время путешествия из Триеста в Штутгарт через Зальцбург, — вспоминала она, — мы, крохотные создания, вскормленные огненной вселенной тропиков, нашли в себе силы перестрадать холод». В доме дедушки с бабушкой она наконец поняла цель путешествия, и ее душа оцепенела: родители покидали ее. Несмотря на расточаемые

ей ласки и обилие гостинцев, девочка, как и ее братья, проявила строптивость и легкомысленность. Она была наказана розгами, побывала в чулане, а за семейным столом, бросая прямо в стену тарелку со шпинатом, воскликнула в ярости: «В Индии только коровы едят траву!» Когда пробил час разлуки, нужно было отрывать ее от матери. С безнадежностью Мария вцепилась в Юлию, повиснув в беспамятстве на ее шали.

Гундерт вновь обрел Швабию: своих стариков-родителей, кузенов, друзей, людей отчаявшегося поколения. Воспоминания о наполеоновских армиях, топтавших землю Вюртемберга, и ненавистном вольтерианском духе уже рассеялись. Теперь, объединенные религиозным призывом, укрепившим их сердца, его близкие превратились в братьев по духу, погруженных в глубокую меланхолию, предающую их Господу в интимных и горьких молитвах. Более чем когда-либо Юлия прониклась идеями доктрины, грозным предопределением обрекающей каждого на почести либо проклятие. Так супруги Гундерты возвратились к истокам пиетизма, черпая из родной земли вдохновение, укрепляя через встречи и разлуки смысл своего миссионерского служения. Ради него нужно было пожертвовать всем. Особенно детьми, драгоценными дарами Господа, которые также обязаны созидать, разрушать и вновь созидать свою душу.

Перед возвращением в Индию Герман и Юлия доверили дядьям из Штутгарта заботу о своих сыновьях, определенных в лицей. Бабушке с дедушкой отдали Нан, восхитительного ребенка с голубыми глазами и золотыми кудрями. Но что делать с Марией? Родители долго решали, но в конце концов девочка осталась у богатого богомольца доктора Остертага, который охотно принимал детей миссионеров, отправлявшихся на служение. Его бездетная жена буквально влюбилась в маленькую бунтовщицу. Мария вспоминала: «Я была чертовкой во всем, часто рвала одежду, что стоило мне многочисленных царапин. У меня всегда где-нибудь был синяк, порез или разбита коленка».

У Остертагов она не раздумывая участвовала во всех забавах воспитанников. Игра в куклы вызывала у нее отвращение. Она предпочитала общество конюшего, что позволяло ей тайно брать гнедую лошадь. Наперекор падениям, она мчалась сквозь зарю по дороге, казалось, вновь обретая нежность отцовских рук: «Могущественная любовь связывала меня с прекрасной природой Господа. Она распространяла на меня чудесное сияние, и насколько я могла быть стремительной и озорной, весело играя с другими, настолько я была спокойна и глубоко взволнована, оказавшись где-то наедине с природой».

Красивая дочка Гундертов выделялась красноречием, уже

твердо стоя в свои шесть лет на ногах: высокая, цветом лица навсегда запечатлевшая оттенок индийского солнца, с очень черными глазами и волосами, полными тем не менее яркого блеска. В день рождения ей разрешили пойти с воспитанниками в Маргретенский лес. Ее подружки плетут венки из плюща, подстерегают белок, водят хоровод; она покидает их, устремляется в кусты, продирается на полянку, покрытую мхом: «…Птицы щебечут в ветвях, в листве слышится шорох, и от какого-то безмерного предчувствия, от восхищения и глубокой тоски я кидаюсь в слезы». С этого момента ее существо разрывается от противоречивых страстей, и она пробует выразить их в песнях, рифмах, картинках, словах. Она несмело обращается к писательству. Гундерт, некогда баюкавший ее, как индийский сказочник, одарил ее музыкальностью, легкой, как дыхание. Где он, высокочтимый отец, так давно отсутствующий, что уже кажется забытым?

Она любит всё: прохожих в парке, доброго Остертага, старожил Штутгарта, тоже «с серебряными волосами», и Принца Руперта — лошадь, которую она целует в ноздри и водит на водопой. Она обожает Эмили, свою новую мать, хохочет со своими тетушками, украшает косы цветными лентами и, легкая и озорная, скачет по земле, которую воспринимает как первозданный райский сад. В ее ясных глазах распускаются цветы, проплывают облака, стираются, меняя друг друга, времена года, струятся ручьи, блестят рыболовные снасти и предрассветные звезды. Все отражается в них легко, бесшумно и ясно. Маленькая девочка обрела свой рай. Мрачный сатана, ее непременный спутник в Талатчери, вернулся в Индию вместе с деятельной Юлией. Но Мария больше не думала о нем.

И тем не менее в тот проклятый день она его увидела. Он принял облик полненькой преподавательницы по имени Лотте, которой были поручены обучение и охрана воспитанниц в Гундельдингене. Как демону удалось вновь появиться? Достаточно было одной сорвавшейся поездки в Штутгарт, куда воспитательница сопровождала малышку в гости к дедушке. Мария увидела молодую женщину в объятиях мужчины, который целовал ее прямо в губы, да так долго, что они опоздали на поезд. Вернувшись поздней ночью в пансионат, Лотте вынуждена была объясниться. Чтобы выпутаться, она солгала. Тоном ангельского чистосердечия она поведала вымышленную историю про неотесанного слугу, утерянный багаж, с бесстыдством вводя всех в заблуждение, а затем злобно преследовала ученицу, заставляя ее хранить молчание. С этого дня мир перевернулся: зло показало свое лицо. Оно имело определенный дух и характерные черты.

Сатана существовал: светлая плоть, проницательный взгляд, приятный голос — он дышал рядом с нею, бросал тень на ее дни.

Марии двенадцать лет! Слишком высокая, чтобы уютно чувствовать себя среди одногодок, она боялась общества более старших детей из-за своей кажущейся неуклюжести. В октябре 1850 года ее переводят в пансионат близ Штутгарта, в долине Корнталя. Большими стальными крючками она застегивает воротник школьной накидки, натягивает чуть ли не на колени носки и уходит с блистающим гордостью взглядом.

Едва Мария переступила порог своего нового пристанища, начались ее завоевания. Ольга Бунзен, с тонкими волосами и веснушчатым носиком, была мила и нежна. Между дочкой Гундертов и этой русской шестнадцатилетней девушкой выросла двусмысленная страстная привязанность. Девочка пишет в своем дневнике: «Она проходила мимо, как золотое утреннее солнце, принося тепло и свет, и часто, как спокойная луна, вызывала ностальгию, погружаясь в сладкие мечтания». Тайные милости, нежные придирки, неумеренные ласки, обезоруживающая застенчивость. Не нужно было много времени, чтобы их руки потянулись друг к другу, и в улыбках отразилось нежное единение.

Крепкая, «милая и одаренная, рано повзрослевшая» Ольга стала ангелом-хранителем для этой измучившейся малышки, которая пытливым сердцем листает вместе с ней грустный альбом своей жизни. Бедная Мария! Родители совсем не пишут ей, два года назад умерла Нан, она не видится со своими старшими братьями, занятыми учёбой. С ее прекрасной родины, сверкающей Индии, пришло известие, что Юлия произвела на свет еще двух мальчиков, Поля и Давида. Нет новостей от Эмилии, ее крестной. Старшая подруга считает глупым предаваться унынию. «Ольга, я тебя люблю», — вздыхает Мария. Одни мечты, головы, склоненные к свету одной лампы, рука, которая ищет руку подруги, сидящей за одной с ней партой или идущей рядом на прогулку, от этого всего она не откажется никогда.

Мария скользит по коридорам большого воспитательного дома под взглядами других девочек, большей частью покинутых, как и она. В Корнтале, убежище изуродованного отрочества, следят друг за другом, склочничают, любят. Погруженные в молитвы, бормоча признания с огненными щеками, миленькие пансионерки, жаждущие пылких впечатлений, гуляют, обнявшись, вдоль дикого плетня и обнаженных ив и обмениваются записочками, спрятанными между листов классных книг. Ольга держится от них в стороне. Она в одиночестве рисует суму

сборщика пожертвований в форме сердца, запечатлевает на скамьях часовни профили своих поклонниц. Сейчас она выбрала Марию и удерживает ее своей магической притягательностью. Узница, слагающая в ее честь пронзительные стихи, пыталась выразить в них свою верность.

И вскоре ей представилась такая возможность. Но по роковому стечению обстоятельств эта история стала лишь еще одной ее болью: «В столовой я с трудом разглядела свою обожаемую Ольгу стоящей перед кафедрой и вынуждена была выслушать слова пастора, который обвинял ее в тяжком грехе». Стало известно, что Ольга была любовницей молодого барона, жившего по соседству. Она вынуждена была покаяться, после чего была изгнана из пансиона как распутница. Мария до последней минуты защищала подругу. Страх наказания, вспыхнув в сердце, не останавливает ее: она бросается искать Ольгу. Ее богиня спряталась рядом с кладбищем, в уголке сада, руками закрыв лицо. «Ольга, отчего ты плачешь?»

Мария ничего не знает о любви, кроме своих чувств к Ольге, и готова сама подвергнуться преследованиям. Гнев пастора только распаляет ее. Марию сажают в карцер. Она отказывается от еды и лелеет мысль о мщении, читает тайком Шиллера, проглатывает ночами откровенные романы.

До апреля 1856 года девочка будет заливать слезами подушку и млеть под луной, сочиняя стихи. Наконец ее швейцарские тетушки из Корселя по просьбе обеспокоенной Юлии забирают племянницу из Корнталя и устраивают в кальвинистской франкоязычной семье в Невшателе. Нурз, прислуга и гувернантка, изматывает девочку работой: «Мария, пойдите за молоком, приготовьте хлеб, принесите дров!» В тринадцать лет она собирает крохи своего французского, чтобы отвечать на приказы. На ее лице угасает всякое выражение. Она бегает по хозяйственным надобностям и на берег озера, созерцание которого наполняет ее радостью.

Тем временем большая семья стягивает вокруг нее свои сети. Но напрасно они зовут ее к пиетизму, способному тайными тропами привести блудного ребенка на божественную стезю. В ней узнаваем взгляд Юлии, острый, но блещущий сумеречными оттенками, слишком томными, чтобы иметь небесное происхождение. Голос, низкий и музыкальный, голос из полифонического хора, она наследовала от Гундерта. Она вновь встречается со своими старшими братьями, затем неожиданно из Индии приезжают младшие. Навещает тетушку Эмму, сестру отца, младшую из семерых детей Людвига — благородного библейского предка, умершего в ореоле святости, когда она

горела в пекле Корнталя.

В сезон сбора винограда Мария проводит самые чудесные из своих каникул с семьей Дюбуа, за их столом между позолоченными псалтырями и винными бочками. Во фруктовых садах, посаженных дедушкой Франсуа, она собирает яблоки, потом несется в поля, влекомая трепетом ликующей души. В обществе юных кузин она лихо управляется с веретеном и иголкой, штопает чулки на самшитовой болванке, которой пользовалась еще бабушка Юдит, умершая в 1844 году.

Однажды, в самый разгар лета 1856 года, хозяева передали ей письмо из Индии. С жадностью прочтя его, она лишается дара речи, ее глаза наполняются слезами: родители зовут ее к себе! Несколько недель она проводит в Корселе, готовясь к отъезду. И вот приходит пора прощаний: сначала в Базеле, потом в Штутгарте. Она навещает долину Корнталя в безрассудной надежде получить известия об Ольге. Ее тепло встречают воспитательницы, старинные приятельницы, но никто не говорит о роковой подруге, и она сама никогда больше не произнесет ее имени.

* * *

Все готово для путешествия, и осенью 1857 года Мария отплывает из Марселя на борту пакетбота «Валетта», смахивая ослепляющие ее слезы.

Поднимается ветер, чтобы унести ее в море, и небо разрывается от таящихся в нем предзнаменований. Она одета во фланелевую юбку, чулки плотно облегают длинные ноги, грудь стеснена корсажем. Собственное тело, внезапно распустившееся, натягивающее петли шерстяной вязки, плотно облегаемое податливым крепоном, смущает девушку. Ее косы собраны в шиньон, а грудь украшена крестом, блестящим, как звезда, на лацкане жакета из льняного полотна. В саквояже с откидным верхом между двумя стопками белья лежит ее дневник.

В конце ноября «Валетта» достигает Мальты, потом Александрии. На закате Мария любуется погружающимся в жаркую ночь Каиром. Сон она заменяет игрой и пением с шестью смешливыми немцами, спутниками по путешествию, восхищенными, как и она, открывающимся им миром. Египет они пересекают на поезде и в Суэце садятся на «Бомбей», судно Императорской миссии. Маленькая школьница увидела нескончаемый сон, дюны на берегу моря, города у устья крупных рек. Среди восточного многоцветия Мария перебирает с

неловкостью маленькой девочки помятую одежду, набив бисквитом рот, не обращая внимания на падающие на лоб локоны, радуясь порой чему-то, ведомому ей одной.

«Вы уже не девочка», — восклицает блондин с длинными бакенбардами и голубыми глазами, держащийся слегка небрежно. Мария его заметила вчера в кают-компании: хорошо одетый англичанин, не слишком молодой, но такой красивый и серьезный, что она не могла оторвать от него взгляда. Вернувшись в каюту, она записала в дневнике: «Волнение, странная дрожь овладели мной. Интуиция подсказывала мне, что этот человек мне послан судьбой. Я едва осознавала это. Однако ночью я заснуть не смогла, его образ, лишь мимолетно запечатленный моей памятью, постоянно возникал у меня перед глазами».

Мария чувствует себя во власти этого иностранца, пробудившего в ней склонность к экзальтации. «Где бы я ни была, куда бы ни обращала свой взгляд, повсюду я ощущала его присутствие». Как и в отношениях с Ольгой, она полностью подчиняется этому человеку, так неожиданно появившемуся в ее жизни: авантюристу, быть может? Но нет, он джентльмен. Ей нравятся его внушающие ей доверие руки, она прислушивается к своему обезумевшему сердцу. Для этой девочки, едва достигшей пятнадцатилетия, обрушившаяся на нее любовь была подобна удару молнии.

Ее воздыхателя звали Джон Барнс. Он не скрыл от нее ни своего аристократического происхождения, ни своей англиканской веры. Но знал ли он других женщин? Сначала, быть может, его лишь забавлял этот ребенок, за миловидностью которого таился ум, а затем, почти против своей воли, он неосторожно поддался влечению.

Удивленная настолько же, насколько взволнованная его чувством, Мария записала позднее: «Когда теперь я смотрю в прошлое, это для меня — загадка: как этот человек смог полюбить меня; я была обыкновенным ребенком, не особенно красивым, и должна была, наверное, вести себя ужасно по-детски». Как и она, Джон сохранил воспоминание о прекрасном спокойном вечере, когда под небом, полным звезд, шептал ей страстные признания. *«Я* подумала, будто огромное сияющее солнце любви в одно мгновение согрело меня». На палубе, наедине со звездами, они смотрели друг на друга, их губы и тела соприкасались, внезапная очевидность любви охватила их. Мария вдруг расцвела вызывающей красотой. Пьянящие тайные свидания заменили ей отныне вечерние молитвы: «Я была счастлива, невыразимо счастлива. Мое маленькое детское сердце

не способно было вместить новое и безмерное блаженство. Против своей воли я выдавала свой нежный секрет».

Когда ни для кого не осталось сомнений, что Джон и Мария любят друг друга, по пароходу поползли кисло-сладкие сплетни. Индийский берег был в нескольких милях пути, и муссон нес путешественникам теплое дыхание Ганга. По мере приближения к полуострову в сердцах влюбленных рос страх, нервировавший Джона и сдерживавший Марию. Она знала, что едва ее спутники ступят на землю, ее отец очень быстро обо всем узнает. Слишком много взглядов, сочувствующих и любопытных, останавливалось на ней, давая ей каждый раз понять, что она ни в коем случае не должна была связывать себя словом с англичанином без согласия доктора Гундерта. Она не могла больше смотреть на горизонт, без того чтобы не видеть на солнце своей страсти тень отца, которого уже не помнила, но, воспитанная в пиетизме, привыкла почитать наравне с Христом. Барнс или Иисус? «О, Моя первая любовь! Я никогда не смогу больше любить!» — кричит она возлюбленному. Забыла ли она, что Бог пиетистов — бог ревнивый, что он не уступит Марию первому встречному? Быть может, Герман Гундерт напомнит ей об этом?

В Бомбей предполагалось прибыть 23 декабря. Двадцать второго, в воскресенье, в бортовой каюте, приспособленной под часовню, заканчивалась служба, когда Джон Барнс присел подле Марии с молитвенником в руках. Он пел с таким чувством, что его молитва показалась Марии просьбой о любви, настойчивой и безнадежной. Они должны были вскоре расстаться: Джон направлялся в область Синд, Мария — в Мангалуру. После службы они долго не могли разойтись. Мария плакала. Англичанин хотел поцеловать ее — она отказалась. Но на следующий день, когда все сходили с корабля, они держались за руки, глядя друг другу в глаза, и никто не мог разлучить их в эту минуту. Между доками и складами Бомбея кишела нищая толпа. Небо нависало над крышами банков и бедняцкими хибарами. Любовники искали страстных объятий, когда пожилой немец, присматривавший за Марией в путешествии, оборвал ее мечту. Нужно было отправляться дальше. Смущенный Барнс с безнадежным вздохом спросил, где живут ее родители. Хауф ответил, но так грубо, с такой нехорошей улыбкой, что Мария вздрогнула. «Какая тоска! С какой грустью я смотрела на палящее солнце!»

Мария вновь обретает Индию, где пальмы бросают тени и дождевая вода почти непригодна для питья. На местном пароходике ей придется скоро попробовать стряпню португальца в лохмотьях, который вытирает блюда краем штанов, и

примириться с тараканами и крысами — иначе в каморке под лестницей не заснуть. Больная от одиночества и страсти, она плывет в Мангалуру. Там ее должен встретить отец. Волнение стесняет дыхание, и кровь уже готова прилить к щекам. Кого она ждет, глядя в иллюминатор, — молодого любовника, сладострастного блондина, или осененного крестом Искупителя с мудрым лицом, она и сама толком не знает. Куда ведет сжигающий ее огонь: к зарождению новой жизни или к неисчерпаемому милосердию Мессии? Она возвращается к своему грязному ложу, но тошнота вновь заставляет ее подняться.

Лишь только полоска зари рассекает пелену берега, появляется Мангалуру. Путешественница пытается разглядеть, кто ждет ее на берегу. Всматриваясь в силуэты фигур, она спрыгивает на пристань, почти избавившись от своей тоски, почти свободная, будто после исповеди. И вдруг, разочарованная, застывает на месте: Германа Гундерта на берегу нет.

Мария залезает в телегу, запряженную быками, и направляется к миссионерскому городку. В дороге, тряской и грустной, она глотает обильные слезы и не в состоянии различить у балматского холма, за рисовыми полями, лицо путника, остановившего обоз и зовущего погонщиков. Ему около сорока, у него усталый и исполненный достоинства вид, жесткие черты лица. Он смотрит на девушку из-под бамбуковой каски. Он машет ей: его полные и ухоженные руки хорошо видны в широких рукавах куртки. Белизна чуть виднеющегося жесткого воротничка придает облику мужчины не то замкнутый, не то суровый, но столь знакомый ей вид. Она лепечет: «Папа…»

Гундерт сохраняет спокойствие. Не подавая виду, что рад встрече с дочерью после десяти долгих лет разлуки, он равнодушно приветствует ее. «Отец показался мне холодным и чопорным, — вспоминала она. — Я подумала тотчас, что он уже знает, что случилось на „Бомбее“, и все детское доверие, с которым я воспринимала его, улетучилось в одно мгновение». В тяжелом молчании они продолжили путь до Калькутты, где их уже ждала Юлия. В присутствии этой деятельной женщины, готовой тотчас вовлечь свою дочь в череду благотворительных мероприятий, Мария на мгновение почувствовала желание излить душу. Но она боялась матери, преданной лишь закону и нескончаемым проповедям и звавшей к епитимье, которую огорченное сердце Марии принять не могло. Разлука с любимым лишила девушку очарования: она дурнеет, темнеет ее светлый лоб, над бровями ложится морщина. Мир для нее полон невзгод: «Внешне я была суровой и упрямой, внутри — изнуренной, грустной и усталой от жизни…» Печальная маска смирившейся с

несчастьем женщины исказила ее лицо.

Мария устроилась в Кети, где родители организовали новый миссионерский центр. Там она взяла на себя руководство школой для девочек, опекавшей семнадцать учениц разных возрастов. Она вела занятия в длинной безвкусной юбке, в застегнутой наглухо шелковой блузке из тюсора и с шиньоном на затылке. Девушки удобно усаживались кружком на циновку так, что из-под сари выглядывали загорелые ноги, и послушно раскрытыми на коленях книги. Если шел дождь, ученицы бежали к водостоку, подставляли голову под струи воды, с визгом шлепая по грязи. В удушающем полуденном зное они заворачивались в муслиновые полотна и ложились на бок, подобно обессиленным газелям.

Школьные заботы отвлекают Марию от бездн собственной души, где скорбным эхом звучит имя Джона Барнса. Иногда ей кажется, что вот он, прошел под верандой, вот мелькнула его тень. Но детский смех возвращает ее к действительности: здесь никого нет, вокруг миссионерского городка — пустыня. Иногда она идет за случайным прохожим или с тщетной дрожью надежды вглядывается в затылок молящегося в часовне незнакомца — быть может, это он? Марию охватывает тоска. «Джон покинул меня», _ думает она. Тоска стелется по песку дюн, усеянному воронами, ворчит в горячих вздохах волн. Длинные тонкие змеи скользят меж камней, и водоросли отсвечивают солью, словно ленты инея. Каждый вечер при свете огромной луны цвета слоновой кости девушка ложится с распущенными волосами на кровать, дрожа от слез.

После нескольких месяцев напрасной надежды, во время пятичасового чая, который Юлия обыкновенно пила, облачившись в муаровый капот, Мария, сраженная безысходностью, упала матери в ноги.

Юлия была сдержанна и добра — она не дала волю раздражению. Со слащавой нежностью она обрушила на дочь многочисленные, по преимуществу претенциозные советы. Смачивая свежей водой повязку у нее на лбу, мать наказала непременно пить горячее, повторяя одно за другим всевозможные уменьшительные имена, и в конечном итоге не нашла ничего лучшего, чем отправить дочь к Гундерту. Муж, как всегда, должен был излечить душу ее ребенка.

Гундерт визита дочери не ждал. Все, что он мог ей сказать, было подтверждением сурового приговора.

Он предложил Марии сесть, наскоро собрал газеты, разбросанные по столу, перед которым он — неисправимый исследователь, всегда готовый постичь новое откровение, —

посвящал себя, как сам говорил, поиску истины. Его лицо обрамляли седеющие бакенбарды, придававшие ему значительность. Он, как всегда, делал ударение на слове «истина», произнося его с простотой и заботой в голосе, интонации которого успокоили ее. Она любовалась отцом. Вдохновленный в свое время парижской и июльской революцией, он мечтал о свободной Германии, за которую сражался бы, забыв себя и Христа, в ком тогда порой сомневался. И лишь в Тюбингене, когда ему удалось спасти товарища от самоубийства, необъяснимым образом сокрушенный, будто сраженный могуществом Господа, Гундерт обратился к пиетизму, не пытаясь более проникнуть в божественную тайну через письмена и мифы. Потому Мария не удивилась, услышав из его уст едва различимые, почти шепотом сказанные слова о том, что через все это нужно было пройти для собственного развития и что необходимо много молиться. Потом, скомкав носовой платок, он промолвил:

— Поговорим о вас.

Она пробормотала в смятении:

— О Джоне Барнсе, отец? — И разразилась слезами. Потом гордо подняла голову:

— О моей любви…

Он не улыбнулся. Взял со стола письмо с бомбейской маркой и объяснил, что получил его незадолго до прибытия Марии в Мангалуру. Джон Варне в почтительных выражениях умолял доктора Гундерта о согласии на брак с его дочерью. «Я узнала, наконец, — напишет она позднее, — что мой Джон отправил также письмо мне на адрес ежедневной газеты в Карачи. Папа сказал, что все отослал отправителю, ответив важно и твердо, что отказывает ему, считая его излишне импульсивным и светским по характеру человеком. Я слушала, и сердце мое готово было остановиться. В это мгновение мне хотелось, чтобы он вдруг умер».

Мария одновременно уважала и ненавидела своего властного отца, которого всем сердцем старалась понять и который отнимал у нее жизнь. Раненная им, она могла лишь следовать его указаниям, исполнять приказы и, подчинившись просьбе встать, выслушать строки Библии, смысл которых не уловила. Гундерт пытался побороть волнение, вызванное в нем дыханием другого мира. Непоколебимый Геркулес, бравирующий своим жизненным опытом, он виделся дочери то обыкновенным человеком, то тенью вечности. Святой он или грешный, она не знала. Закончив молиться, он обнял ее:

— Ты носишь имя Гундертов, Мария, не забывай этого. Твои

предки никогда не позволяли себе слабости. Ты не боишься?

— Боюсь? Почему?

— Себя не боишься? Не боишься своего страха?

Я боюсь только одного, отец: потерять его. Она склонила голову, как преступница.

Оставь свои мечты, Мария. У кого нет иллюзий, у того нет и страхов.

Казалось, в нем говорил голос свыше. Потом он погрузился в медитацию и спустя некоторое время произнес отчетливо и холодно, заметно торопясь закончить встречу:

— Джон Варне-не для тебя.

Муссон с Бенгальского залива принес оживление в жизнь миссионеров. В реках прибыла вода, течение легко подталкивало к прибрежной полосе лодки, из них высаживались аборигены, составлявшие ядро примитивных племен, плохо поддававшихся евангелизации. Доктор Гундерт воспользовался ситуацией, чтобы заняться сезонной инспекцией и подогреть молитвенное рвение подопечных. В начале февраля 1858 года он пригласил дочь посетить школы, затерянные в рисовых полях по берегам реки.

На лодке с двумя малабарскими гребцами они пересекли большую плантацию гевеи, поля злаковых и джута, проплыли недалеко от Талатчери, родного края Марии. Гозианна встретила их, удивленная невероятным визитом и удрученная грустным выражением лица девушки, которую она помнила цветущим жизнерадостным ребенком. Им вновь пришлось внимать нежному звучанию малаяламского языка, приправленного словечками хинди, — английский был распространен лишь в высшем обществе. Гундерт говорил на всех диалектах и не переставал удивляться, почему этот народ, служивший иностранным захватчикам на протяжении веков, так и не попытался избавиться от ига.

Он наблюдал здесь это безмятежное терпение, к которому стремился сам, а размышления Будды и неисчерпаемая глубина взгляда брахмана пронизывали его, как и проповеди Иисуса.

Мария прониклась этой музыкальной набожностью, где забвение всего заменяло рай. Сидя вечером под покровом дрожащих листьев, она писала стихи, навеваемые бенгальскими песнями, и на той же волне вдохновения молила Искупителя, горячо, дерзко, в мистическом порыве обращаясь к нему на «ты»: «Спаситель истинный, я верую в Тебя. Ты — защита моя, спасение мое, свет мой, жизнь моя, любовь моя…» На последнем слове она запиналась, вспоминая о Джоне Барнсе, но, тотчас отогнав его тень, обращалась вновь к Христу: «Ты для меня все».

Исхудавшая возлюбленная Иисуса установила для себя строгий распорядок. «С сегодняшнего дня, — записала она в дневнике, — мне нужно будет назначить себе время молитвы, может быть, с полудня до часа». Она ограничила себя аскетизмом мысли, который сделал неизбежными последовавшие события. Ее окончательное посвящение, тщательно подготовленное распятие произошло 24 февраля 1858 года.

Она падает в ноги миссионеру Гебиху. Как львица, ищущая источник в пустыне, она бросает ему молчаливое раскаяние. С самого начала она пыталась быть той, какой не была. С этого момента она не хочет более жить вне воли Господа и дает обет посвятить себя Ему и Его владениям на Земле.

Год спустя, перед Пасхой 1859 года, она пожертвовала Барнсом в угоду Божественному агнцу. Ничто более не разделяло ее с любимым отцом, она помирилась с ним и помогала ему в миссионерском служении. Но перед тем как произнести перед всеми торжественную клятву, она захотела наконец узнать, что писал ей Барнс. С горящими щеками она проникла в покои отца, где осмелилась взять адресованные ей письма, которые до нее не дошли. «О! Это было слишком для меня! Как мой отец был с ним суров, — записала она. — Господи! Что я сделала? Это грех?» В голове у нее все путается, сердце нестерпимо болит. Письма возлюбленного вызвали в ней чувство такое искреннее и горячее, что она заколебалась: «Нет. Я обещала. Должна ли я нарушить слово? Нет. Ни теперь, ни когда-либо». Ее охватили угрызения совести: «Может быть, я не должна была это читать. Но искушение было слишком велико». Утром в четверг она молится в часовне, вверяя Ему себя и Барнса: «О Господи! Ты знаешь его. Ты знаешь меня лучше, чем я сама. Я более не прошу Тебя нас соединить, я прошу Тебя объединить нас в служении Тебе». В три часа пополудни, в святую пятницу, она восклицает в страстном исступлении: «Слава Тебе, Господи! Я предвкушаю небесные радости!»

Однако ничто не происходит мгновенно. Неловкая Юлия, подогревая порыв дочери, убеждает ее отречься от земного. Но как Мария не любит это слово! «Отказаться. Легко сказать! Я солгала бы, сказав, что забыла его». Она знает, что ей остается лишь один выход: любить Иисуса больше, чем Барнса, — но этот замкнутый круг мучает ее. В ночь с понедельника на вторник она стонала в своей комнате, бормоча в отчаянии: «Иисус! Помоги, помоги мне!» Утром вторника лицо ее осенила улыбка: «Слава Богу! Он победил». вечером она записала в дневнике: «Что еще плотью и кровью может быть сказано?»

Всю весну Герман Гундерт никак не мог оправиться после

дизентерии, настигшей его в грязных бамбуковых трущобах. Там ютились безработные, сбежавшие из города, больные, умиравшие прежде, чем им удавалось заработать несколько рупий. Миссионеры измучились, пытаясь облегчить их участь. Доктор Гундерт, доведенный болезнью до крайности, вынужден был искать спасения в Европе. По распоряжению миссии в Базеле он начал работать ассистентом доктора Барта в Издательской компании Кальва — маленького швабского городка близ Шварцвальда, где он решил теперь остаться.

После долгого года разлуки с Гундертом и осени, проведенной в Куннуре, Мария и Юлия скрепя сердце приготовились к отъезду. Для обеих прощание с Индией было мучительным. Почти двадцать лет Юлия трудилась в этих знойных краях, не покладая рук. Она привыкла к обожженным плоскогорьям, негостеприимным долинам, к горам, где можно было перемещаться только через перевалы, доступные лишь караванам, она свыклась со своим лицом, изрезанным морщинами, выразительным, но теперь более, чем когда-либо, лишенным обаяния. Мария же находила в джунглях отклик своей чувственности, потаенной и горячей. Она покидала родину.

Они прибыли в Базель 10 мая 1860 года. Первый раз за последние четырнадцать лет Юлия увидела своих сыновей. Герман и Самюэль с трудом узнали сестру в семнадцатилетней девушке, державшейся слишком серьезно для своих лет. Вместе они щоехали до Кальва, который им очень понравился. Со своей мощеной рыночной площадью, старинными фонтанами и деревянными фасадами домов, город, казалось, воспевал саму Швабию, благоухающую свежим сеном и хорошо выделанной кожей. На углах улиц метались и поблескивали на ветру медные вывески, изображавшие всадников и вюртембергских ремесленников в сражении или за работой. Флюгер, скрипевший над городской гостиницей, трижды восстановленный после исторических потрясений, напоминал о воинственном характере предков.

Семья устраивается в представительстве Издательской компании под прикрытием высокой остроконечной крыши из коричневых кирпичей. За большим окном виднеются дрожащие ивы и какие-то пятнистые растения. Родители часто бывают в Базеле, с новым энтузиазмом посвятив себя проповедничеству. «Герман Гундерт организует молитвенные часы, произносит проповеди, присутствует на конгрессах, редактирует листовки и принимает пиетистов со всего мира». Юлия завалена работой. Мария упоенно помогает отцу в его изысканиях, редактирует вместе с ним словарь малаяламского языка. В кабинете,

наполненном индийскими вещицами, он продолжает свои исследования, черпая из поэтической культуры этой страны фантазии ее народов. Мария восхищается отцом, который помимо трех родных языков — английского, немецкого и французского — и индийских диалектов овладел еще десятью разными наречиями. Он погружен в научную деятельность, прочитывает сотни статей и обзоров, интерпретирует Священное Писание, чтобы в конечном итоге окинуть человечество скромным и мудрым взглядом брахмана.

После завтрака Мария обычно сопровождает его на прогулку по берегу Нагольда, вдоль прибрежного ольховника. Образ отца подобен в ее сознании воде — свободной, живой и безмолвной. Мария легко и непринужденно опирается на его руку — она почти счастлива. «Я не должна выбирать свой путь. Бог ведет меня…» Кто же ею руководит в действительности — Бог или отец? Где бы ни находилась эта неопределенная грань, они всегда идут рядом — он, мудрец-миссионер, и она, влюбленный ребенок, выбравшая, как и он, аскезу…

В день рождения, 24 апреля 1862 года, когда Марии исполнилось девятнадцать, во время прогулки отец, смеясь, спросил дочь, представляет ли она, какое впечатление способна произвести на мужчину. Образ Джона так глубоко хранился в ее душе, что всякие шутки на столь болезненную тему оставляли ее равнодушной. Поняв, что ее хотят выдать замуж, она опечалилась. В мужья ей прочили молодого англиканского пастора Чарльза Изенберга. Теперь она должна будет «любить другого»: «О, Джон! Сердцем я осталась тебе верна! Должна ли я выйти за Чарльза Изенберга? У меня к нему нет склонности, он настолько мало значит для меня. Я совсем не увлечена им. Не лучше ли свято и целомудренно хранить в душе первую любовь, даже когда надежда уже увяла?»

Чарльз Изенберг, высокий болезненный англичанин, был младше ее на два года. Во время учебы в колледже Ислингтона, где готовился к миссионерской деятельности, он влюбился в соотечественницу, отклонившую его ухаживания. Досадуя, он вспомнил о Марии, которую видел еще в Корнтале, и отправился в Кальв, чтобы с ней встретиться, но познакомиться с ней ему удалось только через несколько дней у общих знакомых. Она показалась ему «подобной ангелу». «Молодой человек с решительными, хотя и некрасивыми чертами лица, белой бородкой и прямотой во взгляде» понравился ей. Она помолилась, ища совета и просветления, и, наконец, спокойно пожурила саму себя: «Я же служу Господу. Цель моя остается прежней — пытаться обрести вечную жизнь, стремиться к чистоте,

к святости. Да руководит моими помыслами лишь Благо! Чарльз — верный слуга Иисуса. Он поможет мне в моем пути. Если я ему действительно дорога, не будет греха в моей ответной любви». В октябре 1863 года они решили пожениться, но родители Чарльза поставили условие — четыре года помолвки. Юлия возражает, Гундерт удивляется. Мария соглашается: «Быть помолвленной в течение четырех лет — великое счастье в сравнении с возможностью не быть помолвленной вовсе». Но Чарльз сметает все препятствия.

1 августа 1864 года Гундерты участвовали в пастырском коллоквиуме. Во время большого приема, в момент, когда Мария вносила кофе, прибыл почтальон. Она тотчас узнала почерк Чарльза. Он просил ее руки. Покинув коллег, Гундерт отвел девушку в глубину гостиной. Что ответить? И расторопный пастор решил: «Пусть приезжает, и немедленно». Мария промолвила: «О, папа, будь с ним ласков, прошу тебя. Он так долго ждал». В ней говорили и жалость, и нежность к Чарльзу Изенбергу. Страсть не тревожила ее душу, она больше не чувствовала себя способной любить — разве только в смиренном экстазе молитвы.

В ожидании свадьбы, казавшемся Чарльзу нескончаемым, он похудел. Ощущение бездеятельности подтолкнуло его к решению отправиться в Индию. Он миновал Базель, Марсель и Египет и, ступив 30 мая 1865 года на пустынную землю Синда, стал отправлять письмо за письмом, приглашая Марию присоединиться к нему. Ему не пришлось долго ждать.

Покинув Кальв 12 сентября, 1 октября она была в Адене, 16-го — в Пондишери, а 1 ноября — в миссии в Куннуре. Она приняла горячую ванну, а наутро поспешила заглянуть в замочную скважину в столовую. Еще один прибор? Значит, Чарльз здесь. Она бросается в его объятия, но вдруг, испуганная, отступает. «Он выглядел изможденным, худым и очень слабым. Только глаза его блестели, большие и грустные». Его уже подтачивала болезнь, о которой Мария и не подозревала. Тем не менее они скоро поженятся.

В миссии в Талатчери, куда они прибыли на телеге, запряженной быками, и где некогда родилась Мария, старый слуга ее отца приготовил свадебное угощение. Отовсюду съехались друзья. Чарльз страдает от странных болей, сердце Марии охвачено мрачными предчувствиями.

На свадьбе, 10 ноября, пели «Аллилуйю» Генделя. После еды у всех заблестели глаза. Вручили подарки и, лишь дохнуло вечерней прохладой, устроили фейерверк. Тринадцатого ноября на борту парохода «Лорд Клайд» молодожены достигли Мангалуру, а оттуда на «Кашмире» продолжили путь в Карачи, в

великую страну Синд низменную равнину, расстилавшуюся посреди степей Тхара и поросшую лимонными деревьями, где заливы Катчалл и Камбей заполняли собой еще более глубокие впадины.

«В страну Синд! Мои глаза наполняются слезами, когда я пишу эти слова», — записывает Мария по приезде в миссию. Открывшаяся перед ней пустыня напоминает ей прошлое. Сюда, в этот жаркий и болотистый край, отправился на исходе своей безумной любви Варне, покинув ее в Бомбее. Едва оправившись от войны, выигранной с таким трудом, она опять найдет врага в самой себе.

Она видит вновь огненную равнину и воду, замутненную стадами толпящихся у водопоя зебу, кишащую пиявками и маленькими дракончиками. В бараке из бамбука она распаковывает вещи и устраивает мужу ложе для отдыха. Чарльз, уход за Чарльзом, внимание к Чарльзу отвлекают ее. Она горячо молится о нем, ища избавления от болезни, которую ее пиетизм заставил предать забвению как напрасную иллюзию. Дыхание больного, его хилая грудь, которую Мария гладит заботливой рукой, — это ее мир, это, быть может, рай. Стаи черных птиц пролетают по бесцветному небу. Земля застывает под блистающим снегом, а сердце бьется в волнении: у нее будет ребенок!

В воскресенье, 9 сентября 1866 года, обессилевшая от мучений Мария разрешилась своим первым сыном. Доктор сидит у ее изголовья, но она волнуется не о себе и не о ребенке — ее беспокоит Чарльз. Он влачит мучительные дни под властью тяжелой формы дизентерии, проникшей в легкие, и Мария, меняющая ему компресс, тем нежнее, чем больше страдает муж.

7 марта 1868 года она дарит Чарльзу еще одного мальчика, который, однако, не пережил гроз первого летнего муссона и умер удушливым утром 11 августа. Супруги безутешны. «Мы оба были так больны, что мысль о смерти не покидала нас. Мы мучились странными снами», — пишет Мария.

— Ах, Чарльз! Не хочешь ли ты умереть?

— Почему нет, Мария? Я еще ребенком тосковал по небу. — Молодой миссионер поднял голову с подушки, глядя в одну точку. Было видно, как вздувается от ударов пульса синеватая вена у него на виске.

— Не думаю, что доживу до старости.

Мария пугается:

— Тогда я хочу умереть с тобой. Во время моих будущих родов.

Она опять беременна. «Мы поцеловались, как глупые дети! —

пишет она. — В ту секунду казалось невозможным, чтобы кто-то из нас умер раньше другого. Оба сердца должны были замолчать одновременно». Безумные, они смеялись и ждали нового муссона. Весь декабрь Чарльз мучился от диареи и простуды, что его совсем обессилело. Он кашлял кровью. Но ожидание ребенка, который должен был родиться весной, вселяло в него радость и доверие к судьбе.

Каждую неделю Мария отправлялась на подводе в Карачи, чтобы сделать покупки и повидать знакомых. Однажды во время чаепития у одного из пиетистов, на котором присутствовала мадам Лидбиттер, часто бывавшая в английском колониальном обществе, Мария рискнула произнести имя Джона Барнса.

— Что, мой дорогой Варне? Но это мой друг…

Пожилая дама принимала Джона, он часто проводил у нее вечера, и она разразилась похвалами в адрес своего гостя, упомянув и его отменное воспитание, и хороший музыкальный вкус, его манеру играть на гитаре, природную живость характера, способности к изучению языков, а также заразительную веселость, особенно когда ему приходилось забавлять детей. Мария почувствовала слабость, ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Женат ли он?

— Что вы! Нет-нет! Он ведь был очень влюблен! В молоденькую немку. Вы знаете, мне говорили, он был совершенно без ума от нее. Он долго ее ждал. Бросал деньги на ветер. Даже дом хотел купить, надеясь, что будет с ней. Через пять лет он опять получил отказ и узнал, что она помолвлена. Он живет теперь холостяком и ко всему равнодушен.

Последовало молчание. С трудом Мария разобрала:

— Он, должно быть, сейчас в Англии, у своей матери.

Третий ребенок Изенбергов — Карл — родился 25 мая 1869 года. Однажды молодая мать прилегла на софу рядом с колыбелью, но вдруг услышала стон. Ее звал муж. «Когда я подбежала, — вспоминает она, — у него горлом шла кровь. Весь ковер был в крови… Врач сказал, что Чарльзу больше нельзя оставаться в Ин-д£ш. Необходимо немедленно перебираться в Европу». Младенцу не было и шести недель. Его старшему брату шел третий год.

Начались дожди. Стало ветрено. Поднялся юго-восточный муссон. Торнадо свистел в стенах барака из дерева и тростника. Крышу снесло. На двери расплющились комочки грязи, взметенные с земли. Миссионеры уезжали. Быки скользили на грязной дороге, телегу заносило. Нужно было дождаться затишья, чтобы добраться до Карачи, откуда на судне «Мартабан» они переправились в Бомбей. Так навсегда был покинут «Синда —

ланд» — приют взаимной любви. Они прибыли в Триест 20 августа, сели на поезд до Штутгарта, где их ждал Давид Гундерт, младший брат Марии, и 2 сентября она наконец привезла больного в Кал ьв.

Умирающего кормили только что собранным виноградом и горячим молоком. При каждой возможности он старался удержать руки жены в своих. Она молилась без устали. Почувствовав, что силы покидают его, он громко произнес: «Теперь — смерть…» — и вздохнул последний раз в ее объятиях.

Издательская компания, где работали Гундерты, приютила и Марию, где она давала уроки английского, чтобы прокормить себя и сыновей. На таинственную вдову показывали пальцем, а у нее никаких тайн не было: она, словно четки, перебирала про себя молитвы и грустные стихи. Испытания омрачили ее красоту: забота о сыновьях оставляла ей день ото дня все меньше времени на себя.

Работа отца, его ум, искренняя вера, которую он умел хранить и которой оправдывал каждый день своего бытия, завораживали ее попрежнему. После смерти доктора Барта он стал полноправным директором Издательской компании, работы у него прибавилось. Он занялся журналом, посвященным миссионерской деятельности, публиковал в нем статьи по теологии. Поздним вечером Мария часто заставала его склоненным под абажуром над переводами, и сердце ее сжималось оттого, что она видела, как он старел. Белоснежная седина контрастировала с его угольно-черными усами. Гундерт вздыхал и просил ему помочь.

Мария боготворила его, подобно утонченной богомолке поклонялась этому мессии-эстету и собирателю древностей, которого ее религия повелевала ей почитать. Его суровость зачаровывала ее. Азарт охотника, руководивший им в научных изысканиях, поддерживал в нем оптимизм. Дочь с удивлением ощущала рядом с ним дыхание Индии, атмосферу, так знакомую ей с детства, запахи горячей земли и возрождающей влаги дождей. Огромная тень ученого скользила по стене, а он излучал свет. Она очень обрадовалась, когда однажды получила письмо от друга-миссионера, рекомендовавшего в ассистенты ее отцу молодого немца, некоего Иоганнеса Гессе: «Он одарен и одухотворен, необыкновенно привлекателен в общении… Я еще не услышал от него ничего необдуманного, ни одной глупости… В самом деле, он с таким увлечением занимается языками и этимологией, что определенно сойдется с твоим отцом». 2 декабря 1873 года Мария ответила своему другу: «Твой портрет оказался великолепен… Наш новый знакомый прибыл. Мы

должны его уважать и любить — он достойный человек, набожный и образованный». И прибавляла: «Но в его образе есть что-то меланхолическое. Он кажется человеком, созданным для лучшего мира…»

Беспокойство читалось в чертах Иоганнеса. Худое тело, затянутое в редингот, выдавало его: этот деликатный, обходительный человек плохо переносил изнурительные научные изыскания. «Он был вдохновлен великой целью и посвятил себя науке, желая, чтобы его личная жизнь была забыта»: не прошло трех лет, как он закончил ординатуру в Хайльбронне. В Индии он сначала служил в духовной семинарии в Мангалуру, затем вернулся в миссию в Базеле, измученный, страдая головными болями и внутренними противоречиями. Вдова Чарльза Изенберга видела в нем вечно пламенеющую набожность, обращенную к совершенствованию, и чувствительность пиетиста, чье навеки обожженное огнем призвания сердце тянется к небу. Она учуяла в нем своего рода внутреннее ликование, привязалась к нему и постепенно полюбила.

Отец Иоганнеса, доктор Карл Герман Гессе, родился в Лифляндии, его семейные корни уходили в Любек. 27 ноября 1826 года, в день морского сражения при Наварине, где Россия и Англия разбили турецкий флот, он получил докторскую степень по медицине. Если бы Карл Герман согласился на место приходского доктора в Марьяне, в Эстонии, то получал бы тысячу пятьсот рублей в год — минимум, который позволил бы ему, практикуя, заниматься научными исследованиями. Однако его буквально пожирала навязчивая идея: он ощущал себя «призванным». «В жизни Божественной, берущей исток от Бога» грозный немец Великого Севера черпал силы для своего требовательного темперамента, сподвигшего его завоевать одну за другой трех женщин, давших ему целую вереницу детей, живущих и исчезнувших, порожденных и отданных им Богу с невероятной легкостью. К смерти, всегда где-то рядом таящейся, он обращал открытое ветрам сердце и неувядающий оптимизм.

Иоганнес был отпрыском его первой жены Дженни Ласе — маленькой, пухленькой и меланхоличной женщины, которую доктор считал работящей, но мало одухотворенной. Ребенок родился 2 июня 1847 года в деревне Вайссенштайн, где обосновались молодожены. Отецврач не смог вырвать у смерти старшую дочь и не надеялся сохранить жизнь мальчику, родившемуся от истощенной матери. Молитва его была проста: «Господи, я отдаю его Тебе. Он крещен как Иоганнес. Ты определишь его путь. Веди его к вечному покою или к служению». Спустя четыре года Дженни умерла от сердечного приступа. Она

подарила мужу шестерых детей, двое из которых умерли. Элегантный вдовец Карл Герман, не выждав и года, повел к алтарю в Якоб-кирхе, в Риге, новую жену Лину, которой едва исполнился двадцать один год.

Иоганнес, стремясь уйти от одиночества, пытался завести друзей. Не чувствуя себя уютно в университете, он написал почти с мольбой в дирекцию миссии в Базеле патетическое письмо: «Возьмите меня, воспитайте меня, используйте меня для того, в чем я вам кажусь способным». Бодрый пиетизм отца оказывал на него сильное влияние: «Я хочу быть среди единомышленников, в которых растворилось бы мое „я“. Я в ложном положении по отношению к себе самому и своей жизни. Одно лишь может внести покой в мое сердце — надлежащее воспитание». Оставив надежду испытать суровость монастырской жизни, он бросился в джунгли язычников, а потом, болезненный, бледный и обессиленный, сосланный в царство бесконечных молитв, стал искать умиротворения.

В Кальве Иоганнес не осмеливался верить своему счастью. В доме Гундертов его приняли как родного. Хозяин и ассистент увлеченно вели научные и теологические беседы. В очаровательную и набожную Марию он тотчас же влюбился.

Она старше его — ей скоро будет двадцать шесть. Есть ее фотография этого времени с двумя сыновьями, Теодором и Карлом, где она запечатлена с тщательно уложенными на прямой пробор волосами: крохотный кружевной воротничок застегнут медальоном, небрежно наброшен платок, резкая складка у рта. Взгляд кажется обращенным в пустоту или, скорее, в созерцание невидимого. С упрямой отрешенностью она лелеяла душевное тепло, в убежище своего внутреннего мира прятала следы прожитых лет. Ее звали в Индию учиться медицине, чтобы потом ухаживать за больными. Но дети и стареющие родители приковывали ее к Кальву, к семье, чьи фамильные черты отразились и в ней: та же гордая линия скул, тот же суровый крестьянских дух, тот же строгий пиетизм.

Приезд Иоганнеса разбудил в ней духовную жажду. Она прислушивалась к Господу более чем когда-либо и тосковала безутешно по вечно поруганному Мессии. Новоприбывшего красавца она воспринимала как медиума, в общении с ним улавливала трепет божественного, завороженно следя за его движениями, осененными, как ей казалось, благодатью. Зачем он приехал в Кальв, в дом ее родителей, стал столь близким ей, что каждый его вздох отзывался в ней эхом участия и понимания? Он часто обсуждал с Гундертом результаты своих исследований индийских языков и становился тогда бледным и задумчивым,

как отрешенный махараджа. Стоило ему заговорить о Боге, взор его начинал блестеть, на щеках загорался румянец. Когда он произносил длинный монолог, то почти всегда сбивался на лирический тон, заканчивавшийся для него мигренью. Мария любовалась им, считала образованнее и умнее себя и вполне достойным докторской степени. Она, питавшаяся всегда лишь чувствами и образами, испытывала почти сладострастное откровение, погружаясь в ясный мир его мыслей.

1 сентября 1874 года Иоганнес и Мария обручились. Радостное событие вызвало в Кальве много шума. Оба сына вдовы были довольны. Маленький Карл спросил ее: «Мой папа на небе уже знает, что господин Гессе будет моим папой?» старший, Теодор, которого близкие звали Тодо или Тео, прыгал от радости. Гундерт и Юлия видели в этом браке воплощение своей заветной мечты.

Из Вайссенштайна эстонский патриарх Карл Герман Гессе прислал благословение будущей невестке и воспользовался случаем, чтобы угостить своих друзей «во Христе», что соответствовало его стилю жизни и привычкам. Необузданный доктор не упускал случая «собрать в своих покоях, украшенных лебедями и соловьями», тридцать, сорок, пятьдесят друзей, которых потчевал угощением, анекдотами и подарками. Был ли это день рождения, свадьба, крестины или похороны, он благодарил Господа с набитым ртом, со здоровым румянцем на щеках и неистощимым запасом энтузиазма. На поминках Лины, второй жены, присутствовали тридцать два приглашенных. Несколько месяцев спустя он в обществе сотни сотрапезников праздновал юбилей своего пребывания на посту патриарха. Получив в 1860 году два ордена — Станислава и Бедных — за свою неистощимую щедрость, он устроил для своих близких потрясающий летний отдых на берегу моря в Вайнопе. когда в 1861 году умерли бабушка Стакелберг и Ядвига, мать его третьей жены Ад ели фон Берг, поминки, начинавшиеся в пять часов пополудни, длились до трех часов утра.

Чего он только не сделает для Иоганнеса и Марии, когда год спустя после свадьбы они приедут в Вайссенштайн со своим Первенцем девочкой, названной Аделью, без сомнения, в дань уважения родовому имени!

Мария испытывала нежность к своему свекру — гиганту с лицом мастерового и бородой до ушей, в которой пряталась добрая улыбка. Он отпевал и крестил неизменно громогласным голосом, исполненным полноты ощущения жизни и звучавшим доверием к истинности божественного промысла. Его третья жена принадлежала к высшему обществу Петербурга, была

добродетельна и милостива. Ее окружала толпа приемных детей.

Иоганнесу предложили место в маленькой церкви Вайссенштайна — его родной деревни. 20 июля 1876 года Мария запишет: «Иоганнес произносил проповедь. В церкви, обычно заполненной лишь наполовину, было очень много народу. Подъезд был запружен всевозможными дилижансами и экипажами. Наконец, у Джонни жутко заболела голова, и он вынужден был прилечь».

Могла ли предвидеть эта образцовая жена, что за страница будет вписана благодаря ей в мировую культуру, когда сольется кровь Гессе и Гундертов? Северный и южный пиетизм объединяются. Торговая Пруссия сближается с мистической Германией Шварцвальда, происходит духовное обогащение, пыл жителей одной соединяется с усердием другой, чувство домашнего очага — с авантюризмом, надежда — с сомнениями, вера — с недоверием. Два почтенных деда держат в своей власти невидимую семью. Эти страны будто благословляемы на набожность и ученость. По их долинам и проселкам пролегают тысячи путей, осененных святой благодатью. Таков семейный закон немецкого пиетизма: отец уподобляется Христу, дед — Богу-Отцу. Пиетизм тянется из глубины веков, он родился из земли, крови и плоти, нужно только следовать его зову, и Марии ничего не остается, как надеяться на свою веру и очищающую силу пережитых страданий.

В ноябре она поняла, что вновь беременна, и стала умолять Бога даровать ей сына, которого так хотел Иоганнес. Она ожидала его рождения в большой квартире на втором этаже дома с голубятней у конька крыши, напротив арочного фасада городской гостиницы Клльва, недалеко от Нагольда. Окна выходили на рыночную площадь, на фонтан, посреди которого красовался бронзовый лев. Городская суматоха, купол церкви из розового песчаника, ели ближнего леса — все это создавало атмосферу спокойной уверенности в будущем.

Она много молилась, стараясь очиститься от любой скверны перед рождением ребенка — на досуге она записала тогда в дневник: «Мне так тяжело теперь. У меня боли, порой очень сильные. Если это не близнецы, я тогда ничего не могу понять». 24 июня 1877 года она оставила дневник открытым: «С минуты на минуту я жду события, которое пугает меня». В последние дни месяца усилилась жара. Резкие порывы ветра приносили запах елей и слабое блеяние мучимых жаждой коз. Лунный диск казался огромным, время тянулось необыкновенно долго…

Мария возобновила записи 3 июля: «В понедельник 2 июля 1877 года после дня мучений Господь в своем бесконечном

милосердии даровал мне долгожданного ребенка, нашего Германа. Он очень большой, тяжелый и красивый. Когда он хочет есть, то широко открывает свои светло-голубые глаза и тянется головкой к свету…» С нежностью и гордостью она добавляет: «Он замечательный — веселый, здоровый и сильный…»

Накануне дедушка Гундерт с зятем, как обычно в воскресенье, отправляли службу, а Юлия была на своих чтениях. Маленький Кальв мирно уснул этим жарким вечером. Небо блистало оттенками заката. Ребенок явился на свет на пороге дня и ночи. Два набожных лица склонились над ним, он мог слышать ропот молитв, подобный вечному шуму ветра.

Глава II ПОДЕЛЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Я ведь всего только и хотел — попытаться жить тем что само рвалось из меня наружу. Почему же это было так трудно?

Г. Гессе. Демиан

Ребенок появился в сумерки, в мерцании света, отблески которого остались с ним навсегда. «Рождение мое совершилось ранним вечером в теплый июльский день, и температура этого часа есть та самая, которую я любил и бессознательно искал всю мою жизнь и отсутствие которой воспринимал как лишение», — напишет потом Гессе в «Кратком жизнеописании».

Над городом блестели остроконечные шпили домов, а дальше простиралась узкая долина с кожевенными мастерскими и крохотными садиками, где резвились стайки гусей. Дом Гессе располагался за фонтаном, сквозь булыжники мостовой пробивался мох, над площадью порхали сизые голуби. Окруженный фасадами с крылечками и решетками для чистки обуви при входе, он был обращен десятью симметричными окнами на холмы, озаренные пламенеющим закатом. Шторы были опущены. Ясени и клены оставались недвижимы. Ни одного облака. Восточный ветер успокоился, так и не рискнув проникнуть в узкую долину. Пианино в салоне умолкло, не слышно было ни «Песен» Шуберта, ни звуков народных напевов. Сойка, кричавшая каждый вечер в зрелой бруснике, улетела. Лишь в ближнем лесу можно было обрести прохладу. Мария склонилась с дубовой постели к колыбели новорожденного; отец, туго затянутый в пастырский воротничок, взволнованно прошептал: «Как он красив», — и, блестя оправой очков, начал сосредоточенно читать «Отче наш». Он радовался появлению этого здорового ребенка, но яд сомнений прокрадывался порой в его сердце. Ликованию своей души он старался противопоставить молчаливую сосредоточенность. Мог ли закон примирить противоречия инстинктов? Он закрыл глаза и сцепил на коленях тонкие пальцы рук. Его мучили мысли о первородном грехе. Тяжкие внутренние сомнения ложились на благодатную почву его нервического темперамента. Он страдал. Прошедшие годы были такими тяжелыми! Даст ли пиетизм, с его сочетанием веры и

гордыни, своим приверженцам, не приемлющим милитаристскую политику Бисмарка, уверенность в религиозной безопасности?

Объединение германских земель в 1871 году повысило авторитет Пруссии. Германский союз узаконил ограничение культурной автономии Вюртемберга и покушался на его независимость. На людях, подобных Иоганнесу Гессе или Герману Гун-дерту, это отразилось плохо. Они оказались бессильными свидетелями притеснения своей маленькой родины. Создание Рейха под управлением Севера ущемляло Юг. Его пейзажи и история естественно объединяли швабские долины с зелеными склонами Германии. Там говорили, вплоть до малейших нюансов, на том же диалекте и с тем же акцентом. Дух предков царил до озера Констанц и его окрестностей, где были разбросаны замки и кипарисы, до границ с говорливой цивилизацией Средиземноморья.

Объединившись, Гессе и Гундерты создали фамильный герб: гроздь ягод, колосья, протестанский крест. Как братья, они одевались в измызганные грязью сапоги, завтракали супом и круглой булкой, пахнущей тмином. Примирившись постепенно с германским объединением, они не противостояли более духу единства, захватывавшему Юг, по мере того как там развивалась индустрия. Обогатившаяся буржуазия праздновала победу. Так что же, мирной пастушеской жизни больше не найти приюта в этих краях, простота нравов будет высмеяна, Церковь поругана, Бог унижен?

Думая о начавшейся среди всего этого новой жизни, которую ждало столько опасностей, Иоганнес смотрел на ребенка с несказанной жалостью, проистекавшей от недоверия к миру. Конечно, Бог даровал ему сегодня радость. К тому же он сам просил Его об этом. Но какой порочной ценой! Пастор с подозрительностью относился к чувству ликования. Испустив тяжкий вздох, он повторил во время вечерней молитвы томивший его вопрос: «Да и радость ли это — родиться на свет человеком?»

Новорожденному дали имя Герман в честь дедушек по отцовской и материнской линиям. «3 августа, — записывает Мария, — состоялось крещение. Доктор Мёглинг благословил нашего сына, а дед крестил его. Герман начал было кричать, но когда запели, умолк и стал разглядывать все вокруг ясным взглядом…»

«Мои пять чувств, — вспоминал Гессе в „Кратком жизнеописании“ о своем детстве, — были бодрственны, остры и тонки, я мог на них положиться и ждать себе от них много радости». Он ими вовсю пользовался, сидя на коленях отца и теребя его бороду или запутывая на полу клубки Марии. «Он

слишком проворный и сильный для меня, — беспомощно вздыхает она. — Маленький Герман отважно карабкается на скамейки, столы и камни». Его живость и ум восхищают: «Он узнает все картинки, будь это изображения Китая, Африки или Индии… он упрям и необуздан!»

Он обитает в саду своих бабушки и дедушки. В этом очаровательном месте его окружают цветы: изысканные флоксы и простые левкои, аквилегии, среди которых он ползает на четвереньках, и какието высокие стебли, концы которых украшены султанам и-бабочками цвета серы. Особенная чувственная алчность притягивает его к каждому блику, к малейшей частичке жизни. *«Я* владел, — запишет он позднее, — всей сказочной мудростью детства». Больше всего ему нравились «прекрасные, парящие, не ведающие покоя облака… печальные сосны и залитые солнцем скалы».

Он открывает глаза — перед ним его мать. И словно Герман Лаушер, он ловит ее взгляд. *«Я* вижу тебя опять, мама, — ты склоняешь ко мне свою красивую голову, стройная, гибкая, терпеливая, с несравненными черными глазами». Прижатый к ее груди, он впитывает с молоком ее мелодичный голос. Она смеется, рассказывает веселые истории и, готовя завтрак с маленькими горячими хлебцами, иногда наклоняется к мужу и шепчет нежно: «Джонни, сердце мое!»

Иоганнес воспринимает эту нежность с важностью. Он деликатен, у него хорошие манеры, быть может, даже отчасти чопорные и холодные; уклад жизни, им заведенный, не позволяет пересудам нарушить покой его семейного очага. Склоняя к сыну обрамленное бородкой лицо, он шепчет слова на балтийском наречии, корни которого таятся в могуществе туманного Севера. Он строг в исполнении литургии, с достоинством следует ее суровым ограничениям, он произносит свои патетические проповеди на прекрасных и суровых ступенях церквей долины Нагольда. В сапогах грубой кожи он идет по полям, усеянным крокусами, с марта оживляющими прерии между За-велылтайном и дорогой, пролегающей по пологому склону и ведущей к вокзалу Бад Тайнах.

Высокий дом в Кальве олицетворяет единство суровости и благости, излучаемой чувствительными душами. Под его кровлей сознание серьезности смерти и вместе с тем ее банальности сосуществуют с загадочным постоянством. В июле 1878 года Мария произвела на свет маленького Поля, который тихо угас у нее на руках в один из декабрьских дней. 6 августа 1879 года, в шесть тридцать утра после мучительной грозовой ночи родилась Гертруда, «крохотное кругленькое и полное жизненных сил

существо». В декабре у нее началось легочное недомогание. Болезнь продлилась до Святой недели 1880 года, когда жена пастора горячо просила Господа за «блаженную спутницу Его в страданиях», а 31 марта все было кончено. «Господи, я оставляю в твоих руках мое обожаемое дитя», — только и смогла промолвить мать.

Так в Марии говорил пиетизм, и маленький Герман постепенно постигал этот язык. Разговоры, игры, песни, молитвы — печальные события на все бросают тень. Каждую секунду Иоганнес и Мария от всего сердца, как и их предки, готовы принести в жертву свое потомство. Этот героизм покоится на страстной вере, питаемой нежностью и наивностью. Эта вера не угрюмая и не жестокая — она доходит до крайних пределов набожности, до необходимости посвятить себя тесному контакту с Небом отсюда, с земли, с места вознесения. Она требует бессознательно разделить, непрерывно созерцая ее, искупляющую страстность Иисуса, его терновые иглы, его раны, его крест, кровь, его смерть, ставшую предметом медитации. Возможно, именно в этом смирении родителей коренится необыкновенно ранняя страсть Германа к протесту. Он внезапно впадает в ярость, рыдает и топает ногами. Он невыносим и горд, у него на все есть ответ. Мать запретила ему кидаться камнями, на что он сказал: «Но Давид делал то же самое, и никто в этом дурного не видел».

Мария черпает свое неиссякаемое вдохновение повсюду: в Священной истории, в сказках братьев Гримм, где прислушиваешься к голосам природы, гармонии лесов, созерцаешь блуждающие облака. Когда она поет на малаяламском, припоминая песни Гозианны, он слушает, затаив дыхание, неуловимо плывущую в воздухе мелодию.

Герман часто видится с дедушкой Гундертом. Индийский миссионер околдован берегами Нагольда, освещен солнцем Вишну: «Он, преклонный годами, досточтимый, с широкой белой бородой, всеведущий и всемогущий», царствует в своем доме, полном воспоминаний. «Безделушки, утварь, цепочки из деревянных бусин, нанизанных наподобие четок, свитки из пальмовых листов с нацарапанными на них знаками древнего индийского письма, изваяния черепах, вырезанные из камня жировика, маленькие божки из дерева, из стекла, из кварца, из глины, украшенные вышивками шелковые и льняные покрывала… все это пахло морем, пряностями, далью, благоухало корицей и сандаловым деревом». Но особенно дед, который понимал «все языки человеческие… а возможно, и наречия богов, а заодно звезд», читал, писал, говорил, как «тайновед, посвященный, мудрец». Герман полон нежности к нему: *«Я* любил, почитал и

боялся его, ожидал от него всего, полагал, что для него все возможно, непрерывно учился у него и у его переодетого бога Пана в личине божка…».

С колыбели Германа окружали великие тайны и священные статуэтки. Его душа бессознательно впитывала связанные с ними легенды. Иоганнес не ошибся: мощный ствол германского семейства дал новые побеги, а восточный ветер перенес почитаемый цветок Индии на Швабское плоскогорье. «Я — европеец… — напишет Гессе в очерке „Детство волшебника“, — я всю жизнь исправно практиковал западные добродетели — нетерпеливость, вожделение, неуемное любопытство». Он был покорен мистическими силами, которые олицетворял Гундерт: «от него, непостижимого, вела свое начало сокровенная, древняя тайна», которую несла в своей душе и Мария.

Иоганнес противопоставлял себя этому оккультному духу, этой загадочной улыбке Будды. Но что он мог предложить взамен, этот измученный отец? Только крест. Это был для него единственный выход. Мальчик излучал жизнь — здоровый цвет пица, чувственные губы. Чтобы противостоять демонам искушения, нужно было эту силу искоренить любым способом, иплоть до проклятия. Существование христианина — это путь к смерти, иначе говоря, совершение самопогребения с неукоснительной суровостью.

Иоганнес завидовал Гундерту. Он разделял его фанатизм и перил в могущество аскезы, но ему не удавалось ощутить то, что позволяло старому миссионеру «обрести гармонию высших сфер». Его растущую власть он ощущал как тиранию, и в нем клокотала разрушающая злоба. Гундерт, напротив, приближался на его глазах к вершинам самопонимания. Напрасно пастор тал сына за собой — Герман был глух. Отец с грустью заворачивался в длинный редингот, тая от мира свои мучения. Чтобы усомниться в его истинах, ребенку достаточно было лишь взглянуть на деда — и он видел Посвященного.

Весной 1881 года Иоганнес, призванный в Базель в качестве и издателя миссионерского журнала, вздохнул наконец свободно и избавился от утомительной опеки и города, казавшегося ему до смерти скучным. Его радовала смена обстановки, с удовольствием входил он в круг новых обязанностей.

Герману четыре года. За несколько месяцев до отъезда его сфотографировали: маленький белокурый ребенок в черных ботиночках, у него упрямый подбородок над жестким воротником курточки и насупленные брови. Был ли он готов к путешествию? Он покидал город с ухабистыми улицами, извилистой речкой.

Кальв останется его родиной. Он будет вспоминать, «как

прежде проводил здесь послеобеденные часы, а порой и целые дни, плавал, нырял, катался на лодке, сидел с удочкой». Ребенок мог сказать: *«Я* был живым и счастливым мальчиком». Он то мастерил лук со стрелами, то запускал бумажного змея, то рвал вьюнки, то собирал ягоды с придорожной калины — этот ангел и разбойник в одном лице, с довольным видом держащий в руках тяжелую, бьющую хвостом рыбу. Он лазил через заборы, строил на реке водяные мельницы, играл в кегли, в Робинзона, учился видеть очарование природы и воспринимать мистику ее языка. Он слушал звон козьих колокольчиков, видел тянущуюся к солнцу горечавку, наливающуюся алым соком смородину и чувствовал себя причастным таинственному бытию природы. Вечером его застают в конюшне, а на заре — подле красного попугая, который «…насвистывает свою песню дикого леса…». «В садике моего отца была решетчатая переборка, там я поселил кролика и ручного ворона. Там я провел неисчислимые часы, долгие, как мировые эры, в тепле и блаженстве обладания; кролики пахли жизнью, пахли травой и молоком, кровью и зачатием, а в черном, жестком глазу ворона горел светильник вечности». В своих питомцах Герман чувствовал ту же энергию, которую излучал индийский божок деда Гундерта.

«Насколько иначе выглядела дверь дома, беседка в саду и улица в воскресенье вечером, нежели в понедельник утром! Совсем иначе выглядели настенные часы и образ Христа в жилой комнате по тем дням, когда там царствовал дух дедушки, по сравнению с днями, когда это был дух отца, и как все еще раз менялось по-новому в те часы, когда вообще никакой иной дух не давал вещам их сигнатуры, кроме моего собственного, когда душа моя играла с вещами, наделяя их новыми именами и значениями!» Странной властью обладал этот мальчик властью делать красивым, безобразным или ненавистным все что угодно. Плененный непостоянством мира, он пытается разгадать его загадку: «Как мало, однако, твердого, стабильного неизменного! До чего все жило, претерпевало перемены, желало преобразиться, жадно подстерегало случая разрешиться в ничто и родиться заново!»

Герман стал будто учеником колдуна, все ему казалось подвластным. Это потрясающе: он ощущает себя владыкой воображаемого мира! Ему сопутствует призрак странного сказочного человечка — ангела ли, демона — не понятно. Быть может, его собственная тень. Или это он следует за призраком? На мостовых города, вокруг фонтана, на тропинках сада — везде этот странный персонаж оказывался рядом. «Когда маленький человечек становился для меня зримым, на свете был только он,

и, куда бы он ни пошел или что бы ни начал делать, я должен был следовать за ним, делать, как он».

Марию беспокоит нервозность Германа — он смеется и плачет ни с того ни с сего, плохо спит, дуется по любому поводу. Хуже того — он рвет соседскую смокву, ломает спички, игрушки, дерется, отказывается слушаться родителей.

Все началось незадолго до рождения Маруллы, 27 ноября 1880 года, во время прогулки, которую Герман никогда не забудет: повиснув на пальто матери, он старался дотянуться до руки отца, когда почувствовал себя схваченным одним из дядьев — тот взял его на руки с криком: «Смотри!» У ребенка закружилась голова: его в любую секунду могли уронить! Так Герман открыл оборотную сторону мира развлечений: пропасть, небытие. Феерии сопутствовал страх. Ничто не могло искоренить в нем страх быть покинутым.

Когда Герман со своими братьями и сестрами сел в поезд, в Базель пришла весна. В Кальве у него не получилось ни вырастить зимой яблоки, ни вызвать лесного духа, но в своих дерзостях он продолжал упорствовать. Однажды вечером, уставшая Мария записывает в дневнике: «Герман наконец-то спит. После того, как я задала ему розог — так, что он подпрыгнул на кровати. Вот он здесь, измученный герой». в письме, адресованном мужу, стажировавшемуся тогда во Франкфурте, она просит: «Помолись вместе со мной за маленького Германа и за то, чтобы его правильно воспитать. Моих физических возможностей недостаточно: у него веселый нрав, геркулесова сила, удивительно острый ум и потрясающая воля для его четырех лет. Мне так тяжело постоянно бороться с ним — он очень импульсивен и самостоятелен». И так заканчивает свое письмо: «Я дрожу от предположений, что может статься с этим безумным ребенком, если мы ошибемся в воспитании».

Ночью проказнику снились кошмары. Днем он развлекался. Он забавлялся со своими новыми друзьями, его радовало новое жилище, окрестности, где он мог играть в индейцев и охотиться за бабочками. Он знает, что есть два мира, подобно тому, как с одной стороны приходит ночь, а с другой — день, распространяя сияние столь похожее, что происходит путаница. «Глубочайшее, сокровеннейшее устремление моих инстинктов побуждало меня не довольствоваться тем, что называют „действительностью“ и что временами казалось мне глупой выдумкой взрослых; я рано привык то с испугом, то с насмешкой отклонять эту действительность, и во мне горело желание околдовать ее, преобразить, вывести за ее собственные пределы».

Что вышло из этого восхитительного намерения? «Что-то

благородное и великолепное может получиться из этого разнузданного мальчишки, — записывает Мария, которая видит его на лужайке сквозь раскрытые окна. — Он скачет, пританцовывает, катается, прыгает непрерывно, совершенно, как маленький жеребенок или козленок. Одежда перепачкана и помята, но упражнение идет ему явно на пользу, иначе он наделал бы каких-нибудь пакостей». Как только он отправлялся гулять в город, сыпались жалобы: «Герман ударил моего ребенка», «Герман разбил стекло», «Герман перевернул коляску с малышом…» Но когда сын рассказывает ей о прочитанных книгах или приходит к ней со своими тайнами, мать восхищается: «Это такая радость быть рядом с ним. У него всегда есть что-то новенькое… Он пишет замечательные стихи!»

Базель, его праздники, барочные дворцы, порт с сероватым молом над водами Рейна, усеянным устрицами, — все это очаровывает семейство Гессе. Интеллектуальная атмосфера — настоящее чудо: «Мы чувствуем себя как одна большая семья. Вместе любим и молимся вместе», — пишет Мария, которой вот-вот исполнится сорок, незадолго до рождения 13 июля 1882 года ее девятого ребенка Ганса.

Герман только что поступил в миссионерскую школу. Что делать с мальчишкой, она не знает: «Маленький Герман сегодня утром прогулял уроки. В наказание я заперла его. Это не возымело действия. „Меня бессмысленно здесь держать, мама, — услышала я от него. — Я ведь могу смотреть в окно, и это уже забавно“». В другой раз, после вечеринки, где пели, он спросил вдруг отца: «Ну что? Хорошо я пою, правда? Так же хорошо, как сирены?» И, лукаво прищурясь: «Интересно, я такой же злой, как они?» Иоганнес обеспокоен поведением Германа: «Я всерьез подумываю отдать его в какой-нибудь пансион за границей.

Мы очень нервные, слишком в чем-то слабые, мы не можем его удержать в рамках».

В миссии у пастора слишком много обязанностей. Мария тоже очень устает. После рождения Ганса в ее черты вкралась усталость, она похудела. Благодать оставляет ее. Она не носит больше длинные драповые платья, а только широкие муаровые, с узким корсетом, тесным и давящим, как свинец. С утра до ночи она хлопочет по дому, присматривает за детьми, тревожится, расспрашивает учителей, навещает больных. Пастор Пфистерер, единственный уважаемый маленьким Германом педагог, дал ей совет поскорее отправить мальчика в пансион. Доктор Гундерт прислал из Кальва согласие, выразил беспокойство: «Мне жаль вашего Германа от всего сердца, и я вас уверяю, меня не радует, что вы отправляете его далеко». Деду известно, что маленький

дьяволенок талантлив: «…Он видит луну и облака, долго импровизирует на фисгармонии, рисует карандашом и пером чудесные рисунки, поет, когда хочет, совершенно чисто», — и дедушка-индиец шепчет на ухо своей дочери: «Вы должны в отношении него ждать милости Господней. Вы не можете передоверить кому-либо его воспитание».

Но в июне 1884 года родители приняли все же решение доверить буяна пансиону «Братья Марии». Правда, пансион был расположен близко от родительского дома, и воскресенья Герман проводил с семьей. Решению родителей он подчинился беспрекословно, но глотая слезы. Они смотрели, как он спокойно и строго удалялся в своей темной униформе — коротких панталонах и двубортном жилете. Быть может, он уже воспринял новую манеру держаться? Он худеет, бледнеет, становится молчалив, а дома всем кажется, что он сам с собой не в ладах. Он сутулится, его мучает мигрень, взгляд тускнеет. Он хорошо учится, интересуется латынью. Но, как дикая птица, которую крестьяне звали «гессе», томится теперь в клетке, лишенный своей песни.

В сентябре 1884 года ударил гром, нарушивший это безмолвие.

Поздняя осень. Все дети в столовой. Звонит почтальон. Все переглядываются: что бы это могло быть? Телеграмма. Из Шопфхайма. Мария вскрывает ее и разражается рыданиями. Подбегает Иоганнес. Тео — Теодор Изенберг, сводный брат Германа, — исчез. Ему уже было восемнадцать лет, и он работал у фармацевта. Перспектива стать аптекарем его не радовала — он мечтал быть музыкантом. Родители отказались определить его в штутгартскую консерваторию — и он сбежал.

После двух дней и трех ночей мучительного ожидания Тео, однако, вернулся, голодный, весь в пыли, очень бледный, из Мюниха, где, как он объяснил, у него была встреча с музыкальным директором. Более чем когда-либо настроенный посвятить себя искусству, он умоляет родителей, убеждает братьев и сестер. Начинается длинный вечер. Слезы, поцелуи, крики, прикосновение к одиночеству — и компромисс. Решение принято: Теодор отправится к фармацевту в Шопфхайм на год, по истечении которого его запишут в музыкальную школу.

Это событие подействовало на Германа, как электрошок. Мальчик утер слезы. Он любуется Тео и невольно тянется за ним. В нем он уверен. Отдаться страсти, слушать свой внутренний голос, несмотря ни на что, — вот это действительно важно. Старший брат стал в глазах мальчика живой легендой. Его упорство — героическое, а мятежный дух сродни евангельскому.

Герман давно пишет стихи и в этот вечер отчетливо осознал, что неподчинение — та свобода, которую дает искусство, что одиночество — свидетельство таланта. И его окрыляет это иррациональное утверждение своей значимости.

Чтобы определить свое будущее, мятежный Гессе использовал короткую формулу: он «либо будет поэтом, либо никем, совсем никем!» В нем «настолько сильно самолюбование и настолько велик страх», что он повторяет, одновременно тоскуя и радуясь, с лицом, орошенным слезами: «Поэт или никто!» Этот взрослый ребенок выражает себя в сентиментальных строфах, немного монотонных и притом порой очень трогательных. Марию радуют успехи сына, Гундерт, однако, не скрывает своего беспокойства: *«Я* более доволен его здравыми решениями, чем его стихами. Они мне кажутся для его возраста почти естественными». В семь лет худой и востроглазый мальчишка или носится с индейскими перьями на голове, или вдруг нацарапывает грязными руками какие-то строчки, совершенно убежденный в своей исключительности. Его карманы набиты карандашами и обрывками бумаги. Бумага — его страсть: маленькие листочки испещрены линиями, словами, цветными рисунками. Марулла любуется братом, Ад ель нежно следит за каждым его движением, маленький Ганс хватается за его фалды. Своевольный брат, кажется, вернулся в лоно семьи. Он играет на скрипке, участвует в молитвах и семейных пениях.

В 1885 году у Юлии усилились приступы грудной жабы. «Смерть сжала мне сердце», — говорила она близким. Ее правая нога уже была поражена гангреной, ей оставалось жить несколько недель. В субботу 22 августа старая миссионерка поднялась на своем ложе, будто преображенная: «Христос — моя жизнь. Смерть — это благо». Она говорила с мужем, «изливая душу в горячей молитве». Мария потеряла покой. «24 августа я торопилась в Кальв… У мамы было что-то с головой. Но когда я подошла к ее кровати, она пристально посмотрела на меня, узнав, улыбнулась и радостно поздоровалась». Мария оставалась у изголовья матери до ее последнего вздоха и записала в дневник: «18 сентября, в четверть четвертого пополудни Господь взял эту душу, оставившую земной мир». Два дня спустя состоялись похороны.

Несколько дней в божественных стихах все восхваляли «мир Сионских холмов» — новое обиталище Юлии — и славу великого небесного Иерусалима. Смерть матери подогрела экзальтацию Марии: «Да, жизнь земная кажется нам суровой, но Господь благосклонен, он дает нам предчувствие нетленного мира». На нее сваливается столько испытаний, что ей угрожает неврастения. Первая тревога — об Иоганнесе, который в бесконечных трудах и

заботах являет собой лишь тень прежнего горячего проповедника. Затем ее угнетает угроза возвращения в Кальв, куда их призывает вдовец Гундерт, обещая зятю управление пиетистским издательством. Мария огорчена: «Базель, работа, круг любимых нами друзей, наш солнечный дом — так тяжело все это оставить». Больше всего ее беспокоит судьба Германа: как отразится на нем перевод в другую школу, притом в момент, когда он наконец более-менее успокоился? Вера — ее единственная опора: «В тщете дней своих мы забываем, что Иисус нам ясно предначертал. Следовать его воле — значит принять его крест, отказаться от себя, от жизни для себя». У нее впалые щеки, блеклые волосы, губы униженно сложены в благостную улыбку — она терпеливо умерщвляет свою плоть. Набожность возвращает ее в детство. Зачем протестовать, жаловаться, бороться? Надо ехать: «Папа зовет меня!»

Гессе приехали в Кальв в начале июля 1886 года. Адель позже вспоминала: «Дом (красивые передние комнаты которого составляли квартиру деда) в глубине, в части, обращенной к горе, был сырым и мрачным. Мой отец сравнил его с тюрьмой, где он никогда не смог бы хорошо себя чувствовать». Мария упрямо повторяет: «Все хорошо, ведь рядом отец!», — и косится на тесное жилище, где ей предстоит устроить свое семейство. После смерти Юлии доктор Гундерт поручил заботы по хозяйству своей кузине Генриетте Энслин. Домашние звали ее «тетечкой» или Иетточкой. Эта болтливая и властная особа крутилась меж сырыми стенами, раскрытыми саквояжами, опрокинутой лошадкой Ганса и сачками для бабочек Германа. Все чувствовали себя неуютно до такой степени, что даже спокойная и терпеливая Мария с горечью вопрошает: «Жертвовать собой во имя любви — прекрасно и достойно, но что из того? Кто-то этим воспользуется…» Нехотя она пытается приспособиться к неспешной провинциальной жизни, ободряя себя: «Это одиночество полезно для моего духовного развития».

С безысходностью Мария замечает, что «на земле нет ни светлых, ни легких дней». Она прикасается дрожащими руками ко лбу мужа, измученному так же, как она. В издательстве он оказался лишь на вторых ролях, и его самолюбие страдает. Власть Гундерта тонка и неприкасаема. Малейшее движение пальцев, легкий шорох голоса — и повеление деда исполняется. Подавляемая этой сильной аурой, Мария сближается с мужем, чей взгляд день ото дня становится все меланхоличнее. Почти в сорок один он выглядит на все пятьдесят. Она заботится о своем несчастном Иоганнесе, как мать: *«Я* чувствую впервые, что для меня значит Иоганнес, что мы значим друг для друга, как друг

друга понимаем, почему делаем так, а не иначе».

В двенадцать лет Герман опять увидел свою деревню, мост через Нагольд, кирпичные сооружения на берегу, куда он забирался, чтобы забросить удочки. Он возобновляет отношения с давними знакомыми: бочаром, мадам Корнелией, садовницей, с «Братьями солнца», бедным трактиром, где на жестяной дощечке выгравировано изображение солнечного диска, и особенно с соседкой Анной — своей первой «возлюбленной», веселой и глупенькой, которой он рассказывает о сексуальных отношениях и рождении детей.

Дома Герман окружен сокровищами Гундертов, шкафами, наполненными благовониями и картинками. по дороге в школу он пересекает площадь и проходит под темным сводом городской гостиницы, построенной лет сто назад и выражающей в своем облике дух Швабии, ее луга, национальные напевы. Более чем когда-либо он находится между двумя мирами. Его воображение мечется между ароматами Востока и запахом елей ближнего леса. Он видит все наоборот или мир неудачно развернут? Иоганнес, который помогает сыну делать уроки, удивляется «необыкновенной легкости, с которой он все понимает, притом совершенно не давая себе труда что-либо запоминать».

В 1888 году, во время каникул, он отваживается на свою первую отлучку: «Герман очень обрадовался возможности провести каникулы в Шомберге со своим другом Бартом, но не прошло и десяти дней, как он затосковал и вернулся. Пешком, с тяжелым багажом, он прибыл домой совершенно для всех нас неожиданно». Мария не знала, что и подумать об этой юношеской выходке — уйти вот так, внезапно, пуститься в дорогу, не рассчитав свои силы. *«Я* с трудом донес багаж от Шомберга до Либензеля, — рассказал Герман позднее. — Я стиснул зубы и пошел. Провинциальная дорога была жутко пыльная и долгая, вещи все более и более тяжелыми, я нес чемодан, перехватывая то одной, то другой рукой, а еще надо было удержать сачок для бабочек».

Едва Герман толкнул дверь дома в Кальве, его отца настигла старость. Пламенный пастор, одержимый мистическими порывами души, превратился в плаксивого ребенка: его остановившиеся глаза перестали видеть. Впервые сын видел его в таком состоянии. Это были симптомы невроза, которым он сам будет страдать впоследствии. Происходящее перевернуло сознание Германа. Кризисы, конвульсии, пастор бьется в аду, который сделал его неузнаваемым, его благородный лоб испещрен морщинами, рот — в злобном оскале.

В августе 1889 года Иоганнеса отправили на лечение в Берн,

в госпиталь для больных с нарушениями деятельности мозга.

Мария, одинокая и измученная как никогда, бегает в поисках более просторного жилища. Наконец ей удается найти дом в Ледергассе, на улице Кюир, куда возвращается больной с предписанием кнайппских ванн и настоя валерианы. Она решает определить Германа в Гёппинген к ректору Бауэру, который подготовил уже старшего брата Карла к сдаче швабского земельного экзамена. «Этот государственный экзамен, — напишет Герман в „Когда я был школьником“, — был очень важен: кто выдерживал его, получал вакансию в богословской семинарии и мог учиться на стипендию».

Затем последовала пауза меланхолии и удрученности. Отпрыск Гессе должен был идти по семейным стопам. Ослушаться — значило продемонстрировать своеволие и впасть в немилость. Ученик семинарии следовал пути, любое отступление от которого считалось грехом. Как могла Мария, не лишенная поэзии, обречь свое чадо на столь мрачное существование? Она отказывалась думать о писательской карьере для сына. Убежденная, как и ее муж, что первенец Гессе должен принадлежать Богу, она крепко привязала его к обществу, в котором он мог существовать лишь ценой постоянных внутренних усилий. Но он восстанет, этот непоседа с тяжелым характером, очень гордый, очень умный. И ничего не захочет слушать… Отвернется… Возненавидит родителей, страстно желающих его спасти, когда речь, быть может, идет лишь об их собственном спасении…

Первого февраля 1890 года Герман отправляется в гёппингенскую школу. С ним необходимые ему вещи, простыни и рубашки, сшитые домашней портнихой Катериной Бул. Целлулоидные воротнички, куртка с черными пуговицами, аккуратно сложенная с перекрещенными внутри рукавами. Он держится дерзко, будто выжидая ответа на брошенный им вызов. Его глаза блестят из-под почти сходящихся к носу бровей. Во взгляде нет и тени смущения. Он снимает жилье у вдовы Шабль, которая вечно беспокоится о его музыкальных инструментах: гармонике, трубе, скрипке, — и вмешивается в его дела. Эта женщина живет жизнью своих постояльцев, присматривает за ними, кормит. 16 февраля 1890 года Герман с удовольствием сообщает: «Я принят в класс „лучших“. Господин ректор великодушен». В лице Бауэра Герман встретил не только замечательного профессора — он познакомился с Учителем.

Это был «…сгорбленный старик с растрепанными седыми волосами, с глазами чуть навыкате в красных прожилках, одетый в зеленовато-выцветшее, неописуемое платье старинного покроя, в очках, повисших на самом кончике носа; держа в правой руке

длинную, достававшую почти до пола курительную трубку с большой фарфоровой головкой, он непрестанно вытягивал и выпускал в прокуренную комнату мощные клубы дыма». Конечно, став лицеистом, Герман не изменился. Он так же недисциплинирован, ерзает на скамейке, звонит в колокол посреди перемены, дерзит, спорит, ссорится. Но старик Бауэр, прозванный студентами эфорусом, за ним присматривает, смеется над его юношескими выходками, всерьез относится к его увлечениям. Подросток ему нравится. Он зовет его Хаттусом, считает в классе заводилой, позволяет на обороте письменных работ записывать стихи и вызывает у ребенка раскаты хохота фразами типа:

— Набей мне… — с трубкой в руке. Или еще:

— Принеси мне кофе, и чтобы выпил не больше двух глотков по дороге.

Бауэр причисляет Германа к «тройке легкомысленных», заставляет оказывать мелкие услуги, умея, однако, и внимательно выслушать своего ученика: «Меня, который всегда был восприимчивым и склонным к критическим суждениям и отчаянно сопротивлялся всякой зависимости и подчиненности, этот таинственный старик пленил и совершенно обворожил просто тем, что апеллировал к самым высшим моим стремлениям и идеалам, как бы не видя моей незрелости, моих дурных привычек, моей неполноценности, что он предполагал во мне самое высокое…»

Герман изменился. Иоганнес и Мария ошеломлены: их сын в самом деле одарен. У них появляются завистники. Их спрашивают: «Сколько вашему мальчику лет?» Тринадцать! Это почти невероятно. Он занимает лучшие места, задает сложнейшие философские вопросы, ведет за собой весь класс, заслуживает всеобщую похвалу и поздравление ректора за блестящий школьный бюллетень. Родителям он пишет пылкие письма, изобилующие историями лицейской жизни. В новогодние каникулы, чрезвычайно взволнованный, он привез им рукопись сочиненной им одноактной трагедии, которую тут же перед ними и разыграл вместе с братьями, сестрами и кузиной. Дед наблюдает, как он бросается вперед, готовый к возражениям, восхищению, любым откликам. Сын Иоганнеса и Марии превратился в талантливого юношу.

Однако за несколько месяцев все меняется. Германа одолевает боль, накатывая с темного горизонта и грозя накрыть своей волной. Тоска будто приковывает его взгляд к страшному в своей неумолимости календарю. Господин ректор предупреждает: приближается день экзамена!

Обычной беспечности как не бывало: ученика мучает мигрень. Он пытается объяснить это плохим зрением и покупает целую коллекцию очков и лорнетов. «У меня сильные головные боли, и причиной являются глаза. Сегодня приятель спас меня лекарством, которое было у него с собой. Он дал мне пятнадцать капель Хоффмана, и через четверть часа боль прошла». В конце 1891 года он пишет родителям: «Я болен. В понедельник во время лекции я вдруг стал задыхаться». И несколько дней спустя: «Сегодня я чувствую себя совсем плохо. Мне очень больно дышать. Не то саднит, не то жжет, все горло сдавлено, и внутри все сдавлено». Грядет великий день (экзамен назначен на 14 июля), Герман отказывается смотреть в лицо более вероятной причине своего плохого самочувствия — страху неудачи на экзамене — и предпочитает объяснять свое состояние иначе: то он получил плохие новости о том, что ректор Бауэр внезапно заболел, то его беспокоит молчание деда, который быстро понял истинную причину его недомоганий: «В отношении нервов я убежден, что достаточно взглянуть на его отца, чтобы перестать удивляться!»

Герман боится. Решающий день неизбежен, как волна, настигающая стоящего у прибрежной полосы, как поземка, несущаяся над долиной, как тревога, злобно пульсирующая в висках. Его мутит, он возвращается с прогулок разбитый, не причесывается и не стрижет ногтей. Когда они ломаются, он стонет, будто ему поранили кончики пальцев. Боль проникает в грудь, туда, где еще вчера жила радость, и разбивает в прах переполнявшее его возбуждение.

В апреле 1891 года Герман едет в Кальв на конфирмацию. Он стоит в церкви — среди пятидесяти девяти мальчиков и тридцати девяти девочек — рядом со своей кузиной Лизой Гундерт, дедом и Марией, которая поддерживает Иоганнеса. Здесь — отец, грустный и измученный, там — величественный дед, одновременно строгий и насмешливый. С одной стороны, строгая аскеза, с другой — победоносная духовная борьба. Герману, пребывающему в тоске и смятении, предстоит выбор. В каменных стенах юный христианин предчувствует вечное мучение. Он отнюдь не за аскезу. В глубине души он за порывы сердца, за игры и забавы, за гармоничное течение дней.

Недели проходят, становится жарко. На день рождения сына Мария хочет приготовить торт с вишней и отправляется с корзиной в сад. Иоганнес молится, принимает сидячие ванны и пьет травяные настои, что несколько облегчает его боли. Дед Гундерт медитирует, и с берегов Нагольда до него доносится шуршание насекомых в росистой траве и тростниковых зарослях.

13 июля Мария садится на поезд до Штутгарта, где ее встречает Герман, выехавший из Гёппингена. Слишком узкое платье стесняет ее движения, она зовет сына сдавленным голосом, трогает дрожащей рукой его лоб, губы, глаза. Он ее успокаивает. Она лихорадочно просматривает программу экзамена, который начинается 14 июля с латыни, затем сдают математику, греческий и теологическую диссертацию, и заканчивается все 15 июля после долгого устного опроса, назначенного на три часа пополудни.

В экзамене участвуют семьдесят девять кандидатов.

Герман спотыкается о ступеньки, входя в большой зал лицея, слышит, как называют его имя, находит свое место и ждущее его задание: рассказать на латыни, как прусский маршал Мольтке выбирал в Кёнигратце сигары. Маленькие немцы знают все про государственного деятеля, разбившего в 1864 году австрийцев и в 1870-м французов. Но как перевести на язык Цицерона слово «сигара»? Вдохновенный Герман нашел блестящий выход: «volumen fumificum» — ловкий оборот явился счастливым предзнаменованием благополучного исхода экзамена.

Спустя пятнадцать дней Герман был принят в богословскую семинарию. Большая пиетисткая семья вздохнула с облегчением: в четырнадцать лет юноша должен следовать правилам заведения, которое будет бережно охранять чистоту его чувств.

Оставалось всего несколько недель до отъезда, и Герман спешит уединиться с удочкой в тростнике на берегу Нагольда. Встает солнце, высокие смоковницы дрожат в небе, стрижи спугивают вот-вот готовый появиться косяк рыбы. Бабочки — павлиний глаз, адмиралы, порхающие над ним, рыбы, чьи тени проскальзывают у его ног — все это природа, богатая цветами, исполненная сил, которые избавляют его от мучений и наполняют энергией. Он рассматривает облака, плывущие на горизонте, «нерешительные, грустные и непокорные». Он созерцает в них неведомые формы, играет вместе с ними: «О облака, прекрасные, парящие, не ведающие покоя облака! Я был неразумным ребенком и любил их, смотрел на них и не знал, что и я пронесусь по жизни, как облачко, — всегда в пути, везде чужой, паря между временем и вечностью…»

Дома Мария паковала саквояжи. Сын предрасположен к насморку, он будет лишен материнского присмотра, у него хроническое нарушение слуха — все это она держит в уме, собирая багаж Германа. Старательно вышивает она монограммы на его белье, фланелевой одежде, его белых рубашках: «Г. Г.», гордые согласные-близнецы. Она уверена, что Герман поправится. Он такой замечательный, такой милый, ее ребенок. Если он

играет словами, если не спит, любуясь звездами, дразнит Маруллу или прячет лицо в подушку, чтобы выплакаться, значит, узкая дверь еще не приоткрылась для него, чтобы он увидел предначертание небес — дрожать, нагому и одинокому, идя по увядающей траве дней.

Большинство тех, кто знает эту женщину, видят в ней, сообразно своей натуре, либо святую, либо сумасшедшую. Для других, склонных к сомнению, в ней нет бесцветного фанатизма, который был бы почвой для той и другой натуры. Какое будущее готовит мать своему сыну, заставляя его следовать по пути предков, его, отмеченного правом свободы выбора своего пути? Она сама некогда несла этот знак и отказалась от своего выбора по принуждению. Может, она напрасно забыла об этом?

Мария поднимает глаза к открытому окну, подпирает подбородок рукой, от указательного пальца с наперстком остается на щеке след. С колен падает какое-то белье. За окном так хорошо! Закат позолотил крыши домов. Жара прячется в лесной чаще, где лисицы нежничают в норах, белки снуют по тепловатой коре деревьев, а в крыльях воронов играют отблески вечернего солнца. Она обрезает ножницами последнюю нитку.

Ее сына ждет маульброннская обитель.

Глава III ОДИНОКИЙ ЮНОША

Кто действительно не хочет ничего, кроме своей судьбы тому подобных нет…

Г. Гессе. Демиан

Расположенный между Штутгартом и Франкфуртом, на одинаковом расстоянии от Карлсруэ и портового Некара, Маульбронн, опоясанный холмами, простирается на юго-восток от темного массива Оденвальда, где, по «Песни о Нибелунгах», умер Зигфрид. Для Гессе он больше чем просто город — это укрытый за мощной стеной Клостер, знаменитый монастырь, раскинувшийся между двумя мирными озерами.

Безупречный по форме, в своем роде шедевр архитектуры, этот монастырь хранит в себе настоящую жемчужину — изысканную часовню, выстроенную вокруг фонтана. Герман в восторге. Его очаровывает все — своды, порталы, садик, мельница неподалеку, нартекс с тонкими колоннами. В Кальве он поцеловал отца, попрощался с друзьями, на пороге монастыря — с матерью, проследив взглядом, как она сначала медленно удаляется от монастыря по тропинке, потом пересекает подвесной мост, ведущий на широкую дорогу. Оставшись один, он вдруг чувствует в себе решительность, ранее неведомую его сердцу. Четырнадцать лет кажутся ему теперь слишком серьезным возрастом для игр. Он держит в руках железную миску, которую сам должен мыть губкой, вилку с ложкой, лампу и бидон с керосином. Он еще слышит последние слова Марии: «До нового года не так уж долго», когда в суматохе первых послеполуденных часов видит своих соучеников. Их около сорока, все они одеты в одинаковые темные курточки: «Тут можно было встретить сухопарых, выделявшихся угловатыми движениями уроженцев Шварцвальда, пышущих здоровьем, хвастливых сыновей сочных высокогорных пастбищ с соломенно-желтыми вихрами, егозливых унтерландцев, общительных и веселых, вылощенных штутгартцев в остроносых сапожках с испорченным, то бишь утонченным произношением. Примерно пятая часть этой цветущей молодежи носила очки».

Будущая провинциальная элита воспитывалась на кропотливом изучении античного наследия, в первую очередь, греческого и латыни. В сочетании с духом пиетизма такое образование призвано было внушить ученикам почтение к

родному краю, ко всему, что нес, для Германа, в себе старик Гундерт: «…Особенную смесь скупости в материальном и роскоши в духовном».

Реформа Лютера вызвала к жизни учебные заведения, преследовавшие лишь одну цель — победить дьявола. Но скрытый конформизм обратил духовный порыв в чудовищную сухость интеллектуализма. В середине XVIII века верный последователь Лютера, эльзасец Филипп Якоб Шпенер, осмелился утверждать, что у каждого христианина «голова должна слушать голос сердца». Ограниченности доктринальной элиты, ее пустой болтовне он противопоставил интуицию и провозгласил так называемое естественное созерцание Бога. Так родилось движение, несшее в себе сильный эмоциональный заряд, — пиетизм.

Герман быстро освоился в этой атмосфере. Он почти ощущал недремлющее око своих предков, пиетистских палладинов. Он не должен был запятнать честь ученого Гундерта, отправившегося некогда евангелизировать Индию, доктора Карла Германа Гессе, потомка германославянской аристократии, одинаково расточительного в благодеяниях и в своей непомерной жажде жизни, а также пастора Иоганнеса, так неосторожно расходовавшего свои силы. Слыша голос крови, юноша стремится, однако, вступить на поля сражений, где разворачивались битвы между жизнью и верой.

Еще в 1722 году граф Луи де Зинзендорф возглавил общины «Моравских братьев» и послал их, босых и почти нищих, какими могли быть апостолы Иисуса, разбивать социальные барьеры и смущать буржуа. Пришло новое поколение, более нежное и более безумное, гениальное и мятежное, которое пело и плакало, следуя велению сердца. Авторитеты Маульбронна вздрогнули от натиска этой толпы. Великие вожди пиетизма Иоганн Альбрехт Бенгель и Фридрих Кристоф Этингер, мудрые и почитаемые, сидели на одних монастырских скамьях с великими мистиками, такими, как, например, Гёльдерлин, создатель бессмертных од и гимнов.

Герман внимательно слушает своих эфоров-профессоров и отважно идет по пути замечательных предшественников. «Быть Гёльдерлином или никем!» — восклицает он. Как и великий поэт, он склоняется над деревянным пюпитром, оттачивает перья, раскладывает стопками книги; ступает по гулким камням мостовой, молится в часовне под луной, свет которой скользит по дугам портика. Ученики все так же штудируют Евангелие и носят те же тяжелые ботинки; те же мысли, те же желания обуревают новое поколение пиетистов. Как и Гёльдерлин, Герман сочиняет

плачи, богатые своим музыкальным строем, и, как и он, рвет белесый тысячелистник, растущий из трещин в стенах, чтобы принести стебли в свою комнату.

Каждый день, следуя точному маршруту, Герман отправляется с товарищами в классы под строгим оком одетого в черное эфора, совершавшего каждым своим движением священнодействие, которому не смели противоречить ни учителя, ни ученики: «В шесть тридцать утра вставать зимой. В шесть пятьдесят быть готовыми. В туалетной комнате вечно была давка, поэтому всегда кто-то оставался неумытым. В тот же час, Prezieren, молитва. У нас много таких латинских слов: Dorment, Prezieren, Rekreation». Все напоминает здесь оплот веры: монастырская ограда, жилье, хозяйственные учреждения и рядом с подвалом «коридорчик послушников», ведущий в обитель. Мальчик заглядывается на стрелки сводов, на скамьи, проступающие сквозь полумрак, на отвратительного и холодного каменного Христа напротив амвона. Раскрашенные евангелисты, фигуры из слоновой кости в алтарной части, маленькая Мадонна из дерева, воплощающая всем своим обликом католический средневековый идеал трудолюбия. Находя единственный смысл существования в страдании и размышлениях, люди в монашеском платье прожили здесь смиренно и скудно, оставив будущим поколениям протестантов это распятие, показавшееся ребенку отвратительным. «Одно совершенно определенно, — признается, шутя, Гессе, — я монахом не стану». И прибавляет: «К тому же немцу не подобает носить тонзуру».

Зато эллинская культура потрясла юношу. Даже монастырь он увидел иначе, когда открыл для себя Гомера, Эсхила и других греческих поэтов. Он переводит Овидия немецким гекзаметром. Когда 9 октября кайзер торжественно прибыл в Штутгарт на похороны вюртембергского короля Карла, Герман написал пламенную поэму и прочел своим ошеломленным товарищам. По результатам диссертационной работы его считали лучшим в классе. Германа прельщало все мистическое, и когда в монастыре появился гипнотизер, некий Зеллер, юноша согласился на эксперимент. «Он меня загипнотизировал, но не совсем разбудил. Перед тем как лечь, я разделся с сосредоточенным взглядом и теперь все еще дрожу». Иоганнес Гессе был возмущен: «Как в воспитательном учреждении могут происходить подобные вещи?» — и потребовал все это немедленно прекратить. сыну дал жесткую отповедь: «Эта история нас всех поразила. Подобные неестественные вещи, на мой взгляд, отвратительны. Наше тело должно быть храмом Духа, наша душа — орудием Воли. Пьянство или летаргия от алкоголя, морфия или гипноза — это

осквернение и унижение создания Господа, спасенного и пожертвованного для службы Ему. Почему именно ты позволил вовлечь себя в этот опыт?»

Однако Герман располагал здесь и иными способами забыться. Горельефы, ниши порталов, скульптуры монастыря снабжали его образами более коварными, чем колдовские выдумки. Моисей, Самсон, Дева Мария, мужественный ангел Авраам действовали на него, словно приворотное зелье. Круглый витраж прачечной, изображавший мистический пожар, свинцовые гробы погребенных настоятелей, пространство внутреннего двора, маленький светлый зал, где некогда брились аббаты, башня с замурованными окнами, где доктор Фауст пытался создать золото, — все вызывало мысли о тайной алхимии. Череда таинственно обольстительных образов от Гёльдерлина до астронома Кеплера и легендарного любовника Маргариты преследует Германа, легко поддающегося очарованию их мистики. он в восторге от ощущений, то овевающих его смертным холодом, то обжигающих адским огнем. Опьянение Ноя на фронтоне, под генеалогическим древом Давида соблазняет его.

Герман переживает внутреннюю борьбу, знакомую ему еще со времен Кальва. Он балансирует между ними, Христос на кресте его пугает, мертвенно бледный стоит он под серым зимним небом, а с приходом июльской жары кровь его загорается. Так и колеблется он меж ночью и огнем, желая сорвать одежды, чтобы спуститься нагим в обитель мудрости, которая возбуждает и дразнит его: «Часу гимнастики я предпочитаю два или три часа чтения Цицерона». Он изучает Ксенофонта, склоняется на «Метаморфозами», выбирая по-прежнему объектами своих чувственных открытий то один, то другой образ декора древней обители и зажигая воображение волнами «Одиссеи». Он открывает для себя красоту человеческого тела и, читая Демосфена, уподобляет себя благородным демократам в дорогих одеждах, голосующим за свободу. Этот эфеб проводит свои золотые годы за книгами, лоб его осенен невидимым лавровым венком, он учится музыке, драматическому искусству и даже боксу.

В письме родителям он рассказывает о поединке со своим товарищем Кнаппом: «Он бросил на землю мою любимую медвежью шубу. Я пожаловался, и он вызвал меня. Я настоял на кулачном бое… При первом же ударе мои очки слетели… Подбородок, лоб, затылок, грудь — все было в синяках. Этот весельчак попал мне в живот локтем — это привело меня в такое бешенство, что я поднялся, собрал все силы и ударил его в грудь так сильно, что он упал». Противники разошлись, так и не

определив победителя и побежденного, и воцарилось молчание, нарушаемое лишь журчанием воды в фонтане внутреннего двора и звоном церковного колокола.

Каждую неделю ученики посвящают занятиям сорок один час. Кроме того, существуют свободные часы, когда можно гулять, отдыхать, неторопливо читать и размышлять, — это часть выходных и праздничных дней, утренние часы, время после полудня и полчаса вечером, перед ужином. В нескольких письмах, следующих одно за другим, Герман лаконично сообщает: «У меня все хорошо… Мы все привыкаем друг к другу…» Постскриптумы этих писем даже легкомысленны: «Если бы мне возможно было получить сосиски или фрукты, они были бы встречены моим монашеским желудком с глубоким почтением», «у меня остается шестьдесят один пфенниг. Скоро я буду нуждаться… Поверьте мне, дорогие родители, я могу себе позволить лишь кружку пива за одиннадцать пфеннигов. Мы имеем право употреблять такие вещи три раза в неделю, и почти все этим пользуются. Можно пить молоко, но это очень дорого!» Вместе с двенадцатью мальчиками он живет в комнате, которую называют Хеллас: «Форум, Афины, Спарта, Акрополь и Германия — так зовутся другие помещения», — пишет он домой.

Приближается зима. Уже холодно. Стены коридора черны от сырости, как надгробные камни во дворе. Пар от приготовляемой пищи поднимается под своды маленькой кухни, отчего воздух становится сырым и теплым. Кушания передают через отделанные металлом окошечки. Готическая трапезная занимает поперечный неф. Принимать пищу можно только в специально отведенные для этого часы. Домашнее платье дозволяется лишь по пробуждении. В повседневной одежде ученикам предписывается избегать ярких расцветок и эксцентричных покроев. С красными от мороза ушами и обожженным ветром лицом Герман исследует окрестности: «Я хочу описать вам здешнюю округу. Я очарован озером здесь неподалеку. Представьте себе старый и красивый буковый лес. И среди вековых деревьев поразительное серебряное озеро, окруженное зарослями тростника у низких берегов. чуть подальше, за столетней ольхой, — скамеечка, поросшая мхом…»

Туман у берега терял густоту и рвался от сухого и теплого альпийского ветра фена, «когда он с воем проносился над ущельями, слизывал снег с крутых склонов и могучими руками пригибал к земле старые стойкие сосны, заставляя их тяжко вздыхать». Герман упивается этой суровой поэзией. В тени камня, на берегу этого бледного озера он любит в одиночестве прислушиваться к звучавшей здесь, как ему казалось, мелодии

Шуберта — таинственному напеву, который напоминает тембром материнский голос.

Поздно вечером 19 января Герман внезапно проснулся: «Было половина десятого. Мы уже легли и только что погасили лампу… когда услышали внизу крики „пожар!“… Ужасный запах проник в дортуар, и почти сразу же стало совсем светло». Горело помещение, где хранились дрова, запасенные на зиму. Возбужденный запахом огня, пламенем, пробивающимся сквозь готические окна, Герман выбежал вместе со всеми смотреть на пожар: «Здания были в опасности, особенно когда ветер дул в сторону еще нетронутых пламенем построек. Мы понеслись в прачечную за ковшами для воды, наполнили их в эфорате, куда уже подбирался огонь, и стали поливать помост, охваченный искрящимся пламенем. На мне была только рубашка… и тапочки. Одну я потерял и продолжал бегать на одну ногу босой, пока не почувствовал боль от ледяной воды и не решил надеть сапоги. Своих я, конечно, не нашел, поэтому схватил еще чьи-то первые попавшиеся… Я видел через проем двери, как разрасталось пламя». В письме родителям юноша рассказывает, как горели деревья и солома, обваливалась крыша. В огне для него было что-то таинственное, колдовское и завораживающее. Ему казалось, что он с детства видит его отсвет. Еще в пять лет он опрокинул лампу с керосином и рассмеялся, когда пламя лизнуло шторы в отцовском кабинете. В Кальве его однажды застиг лесник, когда он зажег сухую траву, а 17 февраля 1891 года в Базеле он, задыхаясь, помогал тушить пожар у суконщика. Огонь принадлежит к его самым трепетным переживаниям: «В угасающем жаре пылающие золотом нити сплетались в сети, возникали буквы и картины, воспоминания о лицах, о животных, о растениях, о червях и змеях», — пишет он в «Демиане». Обожание огня! Эта фантасмагория его очаровывает, разжигает, возносит над повседневностью.

Пожар продолжался четыре часа. И вот наконец отпрыск Иоганнеса и Марии с покрытым сажей лбом и руками в занозах пьет вино у ректора и дарит потерпевшим свою куртку и пару панталон. Король Вюртемберга выслал в Маульбронн одну тысячу марок; учеников, отличившихся во время бедствия, наградили. Для Германа начался период эйфории — он сам будто превратился в горящее пламя, которое переливается, бросает жгучие искорки, тревожно потрескивает: «Я счастлив и доволен. В семинарии сейчас царит атмосфера, которая мне очень по душе». Он читает Шиллера, декламирует стихи, пытается писать критические произведения. В классе его прозвали офицером, и он торопится сообщить матери, что под этим именем «ему

необходимо быть бдительным, следить за мелом, губкой и графинчиком со свежей водой». В оркестре семинарии он в ряду вторых скрипок.

Он собирает друзей и декламирует «Песнь о Нибелунгах», склоняется над древнееврейской грамматикой и погружен в видения, чередой проносящиеся перед его мысленным взором. «… Герои истории уже не были для него лишь именами, датами, нет, теперь они смотрели на него горящими глазами, стояли рядом с ним, у них были живые красные губы и у каждого свое лицо и руки: у одного грубые, натруженные, у другого — спокойные, холодные, каменно твердые…». «Одиссея», «подобно белой округлой руке русалки», несет «весть о давно погибшей, но совершенной по форме счастливой жизни». В древнееврейском тексте Библии живут «высохшие лики седовласых мудрецов рядом с красивыми юношами и волоокими девами…» в Новом Завете он узнает Иисуса «по великой блистающей глубине любящих глаз его, по тихо машущей, нет, скорее приглашающей и зовущей, такой красивой узкой загорелой руке». Герман чувствовал, будто «взгляд его проникает через всю толщу земли, словно сам Господь внезапно наделил его этой силой».

Экзальтация? Душевные переживания? Озарения? Мария волнуется. Она объясняет это чередование наслаждения и мучения, периодом возмужания. Ее сыну идет пятнадцатый год. Часто ничтожная мелочь может вдохновить его на причудливые видения: «…Стоит мне чутьчуть повернуть перо, как буква уже виляет хвостом, превращаясь в рыбу, вызывает в памяти все ручьи и реки мира, их прохладу и влагу, океан Гомера и воды, по которым шел апостол Петр, или же буква становится птицей, выставляет хвост, топорщит перья, вся надувается и, смеясь, улетает»41. У него легко рождаются каламбуры, и он спрашивает себя: «Нужно ли искать их источник в молчаливом прощании с детством или юношеской стеснительности?» в своих автобиографических заметках он напишет: «Мои проблемы начались в семинарии. Я выбрал свое ремесло в юности, уже тогда решил, что буду поэтом. Притом я понимал, что признания достичь трудно и ремесло это не приносит хлеба».

Седьмого марта 1892 года после завтрака Герман внезапно исчез. Его нет в классе. Вечереет, но его всё не находят. Слух о его исчезновении разнесся по коридорам монастыря. Последний снег почти растаял. Люди со светильниками обыскивают сад и ближний лес, заглядывают в кабачок, где посетители теснятся поближе к огню, прихлебывая горячий пунш. Ни одного следа, ни одного клочка одежды, застрявшего в ветках колючего кустарника, никаких следов бродяжьего кострища. В десять часов

вечера профессор Паулюс отправил телеграмму Иоганнесу: «Все наши поиски оказались напрасными».

В монастыре царило уныние. Когда Гессе видели в последний раз? Один из учеников видел его в половине двенадцатого около церкви. Шел дождь. Герман бежал с непокрытой головой, прижав к себе книги и, казалось, думал лишь о том, как поскорее добраться до какогонибудь укрытия. Где он теперь? Лежит, скрючившись, в придорожной канаве? Блуждает в лесу? Утонул? Зачем он ушел из монастыря, где ничто не мешало ему чувствовать себя хорошо? Может быть, он поссорился с эфорусом? Получил письмо? Последовал за девушкой?

Сквозь приоткрытую дверь Герман проскользнул за ограду монастыря, пересек пашню. Его одежда и книги промокли. Дождь усилился, грязь чавкала под ногами, волосы вымокли, и пряди в беспорядке приклеились ко лбу. После нескольких часов ходьбы он проголодался, обшарил карманы и, ничего не найдя, вновь медленно двинулся в путь и шел, пока не увидел стог, где, дрожа от страха, холода и усталости, решил наконец заночевать. Проснувшись, он увидел над собой в неверном свете зари вопросительное и недовольное лицо жандарма, который его тут же сурово отчитал. Юноша сказал, что возвращался в Маульбронн, но заблудился.

Новость сообщили в монастырь, «классные надзиратели вышли навстречу беглецу, и когда в профессорском кабинете Герман вытащил платок, на пол упали соломинки. Он провел ночь в открытом поле при минус девяти, без пальто, без перчаток, без денег и с классными книгами под мышкой». В полдень следующего дня Мария получила телеграмму: «Герман вернулся!»

Накануне, когда почтальон принес плохую новость, Мария сидела у изголовья простудившейся Маруллы. Она тотчас послала Адель к Иоганнесу, и он от этого известия пришел в то смутное расположение духа, какое так часто посещало его. Почему его сын сбежал? В чем он был виновен? «Не впал ли он в пятнадцать лет в особенные грехи? Не побудили ли его к бегству какие-то особенно дурные мотивы?» Измученная Мария даже предположила, что Герман, вероятно, совершив какой-то грех, не смог перенести такого позора и уже пребывает в руках Господа, «утонув в одном из тех озер, которыми так любил любоваться». Но лучше смерть, чем позор: «Мир и смирение наполнили мою душу», — пишет она. Когда Герман вернулся в монастырь, мать встревожилась, предвидя, что для него наступят тяжелые времена: «Отныне с невинными играми покончено. Учителя и ученики будут его сторониться и выказывать ему недоверие!» И она была права. В семинарии даже говорили об отчислении. «Его

манеры оставляют желать лучшего, — пишет профессор Паулюс, — произошедший инцидент показал, что ему не хватает силы воли соблюдать дисциплину». Хуже того, его считали паршивой овцой: «Он полон восторженных мыслей и экзальтированных чувств… Со временем он привлечет к себе дурных товарищей своим своеволием». Ошеломленный произошедшим Иоганнес дает сыну совей «Покорись!» И засыпает его бесконечными вопросами: «Кем ты будешь? Ты уверен, что это не повторится? Можешь ты, по крайней мере, с честью выйти из этой истории?», — задавая главный: «Господь сможет ли тебя теперь благословить?» В ответ юноша однажды вздохнет: «Отец, пожалуйста, любите меня, как прежде!»

На заре пленник кидает взгляд на свою тюрьму, делает несколько шагов, разглядывая стены, где перочинным ножиком вырезаны имена учеников, которые так же, как и он, расплачивались пребыванием здесь за прегрешения. Вдруг он замечает имя Карла Изенберга, своего сводного брата. Рядом стоит дата: 28 мая 1885 года.

Герман пишет, будто бормоча: «Я так устал! У меня настолько нет воли к действию! Я не болен, мне мешает лишь новая слабость, совершенно случайная… Я ощущаю порой, что нет сил ни думать, ни идти… Я еще с трудом могу сердиться, но я совершенно не радуюсь ни свету солнца, ни приближающимся каникулам. Мне нравится на четверть часа взобраться на вершину горы, покрытой виноградниками, присесть отдохнуть и почувствовать дуновение восточного ветра; там нет домов и не видно ни одной живой души; я ни о чем не думаю, ничего не делаю и радуюсь налетающему порыву свежести, от которого слезятся глаза и кровь начинает пульсировать в висках. Даже божественный Мессия, даже бессмертный Гомер не пленяют меня больше. Здесь покоится лишь мой одинокий Шиллер. Я временами перечитываю исполненные какого-то вселенского стона оды Клопштока. Моим ногам холодно, а голова горит, и когда я свободен, то думаю о чем-то определенном, например о красивом романсе Хервега: „Я хотел бы удалиться, подобно закату, подобно дню с его последними отблесками…“»

Что это было: романтическая поза или подлинная рана? И то, и другое, вероятно. На обочине одинокой дороги Герман мучает сам себя и ждет гроз. Ему нужны смерчи из ветра, песка, слез, чтобы вырвать себя из этого небытия. Его покидают друзья: «Вчера я должен был пережить самое тяжелое — прощание с Вильгельмом, который так хорошо понимал и знал меня, делил со мной радость и страдания! С грустью он дал мне прочесть письмо своего отца. Очевидно, что тот меня презирает. Содержание

письма — приказ прекратить со мной отношения».

Герман до конца дочитал это послание. Никто не видел, как загорелись его глаза, как покраснел лоб, и никто не был свидетелем того, как Вильгельм повернулся к нему спиной, не способный что-либо произнести. В сердце юноши осталась пустота: «Я потерял того, кого любил более всего, кому принадлежал мой досуг, мои песни и мои мысли… Тяжело держаться в кругу друзей, но еще тяжелее потерять живого друга». Он поставил росчерк в конце письма родителям и свернул его, не желая более слушать тоскливые возгласы своей души. Он перестал плакать и разразился пронзительным колким смехом, издевательским и жестоким! Скоро он совершенно неожиданно станет обращаться к родителям на «вы».

— Нервы! Это нервы! — вздыхает эфорус.

Вид Германа пугал окружающих: исхудавшее лицо, полуоткрытый рот и частое дыхание, блуждающий взгляд. Старик Гун-дерт сообщил Иоганнесу о последней выходке отступника, про которую узнал от одного из своих друзей, профессора Гартмана. Молодой Гартман тоже учится в Маульбронне. «Гессе говорит странные вещи, — пишет он отцу. — Вчера он сказал, что мог бы меня убить. вечером в дортуаре пошел прямо на меня, без Оружия. Я сбил его с ног и дал ему понять, что не потерплю такой наглости. Он мне ответил, что хотел только немного развеять свою меланхолию, что он чувствует боль, от которой может избавиться, только если убьет кого-нибудь…»

Начав письмо с трагических нот, Гартман заканчивает его эмоциональными комментариями: «Гессе верит в жизнь после смерти. Это не небо и не преисподняя, это место, где души могут общаться и быть счастливы». Он лелеет мечту о мире, «где каждый будет радоваться тому, что все друг друга понимают». Бедный Герман, он уже упрекает себя, что угрожал товарищу, берет его за руку, говорит, что предпочел бы жить «во времена древних греков, которые почитали Аполлона», потому что теперь на земле, покинутой Богом, царит грусть. Наконец они пожали друг другу руки. Гартман, раздираемый страхом и внезапной симпатией к этому тоскующему мрачному юноше, попросил отца никому не рассказывать об этом инциденте — так нежность в нем победила страх.

Увы, профессор Гартман забил тревогу. И если эфорус и профессор Вальц придерживались мнения, что Герман со временем обретет душевное равновесие, трое других преподавателей и врач настаивали на его немедленном отъезде. Мария приехала за сыном, который то грустил, то впадал в чрезмерное возбуждение и который, как говорил классный

наставник Вютериг, «не прилагал усилия воли к упорядочению своего воображения». В монастырском дворе юноша приникает к живописной магнолии, покрытой почками, и ощущает, как в нем расцветает меланхолия. Слепой и всевидящий, он понимает в эту секунду, что немногим больше шести месяцев, проведенных в монастыре, ему хватило, чтобы прийти к окончательному выводу: он никогда не будет ни пастором, ни ученым! Внутри его разгорается пламя — он нуждается теперь только в непредсказуемых тайнах любви. Разбуженный предчувствием блаженства, Герман ждет ее приближения.

В начале мая Мария отвозит сына на маленький курорт Бад-Болл, где его воспитанием займется протестантский пастор Кристоф Блумхардт. Вечером ясного весеннего дня она записывает: *«Я* буквально уничтожена душевно, день и ночь мне приходится теперь думать: что сейчас делает Герман?»

Пастор Блумхардт — настоящий фанатик. Сын знаменитого пиетиста, доктора теологии, он наследовал от отца сильный голос, душевную искренность и вдохновенный лиризм, что позволяло ему убедительно проповедовать со своей кафедры, подобно гигантской птице, одержимой демоном святых пророчеств. Как убежденный сторонник медицины он прибавил к религиозным упражнениям травяные настои, обливания и прогулки на свежем воздухе. Почти сразу после своего приезда Герман пишет: «Именно так я представлял настоящую жизнь, когда был на Востоке. Мы нуждаемся только в одежде. Остальное зависит от нас! Колокол звонит, когда мы голодны. Можно ложиться спать и вставать, когда хочется». Но Блумхардт, как и пастор Гессе, имел репутацию заклинателя злых сил. Он мгновенно угадывал присутствие Сатаны, особенно в детях, которые могут, если вовремя не вмешаться, состариться и умереть в его когтистых лапах. Пастор выслушивает юношу — настоящего злого духа, которого считают одержимым грешными помыслами и чьи глаза красны от слез, — и обещает его матери, что ничто не будет оставлено на волю случая. Чтобы больной пропотел, чтобы вышли все токсины, ему небходимы мыло с еловой эссенцией, массаж жесткой щеткой и ежедневные внушения.

Герману также предписано много гулять. Бад-Болл — симпатичное местечко в десяти километрах от Гёппингена, где у него остались друзья. Здесь есть красивые церкви, старинные замки, прогулочные дорожки вокруг источников и разные снадобья во флакончиках с разноцветными этикетками. Юноша играет в кегли, ловит ужей и ящериц, чтобы изучить их и вновь отпустить на волю, любуется красными маками в зеленых лугах, цветами голубого цикория и иван-чая. В природе все для него

излучает свет и нежность, и он всегда готов ответить «да» любому празднику.

В этом состоянии юношеского восторга Герман, однако, оценивал себя достаточно критично: *«Я* стремительно вырос за последние полгода и взирал на мир долговязым, худым и нескладным подростком. Ничего ребячески милого во мне не осталось, я сам чувствовал, что таким любить меня невозможно, и сам тоже отнюдь не любил себя». Блумхардт разрешил юноше встречи с родными и друзьями. Он нанес визит вышедшему на пенсию ректору Бауэру. Из Гёппингена вернулся радостный после часа болтовни со своей старой хозяйкой фрау Шабль. В Канншатате Герман посетил Тео, снимавшего жилье у жены пастора госпожи Кольб. Освободившись от монастырских строгостей, брат окружил себя друзьями, просиживал часами в тавернах и каждый год участвовал в народных праздниках Швабии. Нарядившись в «Нарро», демона в деревянной маске, он шествовал с приятелями по улицам, сопутствуемый грохотом колокольчиков и звуками щелкающих кнутов. Теперь, набивая трубку между кружками пива, он ощущал себя мужчиной. Теодор сочувственно обнял больного брата, представил его госпоже Кольб, потом ее дочери Евгении. Герман в восхищении поклонился. Ему никогда еще не приходилось ухаживать за девушкой. В первый раз он оказался так близко к ней, что смог вдыхать ее аромат, созерцать ее, будто она Беатриче: *«Я* знал о ней по одной английской картине — у меня была ее репродукция. На ней изображена девическая фигура в манере прерафаэлитов, очень длиннорукая, длинноногая, стройная, с узким одухотворенным лицом и тонкими пальцами…» Он пробормотал: «Какая ты красивая!»

Блумхардт предусмотрел все, кроме подобной беды: влюбленный Герман! Евгении двадцать два года, и на время она дала себя победить. Вопреки выбритой голове и пронзительным глазам за стеклами нелепого лорнета Герман ей понравился. Созревшая и уверенная в себе, полная жизни, она приблизила робкого мальчика, осыпала женскими милостями и увлекла за собой: «Словно из грез моего собственного сердца возникла вдруг красивая чужая женщина, положила мою голову к себе на колени, улыбнулась мне, как цветок, и была ласкова со мной; уже во время первого ее поцелуя я ощутил, как что-то плавится во мне и причиняет странную боль».

Так в пятнадцать лет Герман ощутил аромат женщины, прислушался к звукам ее голоса, пожертвовал ей отпущенные ему мгновения свободы, более щедрые, чем жестокие отповеди с интонацией Иеговы, будто изливающиеся из библейских туч.

Опять этот непокорный ребенок пошел по запретному пути. Блумхардт, как и отец, воплощал для него вечный символ авторитарности и долга, а Евгения, как и Мария, в колыханье юбок и запахе скошенной травы ассоциировалась с прелестью чувственного мира, где жаждут и губы, и пальцы. Ему приходилось менять эти палитры — от предвкушения блаженства переходить к пуританским ужасам, от евангельских проповедей обращаться к молчаливой женской нежности. Вновь он влеком то логикой разума, то чувственностью плоти. Он хотел бы выбрать наконец что-нибудь одно и теперь знает, что скорее выберет плотское, чем ангельское.

Пастор начинает сомневаться в возможности спасения своего юного пациента. Тот будто ускользает из его рук. Герман рассеян, у него необычно красные глаза, он задает глупые вопросы, кричит ночью, как сова, кидается обнаженным по грудь в источник, жует калину, вечно простужен, плохо спит — сумасшедший, более чем когда-либо. Он ничего не видит, ничего не слышит и думает о смерти. Он скопил денег и купил в городской оружейной лавке револьвер. Сильная рука Блумхардта вырвала его у Германа как раз тогда, когда тот собирался поднести его к виску.

Мария приехала в Бад-Болл 22 июля. Они встречаются в салоне, где пахнет ментолом и целебной водой: сумрачный Герман, ворчливый Блумхардт и взволнованная мать. Пастор категоричен: психиатрическая лечебница. «В заключение, — записывает измучившаяся Мария, Кристоф Блумхардт посоветовал отправиться к пастору Шаллу в Штеттен и поручить сына ему. С себя он дальнейшую ответственность решительно снимал».

Лечебница располагалась в средневековом замке, где с 1864 года содержались дефективные и больные истерией дети. Герман насторожился: «Вы хотите меня запереть». Он стал противиться, вплоть до угроз: «В эту тюрьму? Никогда! Лучше утопиться!» Мария умоляла его послушаться, призвала на помощь Господа, не понимая, насколько стесняет ее сына клеймо «душевнобольного». Для нее важно было одно: сын должен искупить свою вину. Он вырвался от нее, стал драться ногами, бесноваться, искусал себе руки. Его еле утихомирили.

Пастор Шалл неумолимо смотрел на юношу. Он был опытен в такого рода делах, так как в свое время занимал пост управляющего центральными тюрьмами. Маленький революционер показался ему уязвимым: «…Беззащитный, как яйцо без скорлупы», — оценил он Германа и потребовал, чтобы тот как можно скорее написал отцу и попросил прощения. Юноша послушался. Роняя слезы умиления, он отправил письмо с

извинением, на которое Иоганнес тотчас ответил: «Мне необходимо тебе сказать, что я очень рад, что ты наконец изменил свой тон!» Штеттенский пастор пообещал, что его новый подопечный не будет чувствовать себя под замком: он сможет читать, возиться в саду, заниматься латынью, видеть друзей. Герман прислушался. Друзей? Он вновь увидит Евгению? Этот вопрос гложет его изнутри, но пока он только принимает микстуры и укладывается спать в дортуаре с железными решетками на окнах. Ночью он пишет первый из двадцати трех сонетов, посвященных той, которая несколько недель спустя, 20 июля, отправит ему откровенное письмо:

«Дорогой господин Гессе,

поверьте мне, первая любовь никогда не бывает удачной. Я прошу вас от всего сердца, позаботьтесь о себе, проявите мужество. Ну что это такое — захотеть вдруг безвольно лишить себя жизни? Извините меня. Мои слова могут вам показаться суровыми, но я уверена в том, что говорю. Пожалуйста, прошу вас от всего сердца».

По-матерински и неосторожно она заключает:

«Приходите к нам так часто, как пожелаете, и приносите свои стихи, хорошо? — и в постскриптуме добавляет: Мы скоро выпьем за нашу дружбу».

С тех пор у влюбленного в голове одна мысль: посещать лицей, как ему предложил отец, но не любой, а тот, новый, в Канншта́те, который его приблизил бы к Евгении. пока он возится в саду. Едва успокоившись белладонной и прочистив желудок, он, надев соломенную шляпу, бежит из палат, где висит запах камфоры. «Большую часть времени я работаю в саду, отбираю семена, поливаю, полю, окучиваю». Все это он делает превосходно, природа дает ему отдых. Порочное желание, прячущееся в тайнике души, настолько заставляет его собрать свои силы, что пастор Шалл, потрясенный быстрыми метаморфозами, пишет 5 августа Иоганнесу: «Мальчик может уезжать. Теперь он совсем поправился».

Едва оказавшись дома, Герман начинает брыкаться. Отец, так желавший его увидеть погруженным в теологические изыскания, вновь пускается в поучения. Он разочарован в сыне. Считаться душевнобольным — не значит ли это быть потерянным для Господа? Раньше между отцом и сыном существовало молчаливое согласие. Их связывала естественная симпатия — оба утонченные и нервные, похожие друг на друга высоким ростом и худобой и, кроме того, оба страдающие маниакально-депрессивным психозом, желчные, своенравные, они легко переходили от черной меланхолии к бурному возбуждению. Несколько недель

назад Иоганнес сказал Герману: *«Я* измучен такой жизнью, как твоя, и, как ты, болезненно ощущаю несоответствие идеала и реальности». Герман более походил на отца, чем все его братья и сестры. И, быть может, восхищался им больше, чем они. Каждый раз ждал он момента молитвы, когда звучный отцовский голос взывал ко Всевышнему: «Пребудь с нами, Господи!» К этой молитве он присоединял свою: твердую, горячую, почти свободную. Он любил этого человека, способного рассказать на древнееврейском про Золотого тельца и явиться своему сыну мечущим молнии Моисеем, восстающим со страниц древнего текста. Но Иоганнес воплощал Принцип, ненавистный Принцип. И Герман не мог простить отца за внушенный ему с детства страх: страх греха, наказания, мук совести, страх перед непредсказуемостью собственной души…

Дом в Кальве стал для всех адом. Мальчик хочет сорвать черепицу с его кровли, разбить окна, он рычит и воет, словно волк на луну, от безысходности своего положения. «Он немного склонил голову, — записывает старик Гундерт, — но теперь зубоскалит, и самым наглым образом!» Ему говорят, что он ведет себя, как сумасшедший, и он отвечает нахально: «…Тот, кто говорит, что я сумасшедший, сам сумасшедший». По отношению к Марии он то яростный, то ревнивый, следит, когда она приходит и уходит, всегда смиренная. Он разглядывает ее юбку, натянутую на длинные прямые ноги, обручальное кольцо на руке, погружающейся в зерно или сахар. Отец, воспринимаемый им порой как брат, его проклял, в матери он ищет образ возлюбленной. И Мария жалеет своего сына, «чрезмерно возбудимого и раздражимого, упирающегося и бранящегося, который хочет гулять исключительно в одиночестве, жалуется, что скучает, и не делает ничего из того, что просит отец или предписывает врач». В конце концов Иоганнес решает вновь отправить его в Штеттен.

Заведение пастора Шалла было открыто во время каникул, и миссионер Зейгер препроводил туда мальчика. Ни Мария, ни Иоганнес не смогли этого сделать: она говорила, что измучилась душой и телом, а он пытается компрессами успокоить мигрень. Ребенка провожает старик Гундерт. Черты патриарха теряются в огромной бороде. Плечи тонут в складках черного жилета, и руки дрожат от старости. Он зовет внука «Мем-мерль»: нежным именем, уменьшительным от «Герман». Но тот в сильном раздражении бросает в адрес своих родителей: «Они избавляются от меня». Потом вдруг приходит в исступление, поэтичное и яростное одновременно: «До свидания, старый родительский дом! Меня постыдно выставляют за дверь!» Его глаза загораются:

«Свобода ведет к дьяволу!» — и в душе совершенно потерявшегося ребенка рождаются стихи:

Я в сумасшедший дом бреду. Кто знает?
Быть может, разум мной играет…

Действительно ли он сумасшедший? Старик Гундерт ограничивается грустной констатацией того, что «юноша — несчастный малый, которого впору пожалеть!»

Но в Штеттене с Германом обращаются как с преступником. Неделю он молчит. Родители колеблются, написать ли первыми или, напротив, ждать письма от него. Наконец 30 августа они получают от сына письмо, агрессивное и надменное: «На высоком старом пюпитре лежит маленькая папка, похожая на тетрадь, и еще голубая тетрадь. Мне они нужны. То, чего я достиг сам — благо. Взять у меня эти стихи — значит украсть». И подписывается: «Герман Гессе, нигилист!»

Получив за это выговор от пастора Шалла, он пишет: «По логике господина инспектора у меня нет права подписаться „нигилист“! Потому я подписываюсь: Гессе, изгнанник!» Старательно он выводит пером свой девиз: «Ubi bene, ibi patria», а потом, разочарованный, спрашивает: «Sed ubi bene?» Пугаясь самого себя, Герман тем не менее подтрунивает над Иоганнесом, почти оскорбляет его: «Папа подписывает свое письмо господину инспектору „Ваш скорбящий…“. Пожалуйста, не старайся быть скорбящим, мне это никак не поможет, постарайся засмеяться, хотя бы раз!» «Это было первое покушение на святость отца, первый удар по основанию, на котором покоилось все мое детство, основанию, которое каждый должен разрушить, если он хочет стать самим собой». Более неуравновешенный, чем когда-либо, Герман обращается к своей двуликой душе, где уживаются Каин и Авель, братья-враги. Это как театр: поднимается занавес, и возникает ужасная сцена — гениальный ребенок из Кальва в маленькой хижине среди слабоумных! Он поднимает волшебную палочку и шепчет совсем тихо при синеватом отблеске фонаря:

— Давайте, давайте, братья мои, я приглашаю вас на маленькое представление.

И прибавляет со смехом:

— Только для сумасшедших.

Уткнувшись в подушку, он подавляет нелепый смешок:

— Вы готовы?

И падает, сжав кулаки, будто спущенный курок.

Глава IV НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ

Мое состояние в то время было родом безумия.

Г. Гессе. Демиан

Этой ночью Карл Герман Гессе, старый доктор из Вайссенштайна, не спал. В свои девяносто он не удивлялся бессоннице. Биение его сердца чередовалось с опьяняющим приливом вязкой массы воспоминаний, теснивших душу, приближавших к смерти. Ее тень не пугала его. Он погружался в прошлое, укрыв грудь пледом из толстой шерсти и прислушиваясь к молчанию. То, что он написал когда-то внуку в Маульбронн, было верно: «Я могу работать, я могу еще спать… — это великое благо; это поддерживает мое существование. Я не принимаю лекарств и чувствую себя счастливым».

Он потерял третью жену, урожденную Адель фон Берг, 27 сентября 1891 года. Очаровательная женщина, которую он горячо любил, была воспитана в Санкт-Петербурге и принадлежала к высшему обществу. Своим появлением в Кальве за три года до рождения Германа она произвела фурор: с отменными манерами, красивая, изящная и артистичная — она заставила грезить о себе многих. «Как жаль, что доброй бабушки из Вайссенштайна нет больше в живых!» — воскликнул тогда Герман. «Я никогда не видел своими глазами ни своего деда, ни его маленького городка, ни его дома, ни сада с кленами и зелеными скамейками, но я их знал лучше, чем многие города и страны, в которых побывал на самом деле». С интуитивной осторожностью мудреца Карл Герман опасался, что на его внука наложат клеймо сумасшедшего. Он, как и старик Гундерт, предпочитал английское определение «moral insanity». Внук и дед любили друг друга тем сильнее, чем большее расстояние разделяло их. С берегов Балтики старик следил за забавами внука, его фантастическими приключениями и семинарскими занятиями, в которых тот продемонстрировал блестящие умственные способности потомка балтов.

Государственный советник Российской империи был одним из тех немецких баронов, коим приписывалась прерогатива мудрости, отдалявшая их от эстонцев и литовцев, бедных и простых людей, в душе еще язычников. Пиетизм положил этому конец: несколько угасла вражда между крестьянством и аристократией и стало пробуждаться национальное самосознание. Во имя единства нации Карл Герман стремился

совместить свое апостольство с научными занятиями. Он посещал хижины не как скромный сельский врач — он являлся будто в ореоле радости, свободы и самоотверженности, с торжественными словами на устах, вооруженный неисчерпаемыми знаниями.

Он вглядывался в глубины своей памяти, чтобы найти там рядом с радостями жизни боль, которую принял как божественное благо и которая лишь усиливала переживание им собственных несчастий. Герман был сыном Иоганнеса и внуком Дженни — неврастенички, на которой женился доктор Карл Герман Гессе по возвращении из Любека в Ригу больше шестидесяти пяти лет назад.

Эту сироту из Курляндии он повстречал на берегах Двины, когда ему было двадцать шесть лет. Она была такая хрупкая и красивая в свете заката, что он воскликнул: «Вот она, моя невеста!» — и быстро ею завладел. Потом, «сожженный мгновенным огнем любви», спросил по-гусарски: «Дженни, хочешь быть моей женой?» Спустя несколько недель после свадьбы муж понял, что его всегда пасмурная и грустная жена больна. Она смогла ему подарить лишь плоды своей нежной скорбной плоти: Иоганнеса, распятого жизнью, и через него чрезмерно чувствительного Германа, обуреваемого безумием. Все трое страдали одинаковой бледностью, мучились от одних и тех же мигреней, погружались порой в похожее безволие.

Герман давно уже не писал писем в далекий Вайссенштайн. Он потерял все: дом, родину, родителей, родителей своих родителей. «Вы мои тюремщики, — пишет он родным. — Я хочу быть один. Дайте мне умереть, как безумной собаке. Сейчас я не могу быть сыном, я устал бороться, противостоять моему несчастью».

В дортуаре с запертыми ставнями и потушенными огнями он учится ненавидеть: «Моя история лишена приятности, в ней нет милой гармонии выдуманных историй…» В этой клетке, где рождаются опрометчивости, он приходит к отчетливой и горькой мысли: «Вы избавились от меня»! — прорычал он, как только на окна упали тюремные решетки. Он сжал кулаки. Его потрясает жуткий смех. «Ха! Ха! — ухмыляется он в письме родителям, датированном 30 августа 1892 года, мне ужасно хочется смеяться… Когда вы мне пишете, что мои нервы расшатаны и я слаб головой, я готов в это поверить из любви к вам и смеяться… смеяться еще сильнее!» Он, желавший числиться среди праведников, оказался выкинутым в мир, где дьявол правит бал. Заключенный во мрак монастыря, он обречен рассматривать в глади фонтана свой маскарадный костюм сумасшедшего. Тело в сероватой холстине и бритая голова. Он больше не милый

ребенок из Кальва он потерпел крушение близ Нагольда, к которому уже давно обращал лишь жалобные стоны.

Осень обесцветила деревья и блеснула в глазах заключенного, болезненно обращенных к трауру и тлению. «Падают цветы. Ах! Красота исчезает, и холод обретает свою власть». Мысль о самоубийстве часто посещает его, как в Бад-Болле, когда он потрясал своим револьвером: «О! Если бы эта несчастная пуля пробила мою измученную голову!»

Герман пишет родителям: «И теперь я вас как существ человеческих спрашиваю (потому что считаю, что могу иметь собственное мнение, вопреки вам и моим пятнадцати годам), справедливо ли отправить к сумасшедшим дебилам и эпилептикам молодого человека, у которого, за исключением некоторой нервной неустойчивости, превосходное здоровье?» Он не был больше мальчишкой, взирающим на взрослых с подобострастием, он становился мужчиной, отказывался от кумиров, храбро двигался на противника. Он ненавидел тайный ужас, сопровождавший его детство, ненавидел тень одновременно отца и судьи. Он принадлежал к породе избранных и проклятых: Эдипа, Гамлета или Йозефа, — и должен был, как и они, либо подчиниться, либо восстать. Быть может, он полагал, что ненавидит Иоганнеса, а в действительности ощущал омерзение по отношению к себе самому, быть может, желая зла своему отцу, он хотел убить себя. Когда он видел сурового пастора, поднимающегося на кафедру, поющего немецкий гимн или произносящего перед пюпитром проповедь, он ощущал себя презренным бездельником. Настолько он чувствовал себя перед отцом униженным. Выражение глубокой боли лежало на этом лице и звало к богохульству. Юноша отбивался как мог от тяжелых мыслей: «Мое состояние в то время было родом безумия… я жил в страхе и муках, как призрак, не участвовал в жизни остальных… С отцом, который часто раздраженно требовал от меня объяснений, я был замкнут и холоден».

Штетгенский узник решается писать ему, лишь чтобы сделать больно. 14 сентября 1892 года он примешивает в чернила жгучую злобу: «Глубокоуважаемый господин, вы довели меня до отчаяния… По правде говоря, я должен был бы просто сдохнуть!»

Недалеко отсюда живет Фрейд. В Вене, в тиши своего кабинета он пишет свои исследования по неврозам, растянувшись на диване, покрытом восточными коврами. Когда его имя появится в прогрессивном штутгартском журнале, разразится скандал. Иоганнес и Мария лечат сына лишь ваннами, микстурами и усиленным питанием в клинике для душевнобольных. В его болезненном поведении они скорее

готовы увидеть сексуальную подоплеку, чем безнадежные поиски утраченного «Я». Бог, которого они исповедуют, напоминает Герману демона, а дьявол кажется ему столь же блистательным, как и Мессия. Вот какими могут быть побеги христианства, неловко привитые родителямипиетистами! Детские привязанности еще удерживают мальчика, уже поддавшегося головокружению юности. Порой он хочет все разрушить или умереть.

Юношу пугает его тело: «Над губой у меня пробилась растительность, я был взрослый человек… может быть, я не такой, как другие». Ангел ли это или Сатана, мужчина или женщина, Человеческое ли существо или животное — сексуальное чувство пробуждает в нем потаенные инстинкты. Воспоминания о Евгении не дают ему покоя. Он, никогда не говоривший родителям о своей первой любви, восклицает: «Я оставил в Бад-Болле самое драгоценное — свою любовь!» Этот вялый процесс угасания приводит, без сомнения, к разочарованию и руинам, которые представляет собой теперь его внутренний мир. «Если бы вы видели меня по-настоящему, могли вглядеться в эту инфернальную пещеру, куда почти не проникает свет зари, вы пожелали бы мне избавления смертью».

В одном из посланий отцу Герман доходит до богохульства: «Если вы хотите мне писать, пожалуйста, не упоминайте вашего Христа! Достаточно того, что этот Христос висит повсюду. Христос, возлюбленный Господа, вечное блаженство и прочее и тем не менее вокруг царят ненависть и вражда. Я думаю, если бы дух Христа мог видеть последствия его деяний, он бы разрыдался!» Пастор вполголоса пробормотал предупреждение сына: «Не упоминайте вашего Христа!» Он хотел было оставить письмо, но его взгляд упал на постскриптум: «Я так же добр, как ваш Иисус! Я вижу разницу между идеалом и жизнью так же, как он. Но я не настолько упрям, как этот ваш Еврей!»

Родители растерянно держат в руках это нечестивое послание. Сын попирал факт своего крещения распутными заблуждениями. Он то потрясал кулаками, как анархист или несмышленый ребенок, то в надежде услышать ответ Господа обливался слезами, дрожа от раскаяния. 22 сентября 1892 Герман пишет родителям: «Если бы вы знали, как час за часом я размышляю о своем спасении». Иоганнес пользуется случаем и отвечает: «Твоего письма нам достаточно… Мы чувствуем теперь, что в тебе говорит сердце, а не какое-то чуждое сознание… Мы не хотим от тебя чего-то невозможного».

Неожиданно юноше улыбается судьба: пастор Пфистерер, старый учитель Германа из Базеля, предлагает взять его к себе.

«Ты приглашен в Базель в начале октября», — пишет ему Иоганнес. Радостный Герман отвечает: «Решено, папа. У меня все хорошо».

Утром он в сопровождении своего дяди Гундерта сел на поезд до Штутгарта и доехал прямо до Базеля, даже не остановившись в Кальве навестить слегшую от простуды мать. Старому учителю он бросает сердечный студенческий привет: «Хвала Господу, папа!»

Пастор Пфистерер, жизнерадостный гуманист, осененный таинственным светом, был единственным оплотом детских надежд Германа, и на пороге его дома он в сильном волнении закрыл глаза. Все напоминало здесь потерянный рай: зеленые растения в деревянных кашпо, запах мастики, отблеск меди, глубокая сосредоточенность молитв.

Герман успокоился, начал улыбаться. Пфистерер любит музицировать, читает Леонардо да Винчи, а мальчик проводит долгие часы за органом, разучивая «Пассакалью» Букстехуде. *«Я* не заметил в этом ребенке, — пишет пастор 27 октября, — и следа безумия», напротив: «желание любви, которое ребенок испытывал во время своего пребывания у Блюмхарта, было слишком преждевременно». Мальчик в целом хорошо развит для своих лет. «Он много читает, общается со взрослыми, например, с господином Мазером, племянником декана Райфа, поэтом, и говорит с ним как равный».

Он спит, ест, развлекается вместе со старшим сыном пастора Генрихом, и вечером, когда уже погашен свет, они растягиваются вместе на полу смотреть на огонь в камине. Новые мысли и ощущения растут в нем, как это подвижное и горячее пламя. Выбор ясен: либо стать человеком, как другие, — нормальным, ведущим размеренную жизнь обывателя, — либо гореть в огне душевных переживаний и неожиданных творческих порывов. Герман хочет прожить свою особенную жизнь. Свою, но какой ценой! И знает ли он в конце 1892 года, куда ему идти?

Поэт, сумасшедший или повеса, этот выходец из недр могущественной Германии, колыбели колдовского гения Вагнера? Мистический национализм поддерживает экономическое развитие страны, осуществляемое индустриальными магнатами и направляемое Вильгельмом II, который в свои тридцать три года сумел избавиться от всесильного канцлера Бисмарка. Молодой император поощряет интеллигенцию, которой активно себя окружает. Он романтик и фанфарон, он вырос под влиянием силезца Адольфа фон Мензеля, художника при прусском дворе и автора легендарной картины «Старый Фриц», ставшей символом объединенной Германии. Для того чтобы освободить самых талантливых студентов от трехлетней военной службы, он вводит

экзамен, при успешном прохождении которого этот срок может быть сокращен. Империя испытывала необходимость в специалистах, архитекторах, ученых, предпринимателях. Строятся большие заводы Рура, развиваются рабочие пригороды Дюссельдорфа, Штутгарта, Гамбурга. Гигантские цеха, директорские особняки из стали и стекла, огромные толпы, кишащие в их тени, — так рождается новый мир, которому нужны гениальные певцы и пророки. Одержимый жаждой жизни немецкий цезарь хочет видеть в своем государстве людей, способных вести народ за собой. Германской социал-демократии, вдохновленной коммунистическим манифестом Маркса и Энгельса, он противопоставляет пангерманистский идеал. Молодые германцы штудируют учебники во славу будущего нации.

Герман изъявил желание учиться дальше, но куда его определить? На этот вопрос он ответил криком: «Канншта!т! Отдайте меня в Канншта!т». Там только что открылся новый лицей. Его родители не заметили подвоха, и 4 ноября 1892 года он отправился из Базеля в хорошо знакомый ему город, где в низеньком сельском домике, среди соловьиных трелей, на берегах реки, поросших тростником, вместе с матерью жила Евгения Кольб. Наконец-то он увидит ту, о которой столько мечтал! Будущее меркло рядом с охватившей его любовной горячкой. В порыве откровенности он пишет Марии: «Моя добрая мама, я болен, в самом деле болен. Я страдаю физически и духовно, я болен тяжелой сердечной болезнью. Я хотел избавиться от этого несчастья той бесконечной страстью, которую испытываю к прекрасному и нежному созданию. Взгляд этих прекрасных глаз, звук дорогого голоса только усилили боль, которую я хотел прекратить смертью». Почему Мария не поняла этого взволнованного письма? В своей материнской слепоте она увидела в этом душераздирающем крике нечто благостное: «Я получила от Германа трогательное письмо, очень нежное. Он просит прощения! Бедный мой дорогой мальчик! Его письмо для меня — большое утешение!» сын надеется на лучшее: «Оставь в своем сердце, моя добрая матушка, дверку, потому что никто не поймет меня лучше, чем ты! Ты единственная знаешь, что я тоже могу любить…» Однако для той, что была юной возлюбленной Джона Барнса, любовь навеки окрашена в цвет траура, дышит смертью и тяжестью забвения. для Германа это пленительный сон о прекрасной Евгении, о встрече с ней любой ценой!

Так в этом вечном театре теней поднимается занавес для новой мизансцены, где сын миссионера играет роль жертвы. Это состояние особенно опасно для него теперь, когда он одинок,

уязвим, нежен, несмотря на свою язвительность, полувзрослый, полуребенок, высокий, стройный, как все его одноклассники с наивными лицами и тонкими ногами. На фотографии лицейской группы Канншта́та его можно узнать по коротким волосам, очкам на носу, он стоит в последнем ряду. В интернате у него не было комнаты. Он жил в городе, где снимал мансарду, которая служила ему и кабинетом, и спальней. За ним присматривал любезный и бедный наставник Гейгер: «Насколько я могу судить, он прилежно занимается. Но он чересчур возбудим… В одиннадцать вечера в его комнате еще горит свет».

Нервозность Германа ничтожна по сравнению с безумием влюбленности, просыпающимся в нем при одном имени Евгении. Может быть, он поджидал ее на повороте дороги? Отводил в сторонку, прося выслушать его стихи? Бросался перед ней на колени? Неизвестно. Она была в его глазах совершенством. Он любил ее, как сын, как брат, как любовник. То ему кажется, что в нем просыпается мужчина, то он чувствует себя ребенком. Он хочет доверить ей все: свои поэтические мечты и желания, вложить в ее материнские руки свои пальцы, испачканные чернилами, и оросить слезами ее грудь. Но раздраженная Евгения отталкивает его. Ее лицо выражает лишь холод и скуку.

Едва проснувшаяся мужественность бросает его в неистовство. Черты лица приобретают большую определенность, глаза кажутся глубже, кожа болезненно бледна. Его воображение рисует картины грубого обладания, заставляя вместе с тем проникнуть в мистический опыт вечной мудрости: «…Любить женщину, отдавать себя ей, погружаться в нее и чувствовать, как она погружается в тебя, — это не то, что ты называешь „влюбленностью“… Для меня это путь к жизни и путь к смыслу жизни…». В течение нескольких недель он упорно преследует Евгению. Неопытный в любви, гурман плотских радостей, которые ему недоступны, он раздражен и слишком назойлив. Наконец молодая женщина, пользуясь во время катания на коньках моментом, когда он неловко падает, покидает его навсегда.

Новогодние праздники Герман традиционно проводит в Кальве с родными, собирающимися вокруг Иоганнеса для чтения Священного Писания и совместного пения церковных гимнов. Он кажется спокойным, милым, будто пребывающим в полудреме. Адели вот-вот исполнится семнадцать, Марулла переживает трудный переходный возраст, Ганс еще юный школьник. Старшему брату они не докучают. К нему относятся бережно, щадя его внутреннюю сосредоточенность.

Кризис наступает 20 января 1893 года — Германа охватывает

мучительная тоска, не оставляющая внутреннего выбора: «…я читал Эйхендорфа, когда почувствовал внезапный приступ боли». Он пристально наблюдает за собой и видит, как болезнь все сильнее овладевает им: его все чаще окутывает холод бытия. «Вы, истощенные, идите и ложитесь, потому что вы нуждаетесь в покое. Бьет час, когда будут готовы для вас ложа под землей», — пелось в хорале, который исполняла накануне Мария. Она выбрала его в сборнике «Арфа души». Иисус изображен там сидящим на краю колодца и беседующим с женщиной, самаритянкой, которая пришла зачерпнуть воды. Терпкая красота этого отрывка взволновала Германа, который, по собственному признанию, придавал мало значения словам, когда пел их вместе с родителями. Но в одиночестве каждое слово так сильно проникало в душу, что его в самом деле обуревало, вплоть до пароксизма, желание уснуть навсегда. Он закутался в шубу и сел на поезд до Штутгарта, чтобы опять купить револьвер.

По возвращении в Канншта́т он кинул оружие в шкаф и сел писать родителям, полагая, что это его последнее послание. «Помогите мне, — нацарапал он, — помогите мне, если бы нашелся кто-то, кто понял меня и помог мне перейти в мир иной». Он долго пролежал на кровати, дрожа от холода. На заре после бессонной ночи, когда он направил на себя револьвер, вошла его мать. Она держала в руках его последнее письмо, новое богохульство. «Твой Бог, — писал он ей, — может спокойно существовать. Он может быть совершенно таким, как ты его себе представляешь, он не интересует меня».

Мария, согбенная от усталости, в волнении подходит к сыну. Она простудилась еще в Кальве и дрожит от холода после тяжелого путешествия. Она смиренна и бледна, в ее глазах светится доброта, но она не может говорить. Герман бросает ей лавину проклятий, наподобие тех, что писал в письмах:

— Ты будешь мне проповедовать о своем Иисусе, о своем Боге! Я их знать не желаю!

Идет снег. Она слышит его будто сквозь вату.

— Я ненавижу тебя, Бог, мне на тебя наплевать. Ты измучил меня, ты меня угнетаешь, ты выдумал законы, которым никто не может следовать. Ты побудил великих людей отравить нам жизнь. Будешь ли ты меня ругать, сокрушаться, смеяться надо мной, поносить меня или плакать?

Будто прося прощения, она не проронила ни слова. Он взбешен:

— Не думай, что так ты сможешь на меня повлиять. Я останусь тем же.

«Я чувствовала себя бессильной против дурной силы, —

напишет Мария, — я была в оцепенении. Я видела, что он очень болен, разгневан и несчастен… В пугающем возбуждении он ругал меня, оскорблял, говорил, что будет лучше, если я его оставлю».

Она слышала накануне, как ректор лицея и профессор Озиандер хвалили ее сына, но теперь она неспособна вымолвить ни слова, кроме того, что говорил всегда ее отец: «Только Господь может нам помочь». Проходят часы, мать и сын молчат. Наконец юноша с отвращением бросает оружие.

Почему он вдруг передумал? В его действиях заметны необузданность и инфантильность, очевидное желание привести в отчаяние мать, испорченность, связанная со странным удовольствием почувствовать близость смерти, будто в этом ощущении крылась жизненная сила.

В тот же вечер Герман проводил мать на вокзал. Он почувствовал какую-то неловкую нежность, когда поправлял у нее на плечах шаль, но ему не хватило сил помочь ей подняться в вагон. Он повернулся к ней спиной и медленно удалился, угнетенный, низко опустив голову. Его бунт, попытка самоубийства, его страдания — все напрасно! Станет он нотариусом, воспитателем, поэтом или певцом, какая разница! Он дошел неверной походкой до своей комнаты и разразился рыданиями, чередующимися с приступами смеха. Вот какая мысль пришла ему, священная и яркая: «Я — это бросок природы, бросок в неизвестность, может быть в новое, может быть, в никуда, и сделать этот бросок из бездны действенным, почувствовать в себе его волю и полностью претворить ее в собственную — только в этом мое призвание». Ему казалось, что у него нет воспоминаний, и суматоха вокруг него исчезла. Друзья оставили его. Но, как ни странно, в этот момент он ни в ком и не нуждался. Удары колокола отсчитывали время, вечером в окнах зажигался свет. Обращал ли на все это внимание изгнанник? Он был здесь чужаком для всех — для прохожих, играющих мальчишек, колясок, покачивающихся на гибких рессорах. Он надевает шерстяной плащ, какие носят крестьяне, и отправляется в трактир.

«К сожалению, Герман живет теперь исключительно в свое удовольствие, — пишет Гейгер 3 апреля 1893 года. — Он часто возвращается пьяным после полуночи, его часто беспокоят его сотрапезники из бистро». Он проникает в мир ночных кафе, где шумят рабочие и бродяги, неподдельно радующиеся жизни под испускающими чад керосиновыми лампами среди клубов табачного дыма, где на столах между пивными кружками лежат разрезанные буханки хлеба. Так сын Иоганнеса и Марии

открывает для себя новое ощущение жизни.

Лет в восемь родители объяснили ему, что у Кальва два лица: богатые кварталы с красивыми жилищами и бедные полузаброшенные и неухоженные трущобы, где царят нищета и порок. Теперь, вопреки запрету отца, юноша связался с настоящими бродягами. Что влечет его к «этим людям в лохмотьях, пропитанных шнапсом», он и сам не понимает. Но ведет эту жизнь, потому что не знает, что ему делать с самим собой.

Как-то вечером, охваченный скукой, он прильнул к оконному стеклу и увидел в окне напротив отчетливый силуэт. Там жила девушка, «бледная, чувственная, ироничная, похожая на меня…» Он очень быстро с ней познакомился, они вместе катались на коньках, и он был самым верным ее кавалером. *«Я* говорил с ней о религии и о многих других вещах». 7 марта 1893 года он, вернувшись к реальности, пишет: *«Я* не видел ее несколько дней, а сегодня она мертва. Несчастная мертва. Это меня потрясло. Ее теперь положат в гроб, а гроб зароют в землю, где темно, сыро и холодно. я здесь, я живу, у меня горят щеки, я могу уходить и возвращаться, говорить и смеяться, пока жизнь не покинет меня, как эту девушку». Он опускает горящую голову, его охватывает внезапное головокружение, и ему кажется, что он погружается в предсмертную агонию юной подружки: «Дыхание мрака коснулось меня, я почувствовал, как моя голова становится все холоднее, я думал: „Теперь конец…“ — и переживал это состояние, не в силах ни читать, ни двигаться, ни слышать, ни говорить».

Зима отступила. Весенний ветер пронесся над Швабией. Герман прогуливал лекции, а вечером, прихватив тросточку, отправлялся по знакомым кабачкам. Однажды он возвращался с очередной пьянки и, хотя небо со звездами уже начало кружиться над ним, в свете оставленной им гореть дампы заметил под своей дверью конверт. Это было письмо от матери. Она сообщала, что его дед Герман Гундерт скончался в воскресенье, 24 апреля.

Основатель миссионерского издательства несколько дней ощущал сильную слабость. Вечером 21 апреля у него начались настолько сильные боли, что умирающий только и смог произнести: «Собирайте меня в дорогу». Мария позвала близких петь псалмы. «Папа попел немного с нами, — пишет она, — то есть пробасил вполголоса около двух строк. Лицо его было озарено улыбкой, на лбу поблескивала испарина. В два часа ночи начались предсмертные хрипы. Дышать ему становилось все тяжелее». Вспоминая о последнем вздохе своего отца, жена Иоганнеса позднее скажет: «О, как мы были рады его избавлению,

маленькой передышке перед последним его мгновением». Как только открылась почта, Мария известила Германа: «Дедушка видит теперь то, во что верил. Приезжай. Похороны в четверг, в час».

Молодой человек отправился на утреннем поезде и вернулся несколько часов спустя на вечернем. В его бумагах не осталось ничего, что сохранило бы его впечатления о церемонии, которую Адель назвала «очень красивой». Он просто написал:

«Я совсем не могу себе представить, как можно жить без него… Для меня это так, будто я потерял что-то очень важное, что-то необъяснимо важное».

Пьянки и отлучки из лицея происходят все чаше. «О Германе приходят дурные вести, он не является ночами домой и попал в полицию, — пишет расстроенная Адель. — Мама думает, дело кончится тем, что его выставят за дверь. Папа думает, что прежде всего ему нужно получить диплом…» Юноша переживает период молчания и траура. Находит ли он в своих возлияниях тень Гундерта или бежит от призрака Евгении?

Алкоголь его освобождает. Герман хорошо разбирается в ритуале и наполняет свой стакан весьма искусно: «Надо наклонить горлышко бутылки к стакану, затем постепенно удлинять струю, поднимая бутылку вверх, и под конец снова опустить ее как можно ниже». Желание выпить охватывает его особенно сильно после очередного посещения лицея, откуда он возвращается вечно ворчливым и недовольным. *«Я* был пьяница… Правда, я значительно сократил свою дозу, но каждые две-три недели льстивый бог снова уговаривал меня броситься к нему в объятия». Юноша пренебрегает любыми запретами, проявляет развязность, смотрит на все с иронией и гордится своим атеизмом.

Он решает прервать трехмесячное молчание и пишет 13 июня 1893 года родителям насмешливое и непочтительное письмо, подобного которому они еще никогда не получали: «Лучше не столько не иметь идеал совсем, сколько иметь отличный от ваших! Моих вы не знаете и не признаете. Теперь я законченный эгоист. Да будет так! Если вы во что бы то ни стало хотите узнать мой идеал, то, во-первых, это отецмиллионер; во-вторых, несколько готовых оставить наследство родственников; в-третьих, жить и путешествовать, где мне заблагорассудится. Я считаю деньги абсурдом, но тем не менее предпочитаю их иметь». И сардонически: «Если бы у меня была возможность, воспользовавшись своими высокими идеалами, обменять их на добрые купюры… ха… ха!» Что можно думать об этом порочном и горячем мальчишке, поднявшем так высоко магический образ

Евгении, который, развеясь, оставил ему столько горечи?

Заметив, что природа человека определяется «скользкой ложью, которая окружает и защищает его», Герман хочет вырваться из этого замкнутого круга: «Каждый вынужден предъявить свою личность, и никто не знает, что в нем является неповторимым». Он вглядывается в себя — непреклонный, с надеждой достичь той радости, которой можно безудержно отдаться. Быть может, подобную цель имел Рембо, когда проповедовал «долгую, всеобъемлющую и последовательную безнравственность во всех смыслах», желая «обрести истину в теле и душе»?

В середине июля Герман Гессе сдал экзамен — не блестяще, но успешно. Если он откажется от своей привычки пьянствовать и будет следовать строгому распорядку, наставник Гейгер подготовит его к сдаче «Абитура», серьезного экзамена, который должен открыть ему дорогу к дальнейшему образованию. пока в его жизни наступают каникулы, текущие, как поток воды.

«Герман много рыбачит, — пишет Мария дочери Адели. — Вчера наш стол украшала восхитительная свежая рыба». Карпы, плотва, сомики, вкуснейшие лини и маленькие гольяны разнообразят семейные трапезы, сопровождаемые бурными пожеланиями в адрес юного рыбака продолжать в том же духе.

В августе в Кальве стоит жара. На прибрежных лугах, на берегах, поросших ивами, жужжат комары, а Нагольд лениво переливается под солнечными лучами. Герман прогуливается по мосту, возле готической часовни, садится на парапет. Кажется, он в глубокой задумчивости созерцает воду, но на самом деле слышит шум города вокруг, видит спинку головля в воде, облако в небе и ощушает в себе таинственную независимость, которую старается выделить, поймать в потоке своих ощущений, как рыбу на крючок. Его самосозерцание «полно радостью победителя». Мечты и ностальгия уносят его далеко от лицея, экзаменов и всего остального в «высший мир», где его ждет «горя-чее и блаженное предчувствие своей неповторимости».

По возвращении в Канншатат Герман опять испытывает жестокие головные боли. «У меня целый день раскалывается голова. Будто чтото давит меня изнутри, постоянно и страшно сильно». Мигрень и упадок сил — вот лейтмотив его октябрьских писем, где звучит отчетливое желание заняться каким-нибудь ремеслом. Ему не нужны больше ни лицей, ни экзамены, ни учителя. «Учредители, за чей счет здесь учатся и содержатся семинаристы, тем самым позаботились о том, чтобы из воспитанников вырастали люди весьма определенного толка и позднее их всегда можно было бы узнать…»56 Германа тошнит от

этой продуманной формы крепостной зависимости, и он от нее отказывается. Но когда родители находят ему место ученика у типографа в Эслингене, когда его рукой уже подписан контракт, он сбегает оттуда!

Иоганнес пишет доктору Зеллеру 1 ноября 1893 года: «Мой шестнадцатилетний сын Герман, кажется, действительно страдает „moral insanity“, потому что в прошлый понедельник он покинул типографию в Эслингене, куда только что поступил учеником; причем однажды он уже сбежал, в 1892 году, из евангелической семинарии Маульбронна и не смог ужиться в лицее Каннштата… Будьте добры, осмотрите моего сына. Мы не знаем, что еще предпринять…» Юношу осматривают и не могут сразу решить, к какой категории больных его отнести. Его нелепые идеи, его алогичные поступки в общем-то могут быть объяснены молодостью, однако в конце концов поставлен неутешительный диагноз: он сумасшедший. В его последних выходках усматривают признаки потери разума. Излечить его не может ничто: ни теологические беседы, ни больницы, ни настои морозника пастора Блумхардта, ни, тем более, эзотерический язык Пфистерера. Ванны, любимые занятия, литературные пристрастия приведут одержимого, который балансирует между повиновением и бунтом, лишь к тому, чтобы возвратиться наконец, ноя в глубокой ипохондрии, под крышу своих родителей, у которых он попросит гостеприимства.

Иоганнес безжалостен по отношению к безумцу. Он принимает непокорного неохотно, подозревает его в неискренности. Вечные головные боли, усталость, спазмы: а если все это притворство, чтобы обмануть мать? И однажды Герман признается: «В подобных ситуациях часто лучше всего заболеть, пожаловаться на рвоту и улечься в постель. И таким образом выпутаться. Придут мать с сестрой, тебе заварят чай… Можно плакать или спать». С самого начало долгого 1894 года, который он проведет, работая спустя рукава, у домашнего очага, Мария умножила свои заботы о нем: «Бедный ребенок. Он поет под фортепьяно собственные стихи, совсем грустные. Вчера и сегодня он долго сидел у озера». Задумчивость, праздность — ничего нет более ненавистного для Иоганнеса, постоянно изводящего себя работой. Герман осмеливается подле него хвалиться тем, что он бродяга и поэт, то есть пустослов! Отношения между отцом и сыном накаляются до такой степени, что они перестают разговаривать и обмениваются, живя под одной кровлей, лишь письмами. «Чтобы избежать бесполезных конфликтов, — пишет Герман Иоганнесу, — я использую переписку. Опыт показывает, что другое общение невозможно, мы друг друга раздражаем,

наши взгляды и принципы слишком несхожи». Рядом со стареющими родителями, погруженными в чуждый ему мир, Герман чувствует себя одиноким.

Однажды, чтобы покончить с бесполезным течением дней, Герман решает открыть им свою душу. Это было незадолго до начала лета. Колосились поля. В садах Кальва возобновились игры среди цветения медвежьих ушек, посаженных на Пасху. Юноша пишет, даже не пометив датой, длинное письмо, настолько для него важное, что он вспоминал его до самой своей смерти: «Я больше не в семинарии, не в Канншта́те, не в Эслингене. То, что я ушел, вы расценили как патологию. Это не так. На самом деле, я не чувствовал в себе ни сил, ни желания стать тем, кого вы хотели во мне видеть. Я всегда посвящал свободные часы собственному развитию. Вы называли это искусствами, которые неспособны принести доход. Но я надеялся, надеюсь этим жить. У меня никогда не хватало мужества вам это сказать, потому что я знал, что мои желания и проекты не соответствуют вашим, и поэтому мы разошлись… Теперь мое решение непоколебимо. Я знаю, что вы подумываете в отношении меня о заведениях, подобных Штеттену, ради бога! Об этом думать больше не надо. Ваши планы… не привели меня ни к чему… Я хочу попытаться осуществить собственные».

В первый раз Герман представляет отцу конкретную программу, для выполнения которой просит денег, неограниченное количество бумаги и свободу. Однако есть ли у него в действительности точный план? Тем не менее он упорно просит дать ему шанс и «крышу над головой». На это Иоганнес отвечает письмом, пронизанным презрением. Куда ты пойдешь? Как собираешься зарабатывать деньги? Какую ты даешь гарантию, что > не будешь опять пить, курить и делать долги? И запутывается в философских рассуждениях относительно «экзистенциальной тошноты», так часто испытываемой его сыном, против которой он как непогрешимый пастор предписывает три средства: медитацию, смирение и деятельность. Такой ответ — это отказ.

пока Герман помогает матери в саду. Он наблюдает за растениями, птицами, вечно струящейся в реке водой. И внутренний голос нашептывает ему: «Вы поэт не потому, что пишете новеллы и прочие вещи. потому, что понимаете и любите природу. Какое дело другим, что дерево шумит или гора сияет на солнце? для вас это жизнь, которой и вы хотели бы жить». Для Гессе куст в лучах солнца, камень под дождем — все живет, страдает и борется. Теперь он хочет одного: ловить вовне соответствие своему внутреннему состоянию. Он жадно

поглощает книги старика Гундерта. Там его королевство. Он живет затворником на чердаке, открывая для себя философов и мистиков. Ему нравятся стихи Жан-Поля, он читает и перечитывает Гёте, Новалиса, в своей осененной музами каморке радуется новым открытиям, созерцая цветение своей души, за которой он бережно ухаживает теперь, как за хрупким растением.

Июньским утром 1894 года, около полудня, юный садовник с обожженным солнцем лицом возвращался в «свою» библиотеку, когда Иоганнес пригласил его к себе в кабинет. Впустив сына, смущенный пастор остановился около письменного стола, оперевшись рукой о пюпитр, и высокопарно и скучно заговорил. Из его речи, усыпанной библейскими цитатами, Герман запомнил, что всякая праведная жизнь человеческая должна иметь цель, что его сын об этом не думает, что он упал очень низко в глазах Господа. Поэтому они с Марией решили, что он должен заняться физическим трудом: он поступит учеником на кальвскую часовую фабрику Генриха Перро.

Блестящий ученик Маульбронна должен будет корпеть в цехах в переднике и шерстяном колпаке среди колес и приводных ремней, среди металлических искр и деревянных стружек. Однако после первых мгновений замешательства Герман с удовольствием вспомнил кальвские хибарки. Он вновь увидел угольщиков рядом с их курящимися дымом кострами, ремесленников в комбинезонах из грубого полотна, которых он встречал в кабаре, деревенских мельников и трубочистов с грязными руками. В конце концов это принесет ему относительную свободу. Он посмотрел на свои руки, руки интеллектуала, покрытые теперь трудовыми мозолями, способные держать лопату и перебирать шероховатые комья земли. Он разглядывал свои тонкие пальцы, и романтическое ощущение охватывало его: стать мастером, одним из кудесников, определяющих течение времени и миропорядок!

Он прислушался к бою часов на колокольне кальвской церкви, представил себе маятник, отмеряющий время точными и размеренными движениями. Он подумал о товарищах из Шварцвальда, о швабских часах, о солнечных часах на фасадах, о трезвоне церковных колоколов, висящих на чугунных крюках, и о молоточках старинной звонницы, рифмующих механическое движение фигурок с пламенем заката. Когда тысячу лет назад монах по имени Герберт изобрел аппарат, измеряющий время, его обвинили в колдовстве. До сих пор Герман поддавался головокружительному сцеплению жизненных обстоятельств, подобному перемещению колесиков и зубчиков часового механизма, созерцая в нем движение вечности. Какая возможность привести в порядок свое сознание, излечить душу от

хаоса! Часы — это то, что олицетворяет высшую гармонию.

Герман спокойно постучался в дверь кальвской часовой мастерской и предстал перед глазами своего нового учителя. Генрих Перро подписал с ним контракт как со стажером.

Это случилось в начале лета 1894 года, когда общество было взволновано надвигавшимися переменами. Люди были вдохновлены новой философией, но интеллектуализм пасовал перед могуществом капитала. Социал-демократы приобрели небывалое влияние в рейхстаге.

В Кальве Мария с бьющимся сердцем ждала каждый вечер возвращения своего сына из мастерских. Он приходил жизнерадостный, многословно рассказывал о том, что видел и думал, а перед сном заносил заметки по поводу прошедшего дня в школьную тетрадь, подписанную: «Герман Гессе, механик». Ирония или гордость, кто знает?

Глава V НА ТО БЕРЕГ

…Здесь он пережил… странно призрачные часы, когда… исполненный гордости, пьянящего предчувствия успеха, мечтательной тоски, уносился в круг возвышенных существ…

Г. Гессе. Под колесами

Раньше мастерские герра Перро скорее напоминали заведение, где зимой горцы находили легкий заработок. Теперь новейшее оборудование и команда опытных механиков превратили их в настоящий завод. Кальв стал индустриальным городом, и крестьяне появлялись в нем только по ярмарочным дням.

На обоих берегах Нагольда люди гордились быть причисленными к друзьям Иоганнеса и Марии, а пиетистский Издательский дом Кальва считался культурным центром города. Все знали о несчастье в семье Гессе. Скандальное поведение Германа наделало столько шума, что Генрих Перро, принявший юношу, оказался в некотором роде спасителем семейной репутации.

Генрих был умен, энергичен и обаятелен. Среди механизмов, железок и шлифовальных брусков мастерской он, казалось, священнодействовал, даже беря в руки обыкновенное сверло. Склонный по натуре к милосердию, он принял нового ученика сердечно и подружески. «Ты совсем не Геркулес, — сказал он Герману, как только увидел его в дверях. — Кузница тебе не подойдет. Ты будешь работать с часами». Вскоре по прибытии юный подмастерье приобщился к выпиливанию и шлифовке деталек этого механизма — пока еще без циферблата и стрелок, но уже предназначенного отмерять время. И был доволен.

— Посмотри, продолжай вот так, — подсказывал ему патрон. Работай. Сосредоточься. Ученику мечтать некогда.

И Герман ни о чем не думал. Податливый металл приобретал форму в его руках, движения пальцев воскрешали в сознании картины детства, когда он выстругивал удочку, готовил рыболовные крючки, наматывал леску. С тех пор он ничего не мастерил.

«Механик — это что-то утонченное, — нашептывал ему внутренний голос. — Видишь, нельзя ошибиться даже на

полмиллиметра!»

В своем закутке, перед столом, испачканным маслом и покрытым опилками, Герман слышит, как гудит завод. У него иногда течет носом кровь, вновь дают о себе знать мигрени, но это ничто по сравнению с тем, что он теперь принадлежит рабочему братству, слышит вокруг шум приводных ремней, сверлильных станков, кузнечных мехов. Мастер к нему строг: «За верстаком ни о чем, кроме работы, не думать! Ученику это не положено».

Юный интеллектуал вступил в потрясающий мир. Его рабочая блуза еще новехонька, он принимает помощь новых товарищей, следует их советам. Удовлетворение следует за усталостью, и среди стальных болтов, клещей и наковален он открывает удивительную вселенную, где машины слиты с человеком в единое целое. «…Во всем этом чувствовалось что-то располагающее — то была красота и гордость ремесла, на которой издревле зиждется радость труда…». Как настоящий простолюдин, он потягивается, чувствуя ближе к вечеру тяжесть в натруженных ногах и ломоту во всем теле. Он теперь пролетарий.

Возраст Германа — возраст свободы. Сын Гессе поддерживает анархические устремления своих товарищей, их утопические мечтания о вечной гармонии и идеальном обществе. Он чувствует наконец, что внутренне независим. В нем таится Прометей! Иисус, Сатана, Епиктет* и Диоген — каждый по-своему — являются его учителями, помогающими сбросить оковы и овладеть кнутом. У него нет политических знаний, зато его интересует философия. Быть может, в этом хаосе всеобщее счастье зависит от нескольких гениев?

Считался ли Герман в кругу своих товарищей социал-демократом? Он называет себя универсалистом и эстетом. Он на равных со своим приятелем Теодором Зуппером, рабочим мастерской Васкеншута, или с компанией пильщиков, спускающих в Нагольд огромные деревянные плоты. Ему семнадцать, и трудно понять, кто сейчас говорит в нем: то ли рабочий, то ли отпрыск Иоганнеса и Марии, вечно витающий в облаках. Одно понятно — он стремится к синтезу. Потому что в нем видит спасение для себя. В мире, как и в нем самом, чередуются два состояния — ангельское и варварское: с этой тревожной двойственностью необходимо покончить.

Руки Германа скользят по верстаку, но мысли его далеко: он думает о чудо-технике, которая позволит человеку ограничиться умственным трудом, о проекте свободной республики. Он чувствует себя во власти потока, быстрому движению которого не в силах противиться, и в удивлении склоняется над ним в

попытке разгадать какую-то новую для себя тайну. Юноша хочет идти дальше, стать сильнее, возможно, даже жить вопреки ставшему привычным укладу.

Герман дружит с Перро: тот в восторге от этого умного и болезненного мальчика, к которому неприменимо понятие «дисциплина». Правда, юноша расстраивает его иногда горьким смехом, агрессивными позами и вызывающими выходками, своей безумной ностальгией по идеальному обществу. Ученик сопровождает своего учителя в поездках. Вдвоем они путешествуют по Швабии, устанавливая и чиня часы на звонницах деревенских церквей. Вот они идут рядом в ногу, в добром расположении духа, готовые к шутке, разражаясь вдруг хохотом, словно мальчишки. В полдень они делают привал, чтобы перекусить, садятся на обочину дороги, хранящей отметины колес дилижансов, взирая на мирную Германию, усаженную грушевыми деревьями.

Она стара и мудра, это дикая Швабия со своей набожностью, со своими тавернами. Наши путешественники идут теперь по долине Швайнбах — некогда любимому месту прогулок старика Гундерта — до истока узкого ручейка, куда приходят на водопой свиньи. В долине Тайнаха они натыкаются на места, откуда вывозят строительный мрамор. Они идут дальше, до Завелыптайна, до кладбища, где причудливое сочетание разнообразных цветов охраняет покой усопших. Проходя через Хирсо, они непременно заглядывают в зажиточный дом господина здешних земель, «водопроводчика», жена которого очень дружна с Марией; обязательно навещают Георга Генриха Фельдвегга, которого Герман зовет «дядя Фельд» и которым написаны огромные исполненные грусти фрески на сводах старинной харчевни, притаившейся в ясеневой роще. Возвращаясь вечером, они встречают знакомых, например фрау Иоганну Хае-ринг, которая некогда присматривала за всеми детьми Гессе и знала всех профессоров их школы. Они играют в крокет в саду Штейна с шумной стайкой кузин Германа — дочерьми дяди Фридриха Гундерта, главного кладовщика Издательского дома. Между старшей Юлией и маленькой Фанни, родившейся в 1890 году, появились еще Элиза, Хильдегарде и Эмма — и все они осаждают Германа, буквально следуя за ним по пятам.

Ему не удается обрести вожделенное уединение — века семейной истории приковывают его к этим полям, изгибу железной дороги, к прогулкам, смеху и болтовне, к людям, живущим в Хирсо, у Нагольда, в Кальве, там, где по краям полей растут тополя родом из детства: «…Я понял, как люблю свою родину, как глубоко привязан к ней, как зависит мое настроение

и даже самочувствие от этих крыш и башен, мостов и улочек, деревьев, садов и лесов».

По воскресеньям Герман, скинув рабочую блузу, спешит надеть черную куртку и белый воротничок, чтобы отправиться в дом доктора Зана, семейного врача, пить чай в большой гостиной, сидя возле мраморной колонны у зелени, представляющей подобие зимнего сада, или музицировать со своими сестрами, миленькой Гертрудой Клет, прибывшей из Хирсо, и Аделаидой Ланг, певицей из Штутгарта. Отступник все равно остается в лоне семьи. Вся его ярость обрывается здесь. Вся его драма в этом мучении: его терзает то желание уйти, то потребность вернуться. Он не хочет быть изгнанным окончательно. Плененный, он еще может надеяться быть понятым. Он и авантюрист, и домосед. Он восстает, не в силах по-настоящему ненавидеть. Он нарушает клятву, не скрывая слез. Он уходит и вновь возвращается. Мария, Иоганнес, все Гессе, вся швабская родня — он не может ни понять их, ни обойтись без них. «Каждый раз, когда я воспеваю лес или реку, зеленую долину, тень каштанов или тропинку в ельнике, я остаюсь верен лесу близ Кальва, Нагольду, пересекающему Кальв, я принадлежу не какой-то абстрактной родине, а этим вот картинам, которые помогают мне вернее видеть себя самого и весь мир».

Чтобы выжить, он должен будет бесконечно расширить этот уголок земли. позднее, путешествуя сквозь границы, он перевоссоздаст его в своем воображении, придав ему черты мифической родины, простирающейся от Шварцвальда, Базеля, Штутгарта, истоков Рейна, Цюриха, Берна и до самых отдаленных уголков южных гор. «Но Кальв останется самым красивым городом между Бременом и Неаполем, Веной и Сингапуром», это он позвал Гессе в дальние странствия.

Мудрый Перро не ошибся. Его сближала с юношей общность внутренних устремлений: своего рода аккорд соответствующих друг другу звучаний и единение натур. Много позднее, в 1925 году, он пригласит своего старинного друга и ученика, ставшего знаменитым, к себе на чашку кофе. Он предложит ему сигару, усадит в кресло, заведет любезную беседу, расскажет о своих часах, маленьких колокольчиках и больших колоколах, украшающих сельские звонницы. Он покажет ему свое изобретение: забавный колокольчик, предназначенный «воздействовать на людей и делать их счастливыми!» Он развеселится: «Послушайте меня, господин Гессе, когда кто-то просыпается от чегонибудь подобного, он встает другим человеком».

пока Германа все еще преследует неуверенность. Он идет в

бистро пропустить стаканчик со своими товарищами с завода в попытке обрести в винных парах вожделенный мир со вселенной и самим собой. Опьянение оживляет огонь его воображения. Выпитое вино рождает в его сознании видения: «Золотой след блеснул, напомнив мне о вечном, о Моцарте, о звездах.

Я снова мог какое-то время дышать, мог жить, смел существовать… он освещал мою жизнь как божественное предначертание, почти всегда едва видный за пылью и туманом…»

Он больше не вспоминал Евгению. Если бы она могла увидеть его, то поняла бы, как он изменился. Счастлив ли Герман теперь? Каждый вечер он переступает порог родительского дома и садится за общий стол с ощущением блудного сына, обретшего покой. Отец слушает его, погрузив пальцы в седую бороду. Мария, как и раньше, хлопочет вокруг него. Десять или двенадцать лет прошли, не принеся никаких изменений: все те же портреты бабушек и дедушек на стенах, старинные часы на буфете, сад, увитые плющом стволы деревьев, два параллельных железнодорожных пути на склоне холма, ведущих один в Штутгарт, другой — в Форцхайм. Гордость кальвских жителей, «Локомотив», который в 1870 году связал их город со всем миром, остался в памяти Германа своего рода призывом. Мария смотрит на сына, когда с Маруллой и Аделью он садится за фортепьяно перед «Зильхером» сборником популярных мелодий. Перед сном Иоганнес гладит его по голове и тихонько говорит: «Хорошо, что ты снова поживешь с нами. Ведь тебе это тоже приятно?» Он старается примирить в сыне любовь к семейному очагу, к мягкому свету абажура над большим столом с попыткой бегства, подобной в его глазах угольной грязи, вылетающей вместе с дымом из трубы паровоза.

Когда стук колес проходящих поездов навевал на Германа приступы тоски, он отправлялся за холмы, спускался на согретую солнцем рыночную площадь, где спорили, ссорились, мирились и торговали. Вместе с братом Гансом они зажигали посреди мостовой бенгальские огни, играли с ними, выдумывая эквилибристические номера и цирковые пантомимы, будто артисты с площади Брюль: «…Вокруг арены были сооружены сиденья, посреди в кругу стоял четырехрукий голем, на руках у него висели банки с маслом». Там разыгрывались варварские оргии, кривлялись клоуны и маленькие цирковые лошадки били копытами. «Переполнявшая меня жизнерадостность, — вспоминал Герман, — устремилась наружу, я был в тот день по-детски раскован, причем, возможно, смутно начинал осознавать происходящие во мне перемены». Он кривлялся, взбирался на

подмостки, стаскивал шапку, обходил толпу, чувствуя себя артистом, гордясь этой жизнью, полной неожиданностей.

В конце 1894 года, когда закоренелый холостяк Перро решил жениться, Герман обрадовался. Избранницей Генриха стала уже давно считавшаяся его невестой Мария Фроммер. Ученик подарил учителю кованый столик на одной ножке, который сделал сам. В феврале 1895 года, в день свадьбы, его видели очень пьяным и очень счастливым. Он бросал отменные шутки, повергал всех в веселье забавными выходками и в конце концов, совершенно напившись, ухитрился «освободить свой желудок в карман сотрапезника». Узнав об этом происшествии, Перро разразился хохотом. И не со зла. Разве можно было осудить этого проказника, еще вчера такого мрачного и угрюмого, который, накачавшись пивом, мог бесконечно долго разглагольствовать, сопровождая свою приправленную острыми словечками речь набором комических жестов, повергавших публику в бурное веселье! Он способен на все, одарен свыше, предрасположен в восприятии мира к гротеску, фантастике, он гениальный и сумасшедший, нежный и жестокий. Совершенно очевидно, что он не обделен талантами.

Письма, которые Герман получал от своих друзей Вильгельма Ланга, Франца Шалла и Теодора Румелина, дышали уважением к его дарованиям. Он заставляет их смеяться до слез, иронически комментируя их студенческие нравы, высказывается о прочитанных книгах, предается вместе с ними волнующим воспоминаниям или погружается вдруг в необъяснимую ностальгию. Иногда он пишет им длинные письма, настоящие литературные исследования. Едва он написал им несколько строк своим неразборчивым почерком с завитушками о своих чувствах, как Вильгельм Ланг отвечает: «Блестящий путь открывается тебе». Теодор Румелин призывает его обратиться как можно скорее к заветному ремеслу и говорит о великих поэтах, в ряд которых готов в будущем поставить Гессе. Для кальвского часовщика переписка с ними-настоящая отдушина.

Генрих Перро тоже не сомневается, что он не станет механиком, этот молодой Гессе, который в промежутках между работой проглотил за месяц чуть ли не всю английскую литературу. Юноша куражится иногда перед товарищами, но чаще выглядит усталым и разбитым. Учитель догадывается, что его постоянно преследует вопрос: там ли он, где дблжно ему быть? Не исчерпал ли этот интеллектуал и артист содержание своей теперешней жизни, не стремится ли он к иным горизонтам, подгоняемый чередой дружеских писем, отражающих более чем когда-либо его внутренние устремления? Учитель знает: жребий

брошен, Гессе скоро уйдет. Но что он выкинет на этот раз и как это будет воспринято его стареющими родителями, с возрастом ставшими еще более консервативными, набожными, больными? «У меня совсем нет сил, — повторяет в дневнике Мария с конца 1894 года. — Доктор Зан сказал, что у меня размягчение костей. Мне предписано строгое лечение на шесть месяцев: постельный режим, ежедневные ванны, возможно более горячие. Мне нужно будет лежать по часу в воде с температурой тридцать градусов по Реомюру и поглощать рыбий жир…»

Каждый вечер Герман видит мать, совершенно обессиленную, страдающую болями в суставах, жалкую, обреченную на постельный режим. Весной он попытался устроить ее в саду на походной кровати, готовил вместе с сестрами для нее травяные ванны. Она же лишь бессильно наблюдает за жизнью своей семьи и пишет в дневник: «Герман по собственному побуждению оставил наконец свою лень. В мастерских господина Перро он возмужал». Несмотря на мучительные боли, она «каждое утро ощущает безмерную благость Господа, слова Мессии приносят в душу мир, и общение с отцами церкви погружает в благостное расположение духа…»

Что сказать теперь о той, чья великая нежность сопровождала Германа всю жизнь? О старике-отце, ухаживающем за ней, о его седых прядях, вечно спадающих на лоб, о его Библии, с которой он расстается, лишь беря в руки какой-то новый гомеопатический рецепт, неразборчиво обещающий облегчение его несчастной жене? Герман не решается сказать родителям, что Намерен снять рабочую блузу и пойти по жизни своим путем, прислушавшись к зову собственного сердца. Быть может, для него пришло время «попробовать свои силы в неторопливом поиске счастья в жизни».

Через несколько дней ему исполнится восемнадцать. «Богу было угодно, чтобы… я смог уехать отсюда в дальние края, начать жить сначала и обо всем забыть».

Герман постоянно впутывался в скоротечные любовные истории то с подружками детских лет, недавними ученицами, склонявшимися над катехизисом, то с девушками из ткацких мануфактур Кальва, чуть более старшими, чем он. Но едва помнил их имена. «Стать мужчиной, сознательно распоряжаться своей судьбой» — было теперь самой важной для него задачей. Накануне дня его рождения погода ухудшилась. Вечером ласточки начали шарахаться от потоков ветра, дыхание которого окутывало город, словно стена: «Это было великолепно. Повсюду летали обломки, магазины были разрушены, черепицу сносило с крыш. В одну секунду могучие деревья вырвало с корнем и повалило на землю, поля и сады опустели. Я видел своими

глазами градины диаметром тридцать девять—сорок миллиметров. В Реннингене более десяти домов были просто перевернуты». Иоганнес насчитал в типографии тридцать разбитых окон. Мария наблюдала смерч из окна своей комнаты.

Неистовство природы внушило Герману мысль о символичности происходящего. «Между мной и детством, — пишет он в „Циклоне“, возникла пропасть». Он пробирается ощупью сквозь грозу и непогоду и ничего не узнает вокруг, не находит любимых тропинок. Как эти деревья с оголенными корнями брошены на землю, так он брошен в неумолимость внутреннего озарения.

Падают листья. В Нагольде пребывает вода. Солнце золотит верхушки елей. Герман много пишет своим друзьям. Вечером, сидя под круглым абажуром, он покрывает страницу за страницей, комментируя для Теодора Румелина и доктора Карфа Тургенева и Золя. Он критикует общество, воссозданное пером Га-уптмана, всю современную эстетику, которая его интересует, но которой он предпочитает воспетую Гёте красоту. Он колеблется перед океаном неизведанного, готовый пуститься вплавь. «Если подумать, в чем заключается удовольствие и смысл жизни, — для меня они в том, чтобы двигаться вперед, стараться понять суть вещей, проникнуть в законы красоты». Его друзья для него неоценимы — это его собеседники. Из Кальва он пишет своему старому лицейскому учителю в Канштат: «Здесь у меня нет возможности высказаться, здесь некому выслушать мысли, которые не приходят каждый день». Начинается подлинная рефлексия. Герман оттачивает свой аналитический ум, совершенствует свои знания. Все свободное время он посвящает чтению и полагает, что собственные размышления более эффективны, чем любое образование.

Его желание окончательно определяется: *«Я* занимаюсь поэзией и ничем более!» И он отваживается дать важное обещание: «Ремесло поэта не слишком доходно, но оно мне по душе. Мне интересен стиль. У меня зреет план романа, который я собираюсь скоро написать. Лучше за несколько лет несколько съедобных плодов, чем в поспешности один недозрелый, годный разве что только на сидр».

Герман начал учиться на часовщика июньским утром 1894 года — в сентябре 1895 года он покинул мастерскую, прервав контракт. Он уходит не оборачиваясь, куря с отсутствующим видом сигару, комкая в кармане хорошую рекомендацию своего учителя — и полной грудью вдыхая свободу. Сев под плакучую иву, уже облетевшую на ветру, юноша пишет: «Я стал другим, более спокойным, более здравым, я обрел в большей степени себя

самого…» Он не считает, что прожил этот год напрасно: «Если разобраться, я многому научился в механике. Я знаю, как чинить швейную машинку, как проводить электричество, ковать железо, делать болты, вырезать пилу, пить сидр, есть сухой хлеб, кубарем слетать с лестницы и рвать штаны… Я постиг доброту простых людей. Я часто гулял по вечерам с парнями и девушками, и у нас были непосредственные и живые отношения. Когда я смотрю на темную сторону нашего общества, на безымянную нищету, на грубость властьимущих, мне от всего сердца жаль человечество. Я твердо стою за веру, за свободу, за идеалы». Мануфактура Перро стала «кузницей и литейной формой» его мысли.

Теперь Герману нужно самому добывать хлеб. Быть может, уехать из Германии или даже из Европы? Стать фермером в Бразилии? Почему бы и нет? Его притягивает Индия — земля, которая вечно будит скрытые в душе порывы, — и он всерьез рассматривает перспективу отъезда. Однако Иоганнес, который отказывается держать под своей крышей безработного, заставляет сына вновь искать место подмастерья. Молодому Гессе предложена трехлетняя стажировка в Тюбингене в книжной лавке Хекенхауэра. Ему оплачивают жилье и питание и, кроме того, обещают отцу, если в этом есть необходимость, проследить за поведением сына вне стен магазина.

Тюбинген со своей старинной ратушей, расписными фасадами и горбатыми крышами зданий, выходящих на площадь, был пристанищем артистической богемы, духовным центром Южной Германии и принадлежал к числу мировых культурных столиц. В лабиринтах его улочек сновали студенты, одетые в залатанные панталоны и крестьянские башмаки. Другие носили «фуражки и ленты, плащи, гетры, цепляли на нос блестящие золотом лорнеты и помахивали модной тросточкой, тонкой, как соломинка». У них есть чувство юмора, собственные слушатели, наглость и независимость. Герман сгорал от желания походить на них, но все, что ему удавалось, это выпить с ними в таверне пару стаканов вина и потрепать языком. Вот уже четыреста лет ученые и поэты ступают по этим берегам, где вдоль длинной аллеи античных платанов пируют стайки воробьев. Все здесь напоминает величие и безумие Гёльдерлина, нежность Мёрике66, все, кажется, содержит тайные знаки вечной гармонии.

До сих пор Герман будто бродил в безымянном лабиринте, загроможденном жуткими любовными историями, болезнью, смертью, а теперь идет дорогой художника. Октябрь 1895 года выдался солнечным, в небе снуют поздние ласточки, новоиспеченный подмастерье книжной лавки ищет предназначенные ему таинственные знаки природы, подняв

голову к облетающим кронам деревьев. Здесь, в краснеющих на склонах холмов виноградниках, его ждет новое откровение, совершенно определенное убеждение: «Нет, я не сумасшедший, далеко не сумасшедший». Он не вернется больше в дом для умалишенных, не будет больше винтиком в механизме огромного завода. Он не тот, за кого его принимали. Есть разные формы самопроявления, но суть и значение, данные человеку, от этого не меняются. Испуганный ребенок, раздираемый внутренними противоречиями юноша, неудавшийся рабочий требуют оправдания. Его зовет то, что имеет источником не мечту, не сентиментальное настроение и даже не внутреннее предчувствие. Это приказ! Он будет жить. Он свободен. В конце года он пишет Карлу Изенбергу: «Я занялся теперь книжным делом из соображений совершенно определенных и не собираюсь отступать».

В Кальве его родители в подобающем облачении смирения следят за ним усталым взглядом из-под полуприкрытых век. Они интересуются его окружением, все еще надеясь вернуть сына в лоно пиетизма, от которого он, как им теперь кажется, удалился совершенно. Без знамени веры, без надежды на спасение он отправился в путь, подобно слепцу, не взглянув в увядающие лица Иоганнеса и Марии, не дослушав их молитву о нем, соблазненный обманчивой свободой. Ощущает ли он ее, толкая утром и вечером дверь магазина, стоя перед церковью и размышляя о выбранном им пути, тяжесть которого едва ли себе представляет? Герман должен был выписывать счета и выполнял обязанности посыльного, заключающиеся в раздаче клиентам газет и журналов. Заведение Хекенхауэра состояло из магазина с книжными прилавками, где теология оттеснила на второй план право, философию и медицину, переплетной мастерской, склада, погреба и каморки, куда вела живописная железная лестница, украшенная выкованными завитушками, наверх сносили разрозненные тома, книги по искусству и пергамент. За состоянием личных счетов студентов следила специальная контора, руководимая могущественным и даже слегка тиранствующим герром Карлом Августом Зонневаль-дом, вечно завернутым в широкий плащ, который он снимал, по весьма оригинальной привычке, только выходя. Этот человек предусмотрел все: Герман будет жить на Херренбергерштрассе, 28, у фрау Леопольд. Он будет подчиняться правилам, согласованным с Иоганнесом, — не иметь долгов, мало курить и на предложение сыграть в карты на деньги отвечать твердо: «У меня нет денег, чтобы выбрасывать на ветер, и я не хочу пытаться их выиграть».

Герман носит рабочую блузу, залатанную на локтях грубым полотном, на носу у него красуются очки в стальной оправе, щеки тщательно выбриты. На подмостках нового театра он внимательно фиксирует происходящее, запоминает разговоры, лица, тщательно записывает мельчайшие события и впечатления. Он пишет, пишет, пишет: письма, доклады, стихи. Одновременно актер и зритель, юноша занят образом таинственного персонажа, который его очень интересует: прбклятого поэта, песней которого пренебрегают, которому тесно в себе самом, который заключен в тюрьму с невиданными им доселе решетками, капканами, подземельями, но которая тем не менее его очаровывает. Этот актер среди других актеров погружается в настоящую психодраму. Он отнюдь не подобен бледному и дрожащему бедняку он непримирим, беспощаден и ироничен по отношению к миру деловых людей, окружающему его.

В первую очередь, это Карл Август Зонневальд, говорящий о деньгах с такой интонацией, будто речь идет о дорогом существе. Сентиментальность этого полного человека, жующего сигары и буравящего клиентов взглядом хищника, одновременно и забавляет, и заставляет содрогаться. Настоящей душой предприятия, на взгляд Германа, можно скорее считать Генриха Гермеса, светского человека, владеющего несколькими языками и способного быть занятым сотней дел одновременно. Под укрытием груды книг подмастерье тайно наслаждается своими психологическими наблюдениями. «Что за свиньи! Грубые животные»! — слышатся иногда по поводу визитеров раскаты проклятий Зонневальда. Замечания герра Гермеса едва слышно шелестят, но отнюдь не менее жестоки и прозаичны. И Гессе остается верен себе: «Тут во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь… это довольство, это здоровье, это прекраснодушие, этот благо-ухоженный оптимизм мещанина, это процветание всего посредственного, нормального, среднего».

После двенадцатичасового рабочего дня — с семи тридцати утра до семи тридцати вечера — Герман возвращается в свое уютное жилище. В доме фрау Леопольд пахнет настойками и воском. Это приют, где скиталец всегда может обрести покой: скромная благопристойная обстановка, лестничная площадка, вычищенная до блеска, вязаные салфеточки повсюду. *«Я* не знаю, как так всегда выходило, — напишет он в „Степном волке“, — что я, ярый противник мелкобуржуазного сознания, всегда ухитрялся жить в хороших буржуазных домах: с моей стороны это, должно быть, пережиток сентиментальности. Я никогда не жил ни в

роскошных покоях, ни в пролетарских хибарах, но всегда совершенно определенно выбирал эти необыкновенно удобные, необыкновенно скучные, совершенно безупречные мелкобуржуазные гнездышки, где слегка пахнет скипидаром и мылом и где следят за тем, чтобы дверь не стучала, и не проходят в комнаты в грязной обуви». Вдова декана университета фрау Леопольд была болтлива, шумна и внимательна. Постоялец звал ее «госпожа Декан» и охотно позволял ей себя холить и лелеять. «Фрау Леопольд знает всех в Кальве, Базеле и Ливонии, всех миссионеров. Она в курсе всех событий — смертей, помолвок, болезней, путешествий и просто разных историй… Она будто сошла со страниц романа Диккенса, живая, жизнерадостная, смешливая, беспокойная, всегда готовая разразиться какой-нибудь старой историей или с выражением обезоруживающего добродушия поведать последние сплетни». Поужинав колбасой с чаем, Герман мог из своей комнаты на первом этаже созерцать замок Тюбингена. На пюпитре он рисует план своего нового обиталища, где запечатлен весь нехитрый интерьер: кровать, стол, комод, камин, — упоминает в письме сад, поросший кустами и доходящий до края поля, и отправляет вместе с расписанием распорядка на день родителям в Кальв. Он встает без двадцати семь, четыре раза в день ему приходится преодолевать расстояние, разделяющее его жилище и книжный магазин, после чего падает вечером на кровать, над которой висит портрет вюртем-бергского короля Карла.

Через некоторое время Герман получает гражданство Вюртемберга, его удостоверение личности за номером сто шестьдесят семь украшено королевской печатью. Этот немец, корни которого тянутся из Прибалтики и России, принадлежит скорее Швабии. В безумно любимом им университетском городе, «извилистом, южном, романтическом, где чуть ли не в каждом доме можно увидеть маленький портрет Рихтера68», он вполне может посоревноваться с самыми блестящими студентами. Но напрасно он выставляет напоказ в своей комнате рядом с портретами Ницше и Шопена целую коллекцию трубок, напрасно судит о людях свысока, то издеваясь над «маленькими свинячьими глазками одного», то над «неумением жить» другого, напрасно изощряется в следовании моде, старается участвовать в дружеских вечеринках его новые знакомые не расположены к долгому общению. Он стремится быть похожим на этих студентов в черных романтических плащах и демонстрирует бурную веселость и довольство жизнью в тавернах. Но простой подмастерье из книжной лавки не вхож в их общество, и если сначала он наивно и самодовольно утешал себя случайными

успехами в острословии на очередной вечеринке, то очень скоро вынужден был признать: интеллектуалы держатся от него в стороне. Жестоко раненный, он страдает от своего положения и старается спрятать грязные от работы пальцы: часть дня он пишет за своим пюпитром с таким упорством, что руки начинают дрожать и почерк искажается.

В конце недели клиентов становится больше: «Если вы случайно подумаете обо мне в субботу между тремя и шестью после полудня, пишет он родителям, — знайте, что именно сейчас я переживаю самый ужасный момент моих ежедневных мучений.

В эти часы магазин переполнен, невозможно дышать, невозможно жить. Кажется, будто стоит жестокая летняя жара, и лучше умереть, чем это терпеть. По правде говоря, в это время здесь должна царить самая утонченная праздность, и я, в самом деле, почти никогда не работаю в субботу вечером, и не только из-за головной боли».

Зима. Над городом висит мгла. В семь тридцать вечера Герман заканчивает расчеты, убирает книги, закрывает кассу, снимает блузу, натягивает плащ, гасит лампы. Решительно повернувшись спиной к сверкающему огнями городу, он идет домой. Ему придется миновать квартал сомнительной репутации, пройти по его узким и темным улочкам, загрязненным нечистотами. Он идет быстрым шагом, отгоняя бродячих собак, вглядываясь в темноту, оступается, отшатывается от случайных прохожих. Человек, выбирающийся из придорожной канавы, грубо оскорбляет его на ломаном швабском диалекте. Герман испускает крик, прыгает вперед, бежит, его тошнит; наконец он бессильно опускается на стул в гостиной фрау Леопольд. Подавив только что пережитое отвращение, он готовится ко сну, но наверху слышится шум в комнате нового жильца, герра Кристаллера, студента-ориенталиста.

Тот насвистывает что-то, потом вдруг начинает громко петь, декламирует на древнееврейском, тяжело топает ботинками, не потрудившись их снять сразу по приходе. Герман в ярости. На свист сверху он отвечает своим, на бормотание выкрикивает какие-то стихи и, не выдержав, вытаскивает из футляра скрипку и извлекает несколько визгливых звуков, что отнимает у него последние силы — раздражение спадает. Он дорого бы дал, чтобы этот жилец уехал куда-нибудь подальше, где живут каннибалы.

В час ночи наконец воцаряется тишина, но Герман уже не может заснуть. Он берет Библию, Вергилия, перечитывает главы «Вильгельма Мейстера». «Я наслаждаюсь общением с Гёте», — записывает он. При свете нарождающегося дня юноша чувствует

себя поэтом. И понимает, как одинок. Его дорогой Ланг заворачивает к нему не чаще раза в неделю, вечером по пятницам. Верный Румелин, состоящий в «Норманд», одном из тридцати шести университетских объединений Тюбингена, проводит время в кабачке Нордлингера.

За роскошным столом профессора Хаеринга Герман скучает. Ему претят официальные беседы, пропитанные занудной риторикой. Он был приглашен туда другом своего отца по случаю празднеств в честь окончания учебного года. «Чай, пирожные, сигары, два сорта рыбы, соус и вино». Но эти кушания оставили его равнодушным. В этот вечер он был одет в новое, но очень скромно, а семеро других приглашенных прибыли в котелках и рединготах. И «хотя беседа не была ученой», он молчал. После десерта он поднялся из-за стола и с горячностью продекламировал стихотворение Мёрике, а затем просидел весь остаток вечера с видом человека, попавшего в затруднительное положение.

Лишь в одиночестве, у себя в комнате юноша загорается вдохновением. Он хочет учиться и по своему усмотрению черпает знания там, где считает необходимым. Он дышит вместе с любимыми авторами одним воздухом, погружается в их мир, питается их мыслью, компенсируя пустоту салонных разговоров и сплетен. Отблеск зари, обрывок мелодии, вдруг мелькнувшая мысль способны внезапно погрузить его в грусть или ликование. Он гордится собой. В начале декабря 1895 года он пишет Эберхарду Гоесу, кандидату теологии, своему новому другу: «Я не настоящий шваб. Я никогда не любил сосиски, кровяную колбасу и кислую капусту… И я узнал Гёте и Бетховена прежде Мёрике. Но я не витаю в поэтических эмпиреях, я люблю жизнь, природу, ее тайны, всю вселенную возвышенного и прекрасного».

Наступает Новый год. Снег побелил крыши, улочки, платановую аллею и верхушки Швабского Альба. Герман украсил магазин: «теперь все блестит книгами с картинками, великолепными изданиями в тисненых золотом переплетах, драгоценными трудами, которые нужно убирать каждый вечер». Новогодние праздники — это ад для книготорговцев. Ему дали всего два свободных дня. Настроение у него не праздничное: «У меня насморк и болит правая рука от тяжести книг, которые приходится таскать в магазин и на склад…» Пойдет ли он в церковь? «Религиозная служба, — пишет он родителям, — у меня оставляет впечатление чего-то мучительного, строго рассчитанного и давящего. Я ей предпочитаю простое внутреннее сосредоточение, медитацию, размышление». Может, отправиться в Кальв?

Там Мария Гессе, прикованная к постели, перечитывает пивьма сына, который старается объяснить ей необъяснимое. Она видит, что он, обращаясь к священным текстам, не понимает их. Он питается своими заблуждениями, любит искусство, а не Иисуса, а религиозную службу воспринимает не как общение с Богом, а как повод для эстетических переживаний. Мария в мучении закрывает глаза. Ее дни, видимо, сочтены. Болезнь прогрессирует, медленно подтачивает ее изнутри, неумолимо ведя к смерти. В урочные часы все собираются на молитву, на нование Тайной вечери. Около нее в благоговении стоит Иоганнес, будто библейский пастух с взлохмаченной бородой, а их дочери поют.

Герман приехал еще утром. Мать понимает, что он соглашается принять участие в Моргенхорале, скорее чтобы услышать в песнопении шум тростника по берегам Нагольда, чем чтобы проникнуться благочестивыми словами, которыми она неустанно молит Господа о снисхождении к ее сыну. Мария с каждым днем насыщается небесной пищей более, чем земной. Она ничего не скрывает в своей молитве, желание жить и тоска по раю тонут в потоке ее стонов. Слова выливаются у нее вместе с кровью, а во взгляде блестит просветление. Вопреки своим страданиям она находит силы восхвалять великую доброту Господа, утверждая, что, повергнув ее в болезнь, Он преследовал лишь цель вполне обратить к себе ее помыслы. В болезненной гёрячке ей грезятся ангелы, причаливающие лодки, евангельские смоковницы и склоны холмов, поросшие оливковыми деревьями, она вновь и вновь погружается в молитву: «Господи, если у меня нет никого, кроме Тебя, я не прошу ничего больше. Мое тело и душа истощаются, но Ты, Господи, всегда мое утешение и благословение».

В Кальве стояла холодная, но ясная погода. Иоганнес пригласил к Марии врача-миссионера Шренка. Это был человек суровый и обладавший способностью убеждать. Иисус, заставивший Лазаря подняться из гроба, мог, по его мнению, и ей вернуть здоровье. Слова герра Шренка были восприняты больной настолько близко к сердцу, что вызвали в ней глубокое внутреннее сосредоточение. Благочестиво, внимательно и терпеливо прославляя Господа, она готовилась к чуду. «В воскресенье 12 января до одиннадцати часов герр Шренк подошел ко мне и положил мне на лоб руки. Подняв глаза к небу, он молился о моем исцелении. Повторяя имя Господа, он горячо просил: „Господь, помоги ей встать. Пусть ее ноги обретут вновь силу!“»! Мария кричит, плачет, молится, дрожит, мешая свои восклицания со словами врача и Иоганнеса. Когда на следующий

день Шренк опять прикоснулся к больной, она почувствовала прилив тепла и бурную радость: «Что-то произошло, я почувствовала, что силы возвращаются ко мне! Горячий поток струился и бурлил, растекаясь от головы по всему моему телу». И ее посетило озарение: *«Я* получила позволение коснуться края одежды Иисуса». Как некогда в объятиях Барнса, Мария опять прекрасна. «Он рядом со мной», — говорит она. Ночью, в приливе необыкновенного блаженства, она продолжает молиться. Ощупью зажигает лампу на столике у изголовья и, вцепившись в край кровати, поднимается, в безумном счастье чувствуя, что способна двигаться: «Да, я вновь могу поднять ноги!»

«На следующее утро я встала сама, — напишет она. — Я могла ходить из одной комнаты в другую, легко передвигая ноги. Боли исчезли». Адель бросается ей на шею. Шренк радуется. Иоганнес бормочет благодарственные псалмы. Марии помогла вера, преданность Христу спасла ее. Сквозь недоверие людей она шла своим путем. И вот она победила. Морщины на лбу разгладились, на щеках заиграл румянец, взгляд оживился. Она унаследовала от великих пиетистов внутреннее сияние, силу, огонь души, которым невозможно было противиться. Смелая женщина, восторженная блаженная! Она шла в длинной рубашке, непреклонная, несущая истину, великая в своем прекрасном откровении, с глазами полными слез, повторяя в час молитвы: «В страдании всегда заключено рождение чего-либо».

В Кальве все говорят об удивительном событии. Церковь во время службы полна народу. Чудо витает над происходящим: «Любовь пылает все ярче, вера растет, надежда вселяет в сердца радость». «Мы слышали, — записывает Мария, — как крестьянин рассказывал, что хотел искать адвокатов, но, завлеченный потоком людей в церковь, решил отказаться от процесса и ищет успокоения и смирения».

Всеобщее возбуждение продолжалось до 16 января, до отъезда герра Шренка. Это был четверг. В этот день разразилась буря. Перед тем как сесть на восьмичасовой поезд, чудотворец благословил исцеленную, которая, упав ниц, повторяла: «О, вечная Любовь, дай мне упасть к твоим ногам!»

«Моя дорогая, моя единственная мать! — пишет ей Герман из Тюбингена наутро после случившегося. — Весна поднялась во мне», — и несколько дней спустя Иоганнесу: «Дорогой отец, Господь пришел к вам… Я не решаюсь выразить те сокровенные чувства, которые звучат теперь во мне; быть может, я смог бы спеть об этом». К письму Герман приложил поэму «Голгофа», которая потрясла Иоганнеса. Но в отношении Шренка юный поэт весьма сдержан: «Мама, я надеюсь, не сердится. Меня оставило

равнодушным письмо Шренка. Он не показался мне ни оригинальным, ни чудодеем…»

К пиетизму семейное чудо его не вернуло. Конечно, он уверил своих родителей, что «христианская вера — это великая сила и ничто другое не обладает таким могуществом объединять людей любовью», но не смог поведать им о своем намерении проникнуть «при помощи поэтического пантеизма в тайну мира и здоровья». Если он и молится, так о том, чтобы сохранить свой внутренний мир: «Я не перестаю обращать взгляд к воскресному Богу христиан, и я понимаю, что этот Бог одного дня ничто! Таких христиан много среди нас. Я утверждаю, что мой истинный жизненный идеал, моя поэзия, своего рода культ, например, мое поклонение Гёте, — это лучше и вернее этого воскресного Бога. Они помогают мне, даже когда я угрюм и расстроен. Они страдают и стонут вместе со мной…»

Герман сам строит свое будущее и считает потерянным время, проведенное не за чтением. Его сознание изменилось, изменилась и его картина мира; он создает свою культуру вне систематического образования, вне какой бы то ни было веры. Он стремится навстречу собственному слову. Теперь он ни у кого ничего не просит. Он не может понять природу того странного могущества, которое рождает в его душе стихи и прозу. «Не стыдись бормотать по причине своей добродетели», — повторяет он слова Ницше. Он цитирует его «Так говорил Заратустра», «Божественную комедию» Данте, смотрит на распускающуюся листву, дерзко помышляет о прощании с жизнью, в которой его опьяняет собственное одиночество: «…По целым ночам, в дождь и бурю, я бродил, закутавшись в пальто, среди враждебной, оголенной природы, одинокий уже и в ту пору, но полный глубокого счастья и полный стихов, которые затем записывал при свете свечи, сидя на краю кровати у себя в комнатке»69.

Его слова ясны, глубоки, значительны и ярки, как сама природа, из них он создает великолепные сочетания. В беседке фрау Леопольд он однажды вечером написал на клочке бумаги:

Как свод тоски моей глубок,
И в бесконечность утопает мой страх,
Что в речке тайны тает,
Чей ток так мрачен и жесток…

Хозяйка волнуется: ее жилец едва притрагивается в еде, вечно не допивает чай. У него нет друзей. И нет женщины: после неудачи с Евгенией Герман избегает женского общества. Одиночество иногда пугает его: «Оно остановило на мне свои

огромные страшные глаза, как волк, которого я заклинал, не мигая ловя его пустой взгляд». Но оно больше не посланник смерти. Иногда болезненное, иногда радостное, уединение открывает ему новые пути. Несет ли ему одиночество тьму, озаряет ли светом — Герман больше не стремится его оттолкнуть. «Не протяжении двух или трех месяцев я был совсем один, вечер за вечером, воскресенье за воскресеньем, но скоро я привык, и уже три года как я думаю, пою, гуляю в одиночестве. В трактире, на прогулке, дома

— везде я ощущаю, будто вокруг меня сомкнут узкий круг…»

Весна 1896 года выдалась солнечной. Порывистый ветер дует с юга, и небо блестит яркими просветами сквозь быстро проносящиеся облака. Утром Герман наблюдает, облокотившись на подоконник, как пропадают последние звезды, и гасит лампу рядом с едва смятой кроватью. Он напряженно работает. Изучает «Илиаду» и греческую мифологию, видит, как первые лучи дня ложатся на стол, глубоко вздыхает, с наслаждением переворачивая страницу за страницей. Он купил себе гипсовую копию Гермеса Праксителя и поставил рядом с литографией, изображающей короля Карла.

Швабия зеленеет. Некар течет меж туманными берегами. Городские бродяги отдыхают в тени платанов и бузины. Поют птицы. Скоро лето. Самоучка сидит перед распахнутым окном за книгами.

В Кальве Мария наслаждается вновь обретенной жизнью. Она, думавшая о завещании, разбирает теперь свой гардероб и составляет календарь семейных праздников: конфирмация Ганса 12 апреля, свадьба Теодора 2 мая. Уже отпразднован день рождения тетушки Йетт, а Герману в этом году исполнится двадцать.

Лето набирает силу, становится жарко. И он задыхается в Тюбингене, раздраженный придирками герра Гермеса. Лишь вечерние часы приносят ему облегчение. Он стал поэтом, ощущающим себя вне тирании пространства и времени, поэтом, который каждое мгновение своей жизни творит. Он питается энергией Шопена, его огненными мелодиями, «излучающими острую, интимную, сладострастную, нервную гармонию».

В походке Германа есть что-то упрямое и гордое. Он не ходит — он шествует. Его голос огрубел, стал более мужественным. Он часто напевает какую-нибудь песенку с берегов Рейна. Покинув магазин, он наслаждается солнцем и свободой. В воскресенье он устремляется в лес по дороге в Фрайденштат. Неутомимый, ощущающий новую прелесть бытия, утоляя жажду водой из ручья, он упруго шагает вперед. Его давние размышления приобретают

теперь для него новые оттенки значений, его внутренние грозы утихают. Радости жизни, женщины и приключения, — все, что доступно молодости, — мерцают теперь для него призывным сиянием. Но взгляд его устремлен вдаль, к другому берегу…

Глава VI НАКОНЕЦ-ТО ПОЭ!

… позже он стал сочинять стихи… мало-помалу овладевая искусством говорить вещи на первый взгляд простые, неприметные и, однако, волновать ими души слушателей, как ветер — гладь воды…

Г. Гессе. Поэт

В шесть часов вечера 20 ноября 1896 года Мария получила из Эстонии телеграмму, подписанную Дженни-Линой, третьей дочерью дедушки Гессе от первого брака: «Отец с миром скончался…»

Доктор Карл Герман Гессе умер в девяносто четыре года в саду у клена, ставшего легендарным. Оплакивать его съехались люди из Риги и Финляндии. Он был их столпом — первым из Гессе. Из России слали соболезнования. Представители религиозной элиты прибыли, чтобы проводить останки «этого сиявшего человека, святого телом и душой, который крепко всю свою жизнь верил в то, что все случающееся с ним — во благо». Родичи, соратники и друзья собрались у гроба взглянуть в последний раз на благородное лицо, которое, как написала Дженни, «пятый день хранило неизменную величественную красоту». Перед прахом святого старые бойцы веры преклонили свои знамена.

Доктор Гессе был патриархом и авторитетом в глазах целого поколения религиозных деятелей. Его называли «капитаном» кавалерии, созданной его другом Грюневальдом, — крайней ветви пиетизма, которая не была ни сектой, ни церковью, ни миссионерским обществом, но объединением христиан и представителей других конфессий, прославляющих радость общения с Богом и духовное совершенствование. Ценой великого духовного напряжения обретая блаженство, этот герольд говорил, пел, молился, не гнушаясь пользоваться преимуществами, даваемыми наличием в руках «распутных» денежных знаков. Убежденный, что живет по божескому закону, он считал доступным для себя все. В нем увидят позднее «мужчину, любившего женщин». В его проповедях могли звучать дерзкие слова. При своих пиетистских убеждениях он не осуждал природную человеческую склонность к плотским наслаждениям.

Воспринимая акт зачатия как естественную радость, Карл относился к тем, кто считал сексуальность данностью человека, а беременность — богоугодным долгом женщины. О своем опыте воспитателя он писал: «Мне легче было общаться с девушками, чем с мальчиками. Это искусство осталось со мной».

Угрызения совести он считал глупыми и опасными и никогда не мог понять своего сына Иоганнеса, который шел к раскаянию через горечь и мигрени. Пропитанный святой водой четвертой заповеди, предписывающей абсолютную любовь к отцу, будущий кальвский пастор вырос, устрашаемый образом великолепного тирана, который отказался от четырехлетнего мальчика, чтобы опять жениться. Иоганнес ненавидел своего благородного прародителя. Если он и оплакивал его, то не слезами нежности и раскаяния…

«Отец, дорогой отец, — пишет Герман Иоганнесу, получив печальное известие, — я никогда еще не чувствовал себя таким близким тебе, как теперь, переживая эту боль…не знаю, как выразить, насколько я сейчас с тобой, как хотел бы, именно сегодня, сделать что-нибудь для тебя».

Это искренность мальчика, сознающего, что он наследовал одновременно болезненные гены своего отца и лучезарную жизнерадостность деда. Как и Иоганнес, он чувствует необходимость раскаяния: *«Я* не могу избавиться от чувства вины по отношению к нему, к тебе, ко всем».

Люди дрожали перед доктором Гессе, не зная, видеть ли в нем монстра или святого. На ганзейских берегах, которые горячий пиетист бороздил в дилижансе до Швабии, каждый оборачивался ему вслед, задаваясь этим коварным вопросом. Неукротимый оптимист, он смог примирить в себе сознание неизбежности смерти и вкус к жизни. Герман любовался своим предком из Вайссенштайна, в его памяти он «остался молодым, необузданным, занимательным, непринужденным, пирующим за рейнским вином… он раздавал милостыню бедным… и излучал природную силу, радость жизни, величие и любовь». В девяносто три года, одетый в черную куртку и лихо отбрасывающий со лба пряди волос, дед лукаво посматривал на Адель, тучный, развалившийся в кресле, выпятив нижнюю губу. И бесконечно пережевывал благочестивые рассказы.

Его вторая жена Лина умерла вскоре после первой. Свежая и цветущая, она с гордостью носила под грудью ребенка, когда тяжелое предчувствие перевернуло ее душу. «Дорогой друг, — сказала она грустно мужу, — я скоро умру». Карл храбро отвечал: «Ну что ж, мое сердце, иди, иди!» *«Я* хочу остаться», — вздохнула она. «Наш дорогой Иисус требует послушания, моя красавица!» —

возразил он. На следующий день, 25 декабря, когда их дом был полон гостей, она задрожала, побледнела и в стонах родила через три часа красивого и крупного мальчика, а потом умерла. «Ах, дорогая Лина, ну так уходи», — повторил он над ней и, приготовив гроб, покрытый цветами с крещения новорожденного, пригласил к трапезе более тридцати двух человек праздновать библейские праздники. На благочестивую церемонию прибыла также, Господь ее благослови, мадмуазель фон Берг, соблазнительная молодая женщина, которую Карл незамедлительно пригласил на прогулку к Зиеделю, явившуюся прелюдией к новому свадебному путешествию.

Герман чувствовал себя преступно непохожим на деда, стыдился перед ним за свои детские грехи и страдал от мысли, что больше никогда его не увидит. «Когда я думаю о Вайссенштай-не, о доме деда, о бабушке Дженни, то понимаю, что часть моих дорогих воспоминаний исчезла из мира». Смерть дорогого человека подтолкнула юношу окончательно определиться в вопросе веры, по отношению к которой он стал более терпим. *«Я* теперь пришел к убеждению, — пишет он Карлу Изен-бергу, — что каждый, какова бы ни была его вера, не может обрести счастья и зрелости, однажды обратившись от своих богов к единому Богу и научившись тем или другим образом молиться. В этом единении с вечностью, с правдой, с постоянством жизнь остается непредсказуемым кладезем смыслов». В этих словах говорит набожность, непохожая, однако, на пиетистскую, мечта, которая не родилась бы в маленьких церковках Кальва и Вайссенштайна. Фигура доктора Гессе восхищала Германа, но оттого он не становился его союзником он шел своим путем.

В канун Нового года он приехал к родителям, вновь увидел своих сестер — «двух красивых юных девушек, терпеливых, понятливых, изобретательных», — поинтересовался успехами в изучении коммерции своего младшего брата Ганса, узнал, что Тео и Марта скоро станут отцом и матерью. Есть фотография, где он сидит рядом с суровой Марией, положив руку ей на колени. Изможденный Иоганнес поет гимны, написанные триста лет назад, лирическое выражение лютеранской доктрины, подавляемой в Моравии, на юге Австрии, в Голландии, даже во Франции: «Не сердись, добрый христианин, даже если твой путь тяжел!» Мария переворачивает страницы своей псалтыри, украшенной гравюрами. Но Герману нет места среди людей, занятых богоугодным времяпрепровождением. Он слышит в себе другую музыку, аристократичную и нервную, состоящую из невесомых звуков, таинственным образом приводимых в гармонию. Он сосредоточен на себе, собственной судьбе, своем

внутреннем мире, своем творчестве. Еще мэтр Перро советовал ему: «Еще раз отыщи в себе эту музыку, обращая внимание на ее фигуру. Но не насилуй себя, это всего лишь игра. Если ты уснешь за этим занятием, тоже не беда».

Так он прожил 1896 год, в котором ночи сменяли дни, а дни питались ночными размышлениями. Сумерки призывают мир ко сну, а на следующий день земля будет принадлежать солнечному свету. Это вечное дыхание Бога, и что-то связывает с ним Германа, быть может, искусство — «эта тонкая и чувственная материя». Он страстно ищет примирения, священного слияния, которое откроет ему тайны иррационального. Монотонная работа в магазине лишь утомляет его. «Я просил Бога оградить меня перед последними мгновениями от участи этих людей, у которых нет души и единственным идеалом которых становится добывание денег». В январе военная медицинская комиссия признала у него миопию, и он получает отсрочку, что его необычайно обрадовало. Как гражданин Базеля он получил от командующего округом анкету, в которой пишет:

> Личное состояние: ничего. Личные доходы: ничего. Состояние родителей: 12 000 франков. Количество детей в семье: 6.

Герман уверен, что все болезни происходят от необъяснимой тоски, находящей приют в ослабленных телах. Какая наука властна излечить человека от его внутренней боли? Прислушиваясь к себе, он испытывает жестокую радость, смешанную с любопытством: до какого предела его тело способно сопротивляться? Может быть, он уже спасен? В его юношеских стихах переплетаются религиозные искания и эстетичекие устремления. Он регулярно публикуется в Вене, в «Фуае дю поэт», продолжает изыскания в области поэзии, музыки и живописи, пытаясь «сознательно проникнуть в суть и законы красоты». Несколькими штрихами, будто беглый набросок углем, он рисует картину непостижимого:

… падет из лени в синь озер последней каплей зла укор…

Техника его еще несовершенна, но эмоции сильны. Он больше не чувствует себя одиноким. если и страдает, если и дребезжит над ним тиранически звонок магазина, если его и приводят в отчаяние требования клиентов или жесткий тон Зонневальда и мелочные попреки Гермеса, то, оставшись наедине с собой, он каждое мгновение посвящает творчеству. Он погружен в океан красок, бликов, свечения, комбинаций счастья и невзгод; в огненный час серый, голубой, цвет золота преследуют его, как раньше бабочки на лугу.

Герман похорошел, слегка пополнел, черты его лица несут отпечаток одухотворенности: линия носа обозначилась более четко, а подбородок, форму которого он унаследовал от деда Гундерта и Марии, будто подчеркивал его решительность. Его глаза светились, излучая, казалось, нежность «Баллады соль минор» Шопена, которую он так часто слушал.

Женственность заставляет его дрожать, соблазняет его, но он спрашивает себя, «почему говорить с девушкой, которую любишь, труднее, чем с другими?». На самом деле он не знает, о чем говорить с женщинами. Евгения Кольб потеряна для него. Он с болью вспоминает, как разливался над смородинником ее смех или как она склонялась над фортепьяно. В день рождения Германа, 2 июля 1897 года, Тео Изенберг, который только что переехал в Эдлинген с Мартой, родившей здорового мальчика, пишет ему, что прочел утром в газете о смерти Евгении. «Мы не знаем ничего больше», — прибавляет он. Но Германа не занимает уже ее судьба — для него она обрела бессмертие. «Она стала моей внутренней собственностью, — объясняет он своему другу Эберхарду Гоесу. — Она зовется Элизой… как изысканный цветок. Я хотел бы дать ей нежное имя, выдуманное Верленом, „сонная любовь“… Эта женщина рядом со мной. Я узнаю ее черты, ее походку, ее светлые волосы… Она не высокая, не сильная, в меру, но соблазнительно кокетлива и, самое потрясающее, — так играть Шопена, как она, не может никто». Он влюблен в собственную мечту и согласует свою жизнь с причудами бесплотного идиллического создания: «У меня запрещено о любви говорить с точки зрения исключительно физиологии и произносить непристойности, потому что я всегда чувствую в таких случаях по-детски испуганный взгляд Элизы». И прибавляет: «Ты можешь думать все, что хочешь о моем домашнем сверчке. Я могу сказать, что, когда Элиза проходит вдали от меня — это тяжелое время, время потерянное».

В двадцатилетие Германа Мария приехала его навестить. Убрала пребывавшую в абсолютном беспорядке комнату и отправилась за покупками в сопровождении Маруллы, теперь учительницы в Тюбингене. Отобедала у теолога Хаеринга, успокоилась относительно нравственного поведения сына и отправилась с визитами к почтенным знакомым. Измученная жарой, она провела почти всю вторую половину дня в кафе, где встретила профессоров Буска, Мезгера и Рехрера. Вернувшись в Кальв, Мария загрустила. Из писем Германа она знала о его новых знакомых, но они не приходили во время ее приезда. Ее беспокоили красные глаза сына, запах табака от его одежды, принимаемые им холодные ванны.

Его окружали странные персонажи: маргиналы, горячие эстеты, более или менее иконоборчески настроенные, весельчаки-оригиналы, и все они давали ему пищу для размышлений. Среди них были двое близких друзей: один из старинных однокашников по Маульбронну Карл Хаммелехле и студент Людвиг Финк по прозвищу Югель, изучавший право, посещавший лекции по медицине, влюбленный в искусство и литературу. Этот непринужденный молодой человек приглашал Германа на выходные в дом своих родителей, в Рётлинген. Герман приезжал к Финку с утра, пил кофе, обедал за семейным столом, потом заворачивал в трактир выпить пива или вина и возвращался вечером в Тюбинген. Для юного книготорговца началась другая жизнь. Он распрощался с пренебрежением к внешнему виду, прервал наконец свое великолепное молчание одиночки и стал свободно высказываться в компании студентов, которые щеголяют в колясках и делают окружающим замечания по поводу чистоты речи и безукоризненности манер.

Нужно было видеть Финка! Нужно было идти с ним по улице, слышать, как он смеялся у стойки бара, чтобы оценить его вполне. Он был выше Гессе, его широкие плечи борца выдавались под курткой. На детском подбородке красовалась ямочка. У него были четко очерченные губы, нос украшали модные очки. Герман в своих простеньких очках учителя, с серьезным лицом и строгой прической, совершенно потерялся бы рядом с другом, если бы не внимательный, одновременно сумеречный и блистающий взгляд его зелено-голубых глаз. Этот взгляд никогда не простят Гессе — он приводит в замешательство, захватывает, ранит: эта серьезность, притаившаяся в самой сердцевине зрачка, это колебание на краю обрыва в собственную душу, этот отказ от покоя!

С Германом дружат. Признают его оригинальность. Теперь Герман имеет то, без чего раньше так тосковал, — товарищеское окружение, ощущение братства с единомышленниками. Он печатает в каждом номере «Фуае дю поэт» как минимум одно стихотворение, а в октябре другой поэтический журнал долже н опубликовать несколько его песен. Финк, который сам рисует и пишет стихи, считает Гессе лучшим из своих друзей — мюнхенских и берлинских писателей — и настойчиво предлагает рекомендовать его Карлу Буссе, директору берлинского издательства. Ученик книготорговца наконец обретает уверенность, открыто высказывает свои поэтические взгляды. К ним присоединяется третий товарищ — Оскар Рупп, юрист, — и они теперь встречаются регулярно раз в неделю. «Я счастлив, что обрел это окружение, безопасное, побуждающее к мысли», —

пишет Гессе матери.

Мария не знает поэзии, кроме пиетистской, выражающей в барочных традициях религиозную идею всеобщего единства. «Я не люблю резко высказываться в щекотливых вопросах, но, честно говоря, все безвкусные немецкие и французские пасторали последнего и предпоследнего века — золото по сравнению с унылостью этих церковных песен…» — пишет Герман. Иоганнес не удостаивает вниманием специально ему посланный номер «Фуае дю поэт», который, по его словам, «не содержит ничего, что он мог бы оценить». Молодой поэт метко парирует: «Простите меня! Но религиозный лиризм — это, прежде всего, протестантский и пиетистский религиозный лиризм, это изначально что-то трагикомическое!» Когда Мария утверждает, что «песни Герхарда или Терстеегена принесли в мир больше блага, чем произведения Гёте, Шиллера и Шекспира», Герман готов противоречить, но отец прерывает его на полуслове: «Понимать или не понимать друг друга это частный вопрос. Кто понимает самого себя? Главное, проявлять терпимость и уметь любить друг друга». Мягко произнося это, Иоганнес думает, что завершил спор с сыном. На самом деле он только углубил разделяющую их пропасть. Мария, пытаясь понять своего романтичного ребенка, плакавшего над Мёрике, пишет ему тайком: «Твой мир не так чужд мне, как ты думаешь».

Но Герман прерывает отношения с семьей. Он уже пренебрегает знакомством с Гриллями и больше не посещает Хаерингов: «Такого рода светские обязанности меня угнетают». Он безжалостен к этим «филистерам», этим буржуа, зажатым в рамки обыденности, и осудил их навсегда. Если он выглядит в их глазах «мужланом», то при новых своих друзьях он тщательно следит за собой, демонстрируя артистический стиль и повадки денди.

Пришел сентябрь. Над городом навис туман. Деревья роняют свои плоды на холодеющую землю. Вечера еще светлы. Для Швабии и суровых стран Северной Германии сентябрь — месяц праздника Седан. На древки знамен наматывают плющ, готовят пироги. Вечером на холмах, у прибрежных скал жгут костры. Для Гундертов из Кальва и для балтийских предков Гессе это время всегда было поводом для разного рода почтенных церемоний в церквях и залах городской ратуши. Когда последние гимны утихали, старик Гундерт возвращался к своим любимым цветам — астрам и хризантемам, — а доктор из Вайссен-штайна — к своей трубке и неспешному созерцанию ясного неба с парящими чайками.

Будет ли Герман в этом году жечь бенгальские огни и

насмехаться над прохожими, сидя за стаканом вина в беседке из перевитых виноградных лоз? Его одолевают детские воспоминания, он гонит их, чтобы отдаться только что охватившей его любовной горячке. Элиза была теперь не единственной гостьей его грез. В воображении Гессе вырисовывались еще два поэтических женских образа — фрау Гертруда и Мария. «Обе долго занимали мои мысли, — напишет он в начале следующего лета, — одна сильная, заметная, цветущая, другая бледная с тонкими руками. В них обеих, при всей их противоположности, заключена для меня красота, в обеих есть след Беатриче Данте».

Из своих трех идеальных подруг он выбирал одну: «Когда она приходила, горели свечи, и она пела вместе со мной дуэт. Я стоял за ней… и думал, что было бы замечательно украсить цветами ее волосы». Эта фантастическая женщина была средоточием его ностальгических настроений, символом счастья. Говоря с ней, он «…каждый раз обнаруживал в голосе, в речи и образе мысли своей подруги отголосок вечной женственности, вызывавший у него горячее и нежное чувство».

Предчувствовал ли Герман возможность взаимности? Получала ли ответное пожатие робко протягиваемая им рука? Был ли он уверен, что где-то существует та милая и добрая девушка, которая способна любить и избавить его от страхов, обладающая редким умением радоваться и понимать? Та подруга, которую он сможет пригласить в свой поэтический сад и которая будет смотреть ему прямо в глаза без презрения?

В конце ноября 1897 года он получил письмо: «Ах! Что скажешь, когда кто-то несколькими словами затрагивает в нас струну, которая потом долго-долго вибрирует? И тогда все время оборачиваешься и прислушиваешься к этому глубокому звуку, исполненному мистического очарования. Это состояние настолько трудноуловимо, его природу трудно постичь… Может быть, поэт лишь пожмет плечами на письмо молодой девушки, давшей ему руку и замолчавшей?» Внизу стояли подпись некой Елены Войт и вчерашнее число, письмо было отправлено из северной области Мариенгофф. Четыре дня листок оставался на столе Гессе. Четыре дня он размышлял над ответом, живость которого удивляет: «Моя глубокоуважаемая мадемуазель, большое спасибо! Я сидел, устав от работы, рядом со своим другом. Это неизвестный артист, он играл для меня на скрипке старинный и простой гавот, а я думал о вас, то есть о тех немногих, которых я хочу видеть своими читателями…» Потом прорывается болезненная нотка: «Я так мало привык к дружбе и к милостям. Ваше письмо доставило мне радость». И

рассудительно: «Я шлю вам привет, вам и Северу. Я прибалт по крови и люблю Север, его пейзажи и его людей. Подумайте обо мне, слушая Шопена — „Баркароллу оп. 60“ или „Ноктюрн оп. 62“».

Кто была эта таинственная корреспондентка, не постеснявшаяся позвонить в «Фуае дю поэт», чтобы узнать адрес Гессе, и в волнении писавшая уверенным почерком на дорогой бумаге, источавшей едва уловимый аромат духов? Молодая и богатая фермерша из области Шлезвиг-Хольстен, расположенной на границе с Данмарком, жила в одном из почти островков на суше, окруженных живой изгородью, которую крестьяне сажали, чтобы защититься от сильных ветров. Она родилась среди дубовых посадок, сменяющих друг друга приливов и отливов, близ обнажающихся пространств песка со следами морской соли. Ее детство протекло между пахотой и сенокосом в обществе четырех братьев и сестер в деревнях с каменными церквями и в тени лесов с разбросанными по ним средневековыми замками. Воспламененная гордостью за свои родные земли, она написала сборник новелл под названием «Жители Шлезвиг-Хольстена» и в двадцать лет снискала свой первый литературный успех.

Листая «Фуае дю поэт», Елена встретила стихотворение Германа, посвященное Шопену, которое ее очаровало. Почему она тут же написала автору? Что она хотела ему высказать: восхищение его талантом или женскую чувственность? Что она искала? Дружбу или великую любовь? Спустя пятнадцать дней она послала ему свою книгу, только что изданную в Лейпциге, приложив письмо из Генуи, где она оказалась в качестве компаньонки путешествующей богатой любительницы искусства. Герман тут же ответил: «Я за час прочел вашу книгу, она внушила мне уважение к вам. Чем? Многими вещами, которые мне понравились и которых мне не доставало как читателю: вашей беззаботностью, простым и естественным взглядом, вашим пониманием народа, горячим и сильным чувством родины. Я этого лишен. В моих мыслях и устремлениях, в моих привычках и вкусах мало национального и провинциального, мало того, что не касается непосредственно слова как такового… я завидую ощущению здоровья и безопасности, которое дает истинное чувство родной земли…»

Он дал верную оценку: Елена излучает жизнелюбие селянки. Эмоциональная сила ее писем, их энтузиазм, ее неуемный смех — все это предрекает Герману духовные страдания. И если она присоединится к Элизе, Марии, Гертруде, то дерзко их вытеснит. Она полна вдохновения. У нее здоровое и сильное тело, вскормленное черным хлебом и овсяными кашами. Эта веселая,

непринужденная девушка обитает под расписными потолками, среди обилия фаянса по стенам в одном из тех огромных ганзейских жилищ, которыми так любовался дедушка Германа из Вайссенштайна. «Родившись в Вюртемберге, — говорил Герман, — я на протяжении многих лет считал Эстонию, где родился отец и которую я никогда не видел, своей настоящей родиной».

Вслед за этим найденным сходством последовал поиск других. Их объединили рассуждения о датском романисте Енсе Петере Якобсене, чья книга «Нильс Люне» очаровала обоих. И, конечно, музыка, в которой они находили отклик на самые пронзительные и томные движения души. Их письма близки к самым трепетным откровениям: «Я беру часто ранним утром в руки скрипку и любуюсь ее изысканными очертаниями — красиво выгнутой декой и блестящей обечайкой. Я прикладываю к ней ухо и чувствую, как начинает биться в сладострастии моя кровь…» Какая женщина не вздрогнет от таких слов? В начале 1898 года Елена, желающая наконец увидеть своего корреспондента, предлагает встретиться в Страсбурге, где она предусмотрела для своей пожилой подруги осмотр его достопримечательностей — собора и музеев.

Из Тюбингена Герману легко попасть в Страсбург: несколько часов пути по железной дороге. Чтобы съездить туда и вернуться, достаточно одного дня. на перронах столько специальных мест для встреч! Но книжная лавка полна: студентов в этом году больше, чем обычно. Кто даст сейчас отпуск стажеру, который и так получил свидетельство о слабом здоровье, столь плохо воспринятое дирекцией? Герман не находит себе места. Фрау Леопольд старается побаловать кулинарными выдумками своего пансионера, плохо скрывающего беспокойство. 10 февраля, в день намеченной встречи, он не может работать, а 12-го пишет Елене взволнованное письмо: «Я сожалею, что не могу вас увидеть…», — и смущенно заканчивает его витиеватой фразой: «Сегодня я в смятении прошу вас дать мне место у вашего очага, маленькое пространство рядом с другой мебелью. Я так хочу принести всю мою безмолвную любовь хоть к какой-нибудь пристани!»

Но поздно. Елена весьма раздосадована несостоявшимся свиданием. В день, когда Гессе отправил ей письмо с неуклюжим признанием, она заменила Страсбург Лейпцигом, где познакомилась у своего издателя с Эженом Диедерихом. Несколько дней спустя она дала согласие на брак с ним. С тяжелым сердцем, не слишком уверенная в своих чувствах она пишет Герману: «Я теперь невеста, которая смеется и плачет одновременно». Ее письмо, искреннее, чувствительное, то

грустное, то радостное, проникнуто горечью несбывшихся надежд: «Я думаю, что ни одна молодая девушка не может так долго бороться с могуществом любви. Мы так долго были наедине с мечтами!» Кто не прочтет между ее строк, что так продолжаться не могло? Желание, которое истязало ее изнутри, должно было быть удовлетворено. Эта немка, ведшая свой род от морских пиратов, сделала выбор и не изменила ему, хотя она далека от того, чтобы забыть свою симпатию к незнакомцу:

«Не напишете ли вы мне несколько теплых слов?» Герман отвечает: «Удачи, от всего сердца!» Но его слова не могут ее обмануть: «Ваше письмо дошло до меня в дурной день. Едва я закончила его читать, как услышала на улице звуки похоронного марша, который звучал над одним моим другом, покончившим с собой… Я заглянула в глубину собственной души, где по неписаным законам свершается судьба».

Мысленно он следовал за Еленой по Европе. Голубые у нее глаза или черные? Возможно, у нее полное лицо, розовые щеки, может быть, она носит красное платье и у нее золотистые волосы — какая разница! Какая разница, была она полной или худенькой, блондинкой или брюнеткой, — она существовала, и он был обречен лишь на духовный контакт с нею: «В первый раз прочтя ваше письмо, я почувствовал прилив ревности… Но я думаю, что наше общение должно продолжаться, потому что нас объединяет одно стремление в страну поэзии, одна молитва, обращенная к общим богам…» Но зачем разрушать свою мечту? Зачем обладать женщиной? Лучше позаботиться о том, чтобы защитить свою музу. Герман склоняет голову, неспособный дать волю своему желанию, испуганный бурным жизнелюбием Елены. Если бы он захотел ее увидеть, все Зонневальды мира не смогли бы ему помешать.

Он чувствует себя стесненно — худой, задумчивый, обреченный на учебу. Он никогда не открывал богатой наследнице своего положения «лавочника»; ничего не говорил о своей бедности, мигренях, своем хроническом конъюнктивите, о том, сколько усилий ему приходится прилагать, чтобы поддерживать форму: снотворное, попытки бросить курить, режим, диета. Он с сожалением осознает свою физическую слабость, которую усугубляет его ремесло. К потерянной невесте он обращает 8 марта 1898 года следующее признание: «Поверьте мне, если бы работа меня меньше утомляла, мои желания не были бы такими нежными и буколическими…»

Деятельная активность его друзей счастливым образом отвлекает Германа от меланхолии. Еще с осени 1897 года они часто собираются в трактире «Корона» в маленьком городке

Киршхайм-ан-дер-Тек, расположенном между Тюбингеном и Штутгартом. Четверо бойких молодцов устраивают в бистро веселые ученые посиделки. Они говорят о Пизе и Флоренции. Обсуждают Монтеня. «Французский мудрец» вдохновляет Гессе, его увлекает философская афористика: «Это как старое вино, благородное и чистое, в котором прозрачность выдержки сочетается с хранимым им пламенем лета». Людвиг Финк разделяет его страсть. Карл Хаммелехле задается философскими вопросами. Спокойный и старательный Оскар Рупп улыбается. Их кружок стал носить французское название «Птисенакль». Вскоре к ним присоединился еще один товарищ — элегантный Людвиг Фабер. В отсутствие Финка Гессе занимает место дирижера: «Первое собрание в этом семестре прошло в моем скромном жилище. Я председательствовал перед чайником. Наш лектор, кандидат теологии Шёниг вещал, развалившись на софе, на тему этики и практики, а я высказал свой тезис о параллелизме искусства».

В Кальве привыкают к его новому стилю жизни. «Ты проводишь время в учебе и чтении, это похвально», — замечает Иоганнес. Дядя Давид занялся политикой и принял участие в деле Дрейфуса, решительно выступив против шпионажа. Тео и Мария только что крестили дочку Гертруду. Адель читает Монтеня в немецком переводе. В день рождения императора Вильгельма Марулла играла на фортепьяно.

За пределами Швабии, Германии, за пределами мира, в озаренной солнцем весне Герман Гессе творит. Он создает небольшие фрагменты в прозе и стихах: «Я не люблю опережать самого себя. Я предпочитаю спокойно присутствовать при смене времен года». Он много читает и спокойно ждет 4 июня — дня свадьбы Елены. «Я прошу, чтобы вы немедленно выслали мне свой портрет, — пишет он ей. — Лично я не слишком красив и недостаточно тщеславен, чтобы заказать свой». Однако это не помешает ему в первую неделю мая поехать в самую крупную студию Штутгарта, чтобы отправить в Мариенгоф фотографию, увидев которую, молодая женщина воскликнула: «Я именно так себе и представляла вашу внешность». В обмен она шлет ему свою фотографию на отличной бумаге. Он потрясен. Он наконец видит ее. Она, оказывается, красива. Очень красива. Более свежа, более жива, более резва и легка, чем можно было бы ожидать. Льстивый портрет представляет ее одновременно инфантильной и зрелой, с большим бюстом и круглыми бедрами. Она стоит в восхитительном платье, сдержанно украшенном кружевом и буфами на рукавах, застегнутом на шее удивительной брошкой в форме подковы, в мальчишечьей шляпе из фетра, из-под которой

рассыпаются по плечам длинные кудри. Взгляд сосредоточенный, понимающий и нежный, губы просто созданы для наслаждения. Лоб задумчивый. В руке, затянутой в перчатку, она держит хлыст, в другой, также в перчатке, — ветку, будто зовет вас или хочет уколоть. Елена Войт из тех простых женщин, которые, наплакавшись, умывают горящее лицо, облегчают сердце и освобождаются от воспоминаний…

О ее муже Герман знал лишь, что это был молодой, но уже знаменитый издатель Эжен Диедерих, только что опубликовавший полное собрание сочинений Новалиса. В роли импресарио Елены он отправляет Гессе посылку с «Курье де ла литератюр», где напечатаны ее стихи, статья о ней, критические заметки и оценки, свидетельствовавшие о ее растущей известности. Завидует ли Герман? Нет. «Когда ребенком я слышал стишок „Много жителей в Отцовском доме“, я представлял людей в их мансардах, на фермах, в салонах, на виллах, каждый из которых рассказывает свою историю. Так же и в стране Искусства». Елена стремится быть в курсе его дел, предлагает помощь: «Мои друзья это друзья моего мужа».

Утром в день свадьбы он, закрыв книги и оттолкнув перо, предпочел заглушать отдаленный шум церемонии кружкой пива среди бурного веселья кабаре. «Вечером 4 июня, — написал он ей 23-го того же месяца, — я долго смотрел на ваш портрет…» И потом резко: «Давайте, наконец, перестанем говорить о вашей помолвке — лучше я вам расскажу о себе». Уверенный в принятом решении, он пишет: «Я обращаю взгляд ко всему, что красиво. Я поддерживаю с миром красоты тонкие и близкие отношения. И в этом я остаюсь одинок…»

Тридцать первого июля 1898 года вся Германия оделась в траур: умер Бисмарк. Старый канцлер, создатель Германского союза, сторонник Лютера, противник социализма, но инициатор первых общественных законодательных актов в Европе, был почитаем всем рейхом.

Многие поколения цитировали его высказывания. В крупных университетских городах студенты, желая продемонстрировать свою национальную солидарность, украшают фуражки черными лентами. В Тюбингене приспущены флаги, школы закрыты, магазины опустели. В конце дня Герман пишет: «Бисмарк преподал нам урок уважения…» Однако он остерегается присутствовать на траурных церемониях. Наполовину прибалт, наполовину немец, он не афиширует свою двойную национальность, чтобы избежать угрозы швейцарской военной службы. Вербовки в армию, культ силы его отвращают. Массовые манифестации, все более и более многочисленные,

провозглашающие ярый национализм, внушают ему неприязнь. Он не устает повторять: «Я европеец». Пангерманизм приобретает в конце века пугающие размеры, и Гессе больше всего беспокоит будущее немецкой культуры. «Мы народ, который выиграл самую большую в истории войну, который достиг очень высокого уровня развития индустрии, народ разбогатевший, преклонявший колени перед Бисмарком и Ницше, мы достойны другого искусства!»

Он спорит о будущем Германии с ярым националистом Финком, отстаивая идеи нового развития культуры. Может быть, он предвидел недалекое будущее Европы: «города, где повиснет угольный дым, развращенные жадностью, пустынные деревни, потухшие очаги крестьянских домов, будто остановившееся дыхание жизни». Вокруг заводов, более или менее механизированных, словно щупальца, разрастаются рабочие кварталы, большие торговые объединения сливаются с государством в попытке расширить сферы влияния. Чувствует ли он уже запах смерти, запах войны? Умирающий век демонстрирует ледяное равнодушие по отношению ко всему разумному. Интеллектуалы стали амбициозны. Они стремятся блистать, пренебрегая литературой в угоду политике и провинцией в пользу Берлина. Почти сразу после приезда в Тюбинген Гессе написал: «Я, смотрящий на вещи с точки зрения эстета, страдаю, видя, как теперь талантливые люди приходят в искусство, неся в себе болезненно трепещущий нерв, от которого нет, особенно в литературе, спасения, кроме ненависти к самому себе».

«Добрый вечер, мой друг! Сегодня воскресенье, — пишет Герман Елене 10 декабря 1898 года, — час, когда друзья любят болтать у зажженной лампы. На улице проходят, напевая, с фонарем в руке городские бедняки в своих тяжелых ботах». Он подводит итоги года: благодаря экономии он получил возможность отдать издателю Пьерсону для публикации книжечку стихов, которая появится в 1899 году под заглавием «Романтические песни». На рукопись было много откликов. «Песни излучают горечь и меланхолию», — написал ему Карл Изенберг. «Отдаю должное богатству вашего воображения! — восклицает его друг доктор Карф. — Вы видите внутренним зрением столько цветов, сколько другие человеческие существа не в силах увидеть». Мария пишет: «Как мать я скажу тебе откровенно: такие вещи должны быть тебе чужды. Они пробуждают подозрение, что любовь не всегда целомудренна и чиста». Получив тетрадь в клеенчатом переплете, она сразу почувствовала запах искушения. Одни названия стихов чего стоят: «Потому что я люблю!», «Любить», «Ты уходишь…»! Почему

ее сын не посвятил себя Богу? Она заклинает его вернуться на путь истинный почти старческим бормотанием: «Если ты посвятишь этот свой день Господу, твоя маленькая старенькая мать будет счастлива». Разменявшая шестой десяток Мария пускается в упреки, а восторженная Елена проявляет крайнюю степень восхищения: «Горда! Я горда вами!»

Если бы даже издатель не настаивал, Гессе сам назвал бы «романтическими» эти стихи, «в которых не нужно было искать истоки будущего, а надлежало увидеть итог определенного периода», начавшегося в 1895 году в джунглях семейной библиотеки отца и деда-эрудита. Его расцвет пришелся на январь 1897 года, а конец — на весну 1898 года, которой датированы последние стихи сборника. Был ли романтизм Гессе столь уж индивидуален? Скорее, он выразил настроение всей революционной молодежи. Романтичны были его врожденное понимание природы, вкус к свободе, острое чувство индивидуальности, его решительное «поэт или никто». Кроме всего прочего, романтизм таился в меланхолии, приведшей его в Штеттен. В Тюбингене он перешел от неосознанного романтизма юности к романтической мысли молодости. Чтобы определить собственно Гессе, нужно было использовать другие, не академические, слова. Настоящая зрелая слава должна была быть именно его славой, признанием факта «отсутствия подобных». Но кто мог утверждать, что то тут, то там не будет слышно эхо его романтических настроений?

Герман вскоре забыл свои первые поэтические опыты, явившиеся «отзвуком эпохи», ради прозы, несколько страниц которой отослал своей музе в Лейпциг в подарок на Новый год. Это были девять этюдов, горячих, но лишенных примитивного романтизма, плавно льющихся, хрупких. Они совершенно очаровали Елену: «Это из области невыразимого, это то, что парит над словами и фразами. В каждой вашей строчке виден романтик, чувствуется что-то, что вне времени, чтото неизмеримое, как биение крыльев вечности».

Можно ли было сказать лучше? Гессе восклицает: «У вас, мой друг, внутреннее зрение редкой ясности и особенный дар проникать в суть вещей, вы одна так чутки к моей душе». Он окружен ее аурой, осенен ее светом. *«Я* хотел бы взять вашу руку, видеть ваши глаза», написал он ей несколько недель назад, когда пришло известие о самоубийстве Александра Диедериха. Он изливает ей душу: «Ночные листья, к которым вы прикасались, теперь растут во мне, когда я иду ночью, гонимый бессонницей, по улице, поднимаюсь на мост, углубляюсь в аллею парка». Он даже дал этому состоянию название: «Час после полночи», —

заимствовав его из своих «Романтических песен».

В час после полночи,
Когда в дозор плывет над лесом лишь луна,
И нет свидетелей свершающейся тайны,
Мой светлый замок порождает тьма,
Его покои велики необычайно,
И я один, и погружен в мечтанья,
Для одного меня картина создана.

Сады, отблески воды, рвы и дозорные башни в призрачном свете луны. Гессе погружается в созерцание изысканной вселенной — создание почти болезненной фантазии — у берега этой «ночи бытия, его опасных приютов и райских мест, доступных лишь авантюристам». Это уже не нежные юношеские вздохи и легкое подрагивание крылышек амура — это романтизм, подобный Метерлинку, воспевающий туманы, ирреальность, населенную фантомами; он объединяет порой огонь и смерть с горячностью, которая бросает Елену в дрожь. В таинственной стране великого и безграничного времени поэт бесстрашно созерцает блуждающие тени. Нужно, чтобы Елена понимала: этот мечтатель — воин. Он нежный и сумасшедший, он сильный и слабый! Со времен Кальва и Штеттена Гессе ощущает свою двойственность: «Я был диким мальчиком, всех пугал, топтал клумбы и знал в округе все голубятни; я мог долго смотреть на небо, задрав голову, наблюдать за плывущими облаками». Он спрашивает себя о себе-«другом»: «Мне кажется, я вижу рядом с собой друга, который на самом деле является мной».

Прекрасный весенний свет обволакивает Тюбинген. Не слышно больше бедных студентов, которые зимой каждый четверг поют, чтобы получить милостыню. Остроконечные фонари, висящие перед каждым порогом, погасли. На полянке среди виноградников дети подстерегают зайцев. Скоро Пасха. Обучение закончено, Герман получил звание «помощник продавца», теперь ему выплачивают жалование. «Герр Гермес советует мне уйти. Герр Зонневальд предпочитает, чтобы я остался. Я предполагаю расторгнуть договор этим летом и найти место в каком-нибудь другом городе, желательно в Базеле». У него нет долгов, он питается только молоком и фруктами, играет на скрипке: порхание смычка помогает ему перенести последние дни пребывания в Тюбингене. Ему кажется, что время тянется слишком медленно. Фрау Леопольд уже с ним прощается. О нем пишут газеты. «Кунстварт» посвящает ему статью: журналист Карл Эрнст прославляет «гений сердца, который царствует в его

песнях». Финку нравятся его стихи, остальные участники кружка смотрят на него свысока. Ему сопутствуют то симпатия, то непонимание окружающих. Но Германа, кажется, это мало заботит. Его новые проекты не могут осуществиться, пока он в Тюбингене. Сейчас он мечтает о сельском просторе, о том, чтобы взять за руку свою далекую незнакомую музу: «Я хотел бы вас найти здесь однажды, на одной из наших гор, над бескрайними черными лесами…»

Гессе стряхивает с себя книжную пыль и чувствует, как его тело наливается жизненными соками. Поэзия, как и «музыка, — напишет он в „Игре в бисер“, — состоит не только из тех чисто духовных контуров и фигур, которые мы из нее извлекли, во все века она была в первую очередь радостью от чувственных впечатлений, от дыхания, от отбивания такта, от оттенков, трений и возбуждений, возникающих, когда смешиваются голоса, сливаются инструменты…» В двадцать один год он проснулся поэтом. Наконец-то поэт! И если бы еще не голоса, которые нашептывали ему, что его страсть быть артистом — иллюзия, то никто и никогда не смог бы оспаривать его призвание. Он — творец! В пиетистском мире, ограниченном добром и злом, ему было тесно. Теперь с каждым ударом сердца он все ближе к тому, чтобы раскрыть свою душу. В нежных воспоминаниях он нетерпелив: погрузиться в сумерки прошлого означает для него испытать свободу, обозначить свои настоящие устремления. Завоевав и освоив определенное внутреннее пространство, он устремлен к новым горизонтам, он жаждет осуществить свои самые горячие желания, «невоплощенную часть своей юности».

На крышах Тюбингена играют краски заката. Романтично? Ну так вперед! Он больше не попросит призрачную женщину присесть за рояль и исполнить в благоухании фиалок ноктюрн Шопена. Прислушиваясь к окружающему миру, столкнувшись с новой действительностью, он жадно исследует ее, пробует на вкус, вдыхает ее аромат, чувствует в ней и очарование и увядание. Он пытается увидеть в разрушительных устремлениях своего детства бурные проявления обретенной им собственной души — счастливой, смущенной, смиренной. Он с удивительной чуткостью соединяет слова в их музыкальности и краски, различаемые им с совершенством живописца. Источника своего внутреннего восторга он не осознает. Он лишь понимает, что весь этот мир существует в микрокосме его души, где каждый отблеск, каждый страх, каждая радость находят в определенном слове, пунктуационном знаке, в мгновении внутренней сосредоточенности свою композицию, свой речевой оборот, свой темп. Он наедине со своей трубкой, настолько погруженный в

себя, что его вселенная имеет для него единственный голос — его собственный. Он смотрит на мир из-под полуприкрытых век, соединяя в своем созерцании разыгрываемый миром вселенский спектакль и меланхоличную прелесть детских воспоминаний. В этой медитации нет болезненности, но есть жизненный опыт: «Начало всякого искусства — это любовь. Ценность и значимость искусства определены способностью художника любить».

Вечером 31 июля 1899 года за Гессе закрылась дверь тюбингенского книжного магазина. Он не поехал во Фреденштат и не рискнул отправиться, как предполагал, в Лейпциг побродить вокруг издательства Диедериха в смутной надежде увидеть Елену. Ни Марулла, ни Адель ничего не знают о его планах. Он не пишет ни Карлу, ни Тео. Ганс слишком занят собой, чтобы быть в курсе дел старшего брата. Герман не посещает ни Некар, где некогда ловил рыбу, ни Киршхайм, где собираются в «Короне» его друзья по «Пти сенакль». Он решил двинуться в сторону Штутгарта и 3 августа сел на последний вечерний поезд до Кальва. Чтобы удивить родителей, он немного жертвует своей независимостью и в значительной степени своей гордостью. Их переписка по-прежнему омрачена взаимным непониманием. Когда были изданы «Романтические песни», Мария осудила лучшие стихи сына как порочные: *«Я* должна быть искренней. Некоторые твои фразы непристойны, настолько непристойны, что молодая девушка не должна их читать! Будто ты пишешь о животных, а не о человеческих существах». Ее муж, получивший вторую книгу сына ко дню рождения 14 июня, даже ее не перелистал. К нему приближается старость. Проницательность еще блещет в его взгляде, все чаще, однако, не властная пробиться сквозь флер угасания.

Сын быстро прошел узкий коридор, ведущий в их спальню, и появился внезапно, вызвав бурные изъявления радости у обоих. Супругов объединял теперь лишь пепел спускающихся сумерек; страдая, Иоганнес пребывал в сосредоточенном терпении, а Мария в исступлении веры замешивала тесто для грубого хлеба.

У какого источника Герман утолял жажду? Подле отца, вчера им ненавидимого: «Ты хочешь творить, мой сын, это очень хорошо. Но не изнуряй себя, для всего свое время. Молодость — чтобы сеять…»? Или рядом с матерью, вчера такой нежной, а теперь не дававшей ему покоя: «Твоя муза — это ядовитая гадюка. Беги! Она тебя отравит ядом. О мое дитя! Я должна тебя предупредить! Отвергни ее! Она не чиста! У нее нет никакого права на тебя… Человеческая природа грешна, то, что от уст, от пера — скверна. Ты думал об этом»?

Он не забыл, что написала ему Мария, после того как прочла

его книги: «Я их просмотрела. Я не спала всю ночь. Я должна тебя предупредить и сказать тебе правду. Есть мир лжи, где низкое, животное, нечистое в человеке представляется красивым. И есть мир истины, в котором грехи являются не чем иным, как грехами. Человек ведь тянется к прекрасному. Достойно ли так пресмыкаться?» За патетическими вопросами следовали стенания: «Мой дорогой мальчик, да спасет и сохранит тебя Господь!» Марию охватывал экстатический порыв веры. Она говорила с сыном, как с индийцем или готтентотом: наивными формулами, быстро, не давая ему опомниться, рисовала одну картинку за другой, стремясь каждым словом обеспечить себе вечное блаженство. На эти письма, полученные в середине июня, он счел нужным ответить: «Я не думаю, что мои книги принесли тебе хотя бы половину того горя, которое я испытал от твоей оценки. Вы хорошо знаете слова: „Для тех, кто чист, все чистое“; а меня вы причисляете к нечистым». Он подписал письмо, положил в конверт, пошарил в карманах и решил было отправиться на почту, но остановился в раздумье на пороге — и принял решение «не отвечать на это письмо, не отвечать на него вообще…» За это Мария его благодарит: «Спасибо, что ты не ответил мне резким письмом! Я не нахожу удовольствия в том, чтобы тебя уязвить… мне достаточно тяжело об этом писать. Я из-за тебя не спала три ночи».

При встрече с матерью сын был более всего расположен ее понять. Но музыкальные темы, звучащие в нем, формы, которые он создает, не имеют ничего общего с этой сильной женщиной, воспламененной служением Богу, в угоду которому она на протяжении многих лет гасит огонь своего сознания, иссушает $учьи своей души, истязает свою плоть.

' Герман возьмет под мышку пакет с пирожками из отборной пшеницы, испеченными матерью, поцелует отца, соберет багаж и, захватив свои книги, отправится в Киршхайм, где трактирщик Мюллер обычно потчует друзей из «Птисенакль». Едва войдя, он увидит за столом хозяина очаровательную незнакомку с круглыми щечками, обаятельную и дерзкую: он замечает «пунцовые губы, а за ними белые острые зубки», «то туфлю с черным чулком, то изящно выбившийся локон, загорелую шею, то тугие плечи… то прозрачное розовое ушко». «Под вольно выбившимися завитушками смугло и тепло поблескивала красивая шея» прелестницы.

Веселый трактир у двух каштанов, теплая атмосфера, восхитительное пиво. Голубое платье, «сквозь завязочки проглядывает полоска кожи». Молодые люди смеются, поднимают тосты, все, кроме застывшего в восхищении Германа, который

остановился в дверях с горящими висками…

Глава VII СОЗЕРЦАТЕЛЬ

Лишь тот проникает в сумерки своего сознания, кто пристально следит за своими самыми мимолетными ощущениями и ищет исток каждой своей эмоции.

Г. Гессе. Герман Лаушер

Трактирщик Мюллер, довольный своим погребом, атмосферой своего заведения и своим столом, гордился тем, что принимает клиентов под крышей семейного дома. Он предлагал им воду из источников близлежащих долин, готовил лучшие салаты и поил веселящими кровь напитками. Трудно сказать, думал ли он о друзьях из «Птисенакль», когда приглашал Юлию Хеллман провести лето в Киршхайме, наводненном в это время туристами. Первый из прибывших, Людвиг Финк, поддался очарованию дома и забил сбор своим товарищам: папаша Мюллер хорошо готовит, у него удобные комнаты с видом на старый город, сад с цветущими каштанами и две очаровательные племянницы — старшая Юлия просто восхитительна.

Молодые люди прибыли: в соломенных шляпах, с тросточками, элегантные и красноречивые. Бросив велосипеды и забыв про купание, отказавшись от верховых и пеших прогулок, пятеро весельчаков принялись грезить о прелестной Юлии. Людвиг Финк был сражен первым, потом настала очередь Карла Хаммелехле и Гессе, а позднее жертвами пали и Генрих Фа-бер с Оскаром Раппом. Мюллер вынужден был признать, что его миленькая родственница, которую он еще недавно качал на коленях, обладала какой-то дьявольской властью над мужскими сердцами. Она ворковала, сверкая и переливаясь таинственными золотыми бликами, словно павлин на солнце. Юноши останавливались как вкопанные, затаив дыхание, не в силах оторвать взгляд от свеженьких щечек, сияющих завитков, изысканного корсета и тоненькой талии. Они дрожали, готовые подчиниться власти этой женщины с искрящимся взглядом, ее словам и жестам, ее прелести. Юлия появлялась всегда в сопровождении сестры, худенькой и бледной девушки, и казалась пленительной матерью или мечтательной гувернанткой. Она чуть сгибала лебединую шею в пенящихся высоких кружевах, и одного слова, произнесенного ею за чашкой чая, было достаточно, чтобы вскружить голову любому. Поклонник начинал дрожать и

бормотать всякий вздор, совершенно очарованный ее невинной прелестью. Ее невозможно было называть иначе, чем «моя фея», «дитя», «милашка», «сердце мое», «прелесть моя», «принцесса». Маленькой мадонне из плоти и крови не хватало только быть коронованной прекрасной диадемой.

Друзья становились соперниками. Она же не знала, ни чего хочет, ни кого выбрать, и своими легкими ножками безжалостно топтала сердца всех пятерых. Они страдали от ее невинной таинственности. Она же заставляла себе поклоняться исключительно из любопытства, далеко еще не искушенная в намеренном кокетстве. Для Германа она — «крошка Лулу» за ее маленький рост, правильный овал лица и красивую линию бедер. Это невероятно, но желавший польстить ей поэт выглядел нелепо. Он поклонялся ее красоте, кидался на колени, бормотал бессмыслицу, сочинял дурные стихи наперегонки со своим другом Финком. Людвиг, более агрессивный, чем Герман, и торопящийся выразить свой пыл не только поэтически, опередил друга. Спустя десять дней тот бежал в Кальв и в письмах принялся изливать свое исступление. *«Я* обвиняю вас в том, что вы лишили меня покоя, я вас обвиняю, потому что вы меня истязаете. Вы не представляете, какие мучения ревности я испытываю…» Далее на протяжении двух страниц следуют восклицания в том же духе: «Вы — моя принцесса, сокровище моих грез… моя прекрасная дама, любимая… моя королева… моя мучительная страсть. Ради Бога! Примите меня как вашего раба. Вы властны распоряжаться мной как героем или шутом». В том же тоне он умолял Юлию принять чудачества влюбленного, который счастлив быть с ней знакомым, и проклинает разлуку. В этой путанице торжественной манерности и абсурдных признаний он упрямо придает себе черты трагического любовника. Он пишет в постскриптуме: «Отложив в сторону эти строки, я подумал, что они ужасно глупые. Однако я их вам отправляю. Разум отказывает мне, когда мной владеет мысль о вас…»

Несколько недель Герман настойчиво просил Лулу выслать свой портрет, отправил ей цветы, стихи, где представил себя сумасшедшим и рабом, в рубище, с шутовскими бубенчиками, предающимся на волю своей госпоже. Юлия осталась холодна. Нимфа не пришлет ни писем, ни фотографий, ни даже почтовой открытки и не поблагодарит за цветы. Последнее настойчивое письмо, украшенное восьмистишием, она удостоила банальным ответом, будто страницы, исписанные пламенным воздыхателем, содержали какую-то деловую информацию. Позже он узнал о печальном конце ее любовных историй. Маленькая принцесса из Киршхайма вызвала неудовольствие и преследования жены

трактирщика, которая устала от ее выходок. «Каналья, злюка, ревнующая к успехам молодой девушки», — будут утверждать последние воздыхатели. Фабер, открыв объятия растерявшемуся ребенку, никак не мог опомниться от счастья: «Мы подошли друг к другу, моя маленькая девочка и я. Мы желали тех коротких часов, когда могли друг друга обнять… Я должен был бы ее увезти!..» Но он этого не сделал — ни он, ни никто из друзей. Преследуемая вздорной трактирщицей, обиженная, притесняемая нежная принцесса была изгнана со своей сестричкой Софьей из Киршхайма.

Можно улыбнуться этой истории и подумать, что мимолетное и банальное приключение осталось в памяти Германа незначительным эпизодом. Ничего подобного: благодаря этой женщине он постиг тайну эротизма. Его воображение рисовало тело Юлии, пробуждая вожделение. Плотские желания — это грех! Пухленькая субретка, то прилегшая на траву, то умирающая с голоду во время еды, то расшнуровывающая свой корсаж в жаркие дни, вызвала в нем фантасмагорию сладострастия, которая однажды оживет в его творчестве.

В Базель Гессе приезжает 10 сентября 1899 года. Герр Рейх ждет его на пороге нового магазина. Это приветливый респектабельный швейцарец, женатый на уроженке Берна. Если Герман и разочарован порученными ему обязанностями — доставка газет, контроль за кассой, — то доволен окружающим покоем, своими пятью коллегами, пансионом в десяти минутах ходьбы от магазина. Он совершенствует французский, которому его когда-то учила Марулла и который ему необходим почти настолько же, насколько и немецкий, для общения с клиентами. Он меняется на глазах, успокоенный высокими городскими мостами, фонтанами, готической архитектурой и тысячей колоколен, устремленных к небу. Он отказался от своей ивовой тросточки, соломенной шляпы и фрака молодого сноба, спрыгнувшего на рейнский берег, как запыхавшийся путешественник на платформу долгожданного вокзала.

Базель стал для него впоследствии не только воспоминанием о молодости, но, как Амстердам, Прага, Вена или Рим, символом эстетизма и тайной мистики. Здесь соседствовали грузовые суда и церкви, величественные в своем священном спокойствии. Соборы, представлявшие собой произведения искусства, и сотня музеев ожидали своих посетителей. На их скамьях он провел не один час, созерцая собранные в них шедевры. В самом сердце городских святынь человек чувствовал себя ничтожной песчинкой в шумной толпе, среди ярко освещенных кафе и городских огней. На улицах не было валяющихся бродяг, нищих, просящих

подаяния. Здесь ходили погруженные в задумчивость профессора, чопорные клерки и благородные образованные буржуа. Доктора и философы принимали у себя интеллектуалов-космополитов, а их потомство благополучно росло за надежными решетками частных владений.

В Германе периода Базеля, — укутанном в теплое шерстяное пальто, с непокрытой головой, с гладко выбритым подбородком, в начищенных ботинках, — нельзя было узнать тюбингенского оборванца, стенающего в одиночестве, еще меньше он напоминал помешанного от любви. Новоиспеченный служащий книжного магазина держится просто и мило. Он гуляет по городу, ступая на старинные камни мостовых, спускаясь по мраморным лестницам к переливающемуся на солнце Рейну. Он ищет общества историков и исследователей, архивистов и ученых, причастных к тайнам древности. Губеры, Гуене, старые друзья его родителей, относятся к нему как к сыну. Доктор Рудольф Васкернагель, «коренной житель Базеля, немного чопорный и подозрительный по отношению к иностранцам», радушно открывает перед ним двери своего дома. Едва он покидает fcopor его жилища в Брунгасслейн, одной из улочек старого города, как его приглашает сам герр Рейх к себе в Риен, расположенный в нескольких километрах от центра. Он заходит на чай к профессору Метзгеру, проводит вечера у Ларошей, которые знали его шестилетним мальчиком, когда Мария Гессе, молодая жена пастора, водила сына в школу. Наконец, Герман наслаждается обществом француза, пастора Барта, своего соседа по столу в пансионе. «Я был поражен его полновесной риторикой, артистичной и пламенной», — вспоминал он.

Уча французский, Герман старается вслушаться в торжественное и элегантное звучание произнесенной на нем речи. Он каждый день читает «Нувель женевуаз», сборник «Красноречие на французском», посещает католические службы. Он проводит исполненный наслаждения вечер на концерте, где его пленяет блистательное искусство латинянина Сарасате. Его восхищают Флоренция и культура Ренессанса, которую он открыл для себя по трудам недавно умершего профессора из Базеля Якоба Буркхардта. Ницше увидел в нем «одного из редких ученых в Германии того времени», и Гессе готов, в свою очередь, черпать из этого источника. Он мерит шагами музейные залы, чтобы насытиться созерцанием греческих статуй и романских колонн и представить Италию по полотнам Бёклина. Этот базельский художник опьяняет его живыми красками, мифологизмом и мистической символикой.

Елене Войт-Диедерих он пишет: «Все меня тянет к Италии и

Парижу». Она понимает, что никогда не увидит Германа, и поэтому грустит. Теперь она мама маленького Рута, которому всего несколько месяцев. Но интерес друга-поэта к работе ее мужа заставляет Елену поддерживать оживленную и любезную переписку, одной из центральных тем которой стала проблема единства в трактовке Новалиса: «Высший мир гораздо ближе к нам, чем мы могли бы предположить. Мы уже живем в нем и воспринимаем его тесно связанным с нашей земной природой».

Гессе отправился по мистическому пути самовоплощения, и чувствительная Елена слышит эхо его шагов. «Я прошу мою подругу, пишет он, посвящая ей свою книгу, — внимательно всмотреться в этот труд. Он относится к грустному и романтичному периоду поздней юности. Он хранит в себе болезненные тени. Искренность в значительной мере компенсирует недостатки этого произведения. Моя юность видна здесь будто сквозь легкий флер, полная несчастья и страдания. Она улыбается сквозь слезы и просит почтения и любви». От этих откровенных признаний Елена могла ожидать всего, чего угодно. Но букет «с распустившимися наперстянками и васильками», который он отправил ей в Лейпциг, был лишь знаком дружбы.

Удивительно, как подробно и точно Гессе информирует эту женщину о своей базельской жизни: в театре он видел «Жизнь есть сон» Кальдерона, на концерте слушал анданте Гайдна. Он рассказывает ей о своем режиме дня, об одолевающих его мигренях, об опасном горячем ветре фене, который дует над ледяными кварталами города, о своем безрадостном ремесле, о намерении отправиться в Хайльбронн на свадьбу брата Карла, «уверенный, что сможет там поухаживать за его хорошенькими свояченицами». Гессе пишет Елене длинные письма, в то время как Мария терзается в Кальве из-за молчания сына: он не прислушивается к ее голосу, которым с ним говорит Бог. Ее слова ему чужды, их содержание для него безжизненно и не может тронуть. Елена для него — наперсница несчастий и надежд: «С вами, благодаря тому, что мы не знаем друг друга, меня связывают мгновения мимолетных откровений. Когда мое внимание привлекает какая-то песня, картина, пейзаж, я думаю о вас, потому что мы друг друга хорошо понимаем…»

Война с бурами, которая принесла в Германию ветер разнузданной англофобии, не оставила равнодушными и швейцарцев. Порочные кружева французского канкана вызывают в Базеле 1900 года пуританское негодование в адрес Парижа. Скауты и нудистские клубы борются за благонравие, объединенные порывом к моральной и физической чистоте, видя, впрочем, различные пути ее достижения. В спортивных школах

будущих чемпионов кормят медом и молоком и проповедуют эсперанто во имя мира. Все кварталы Базеля освещены теперь газовыми рожками. Из Кальва Мария пишет сыну, что маленький городок Шварцвальда вскоре тоже последует этому примеру, однако улицы, разрытые для проведения подземных коммуникаций, ее удручают.

Герман остается от всего этого в стороне, молчит и размышляет. Ему необходим иной свет, и революции газовых рожков ему недостаточно. В стороне от сверкающего века он предпочел бы блестеть, подобно озеру, в глубинах его сознания не брезжит еще заря бескорыстной любви. Но он готов уже ощутить неуловимо близкое присутствие незнакомца, наделенного голосом, лицом со щеками, мокрыми от его слез, и грудью, вздрагивающей от его шуток. Это его двойник, и Гессе следит за ним взглядом охотника. Он дает ему имя Лаушер: «тот, кто слушает…» У них одни мускулы, вены, одна энергия, а при общении каждый раз возникает подлинная нежность. Это удвоение порождает удивительное восприятие каждого звука, светового блика, возгласа, движения. Все в них обоих смеется или плачет, как в те мгновения в Тюбингене, когда поэт искал себя-другого: то «его», то «себя», некую сущность, появление которой он предчувствовал уже тогда.

Анализируя себя, свое прошлое, Гессе пристально внимателен к деталям, жадно ловит запах, вкус, самую сущность, обращая сознание к деструктивным проявлениям своего детства. Вспоминая себя в три года, он вновь переживает состояние, когда его беззаботный молодой дядя высоко поднимал его над землей, ощущает радость первых дней пребывания в Базеле. Он ждет, когда нахлынут другие воспоминания, чтобы броситься в сияющий поток и грести им навстречу. Он искренне набожен по отношению к жизни, к миру, к своим несчастным родителям: *«Я* вижу высокую и худую фигуру отца, который идет вытянувшись, очень прямо, откинув назад голову, при свете заката, со шляпой в левой руке. Моя мать тихонько семенит, склонив голову, мелкими шажками, медленно, накинув на плечи белую шаль. Их силуэты мерцают на фоне ржи, колышущейся ровными волнами… Я не знаю картин из жизни или живописных изображений, которые казались бы мне более прекрасными с точки зрения изысканности линий и богатства красок и которые были бы мне так дороги, как эти благородные персонажи, идущие между колосьями на фоне пылающего горизонта, в молчании, в царственной прелести этого мгновения»83. Он ощущает в себе эмоции, существование которых раньше игнорировал, и идет в мир с осознанием собственного «я», своей чувствительной

натуры, будто бросаясь в пылающий огонь.

В августе 1900 года Герман отправил Елене и ее мужу новую рукопись под названием «Принцесса Лилия» со следующими словами: «Пожалуйста, прочтите этот текст и выскажите свое мнение, это опыт пережитого». Было понятно, что за Германом Лаушером скрывается образ самого Гессе. Этот ребенок из Кальва, который крал фрукты и лгал и которого приговорили сначала к Маульбронну, а потом к Штеттену, этот влюбленный, который мысленно владел всеми женскими сердцами и дрожал перед реальной женщиной, стал творцом, черпающим в глубинах своего сознания странные символы.

Принцесса Лилия — призрак Лулу из Киршхайма — сопровождает Германа к тайнам его детства. Ирреальная и восхитительная субретка окажется, сама того не подозревая, причастной мифу. Чтобы услышать, как она плачет среди абсурдных смешков и фривольных фраз под взглядом четы Мюллер и товарищей из «Птисенакль», нужно лишь перечитать прозу Гессе. Флирт породил великолепную феерию. Способный отныне одновременно преследовать призраки дня и ночи, поэт обуздывает их, подчиняет своим творческим целям. Сознательное и бессознательное имеют одни корни. Лулу-Лилия излучает чувственность и жар, нежность и месть. Поэт старается сорвать маску с этой женщины-феи, но она оказывается двуликой. Он делает ставку на этот легкий силуэт, оживляя его чудодейственной алхимией своей фантазии. Вокруг женщины-цветка все человечество будет скрежетать зубами. Короли, простые крестьяне и вместе с ними жители Киршхайма, трактирщик, молодые люди из литературного кружка плачут, гримасничают, вздыхают, смеются.

Фантастическая двойственность образа волнует Елену, которая не в силах сдержать слез. Она размышляет о Лулу, Элизе, Марии, Гертруде и Евгении Кольб — обо всех реальных и вымышленных женщинах, которым поэт расточает тысячи признаний, приносит тысячи извинений, сопровождаемых томительными вздохами. Она сама для него в какой-то мере призрак: ее лицо скрыто сумерками, а душа обнажена. Она лишь зажгла звезды в душе Германа, ни разу не вкусившего ее плоти. Она так желала его: не она ли написала ему первая? Отправила ему соблазнительный портрет? Умоляла его при сиянии белоснежного пейзажа в звенящих порывах смеющегося ветра? Почему он, вопреки всему и несмотря ни на что, не устремился к ней навстречу, к той, которая рискнула, уже будучи помолвленной, назначить ему в Лейпциге свидание, на которое он не пришел? Он отвечал на ее приглашения бесполезными

сожалениями и шепотками, приложив к губам тонкий палец интеллектуала, остерегаясь, быть может, предаться любовным радостям в полной мере.

Эжен Диедерих, конечно, не опубликует новое произведение Германа. Обжегшись на «Часе после полуночи», не снискавшем большого успеха, он пренебрежительно отнесется к новому созданию безумца. Елена не станет больше играть роль советчицы в угоду своему странному другу. Она останется для него чем-то красивым, элегическим и таинственным: не настоящей женщиной, а образом женщины, предназначенным если не к забвению, то к неизбежному исчезновению. Время похоронило эту тень, а их переписка долго еще неизвестно почему вилась в песках текущих лет.

Еще не успели увять подснежники, а Герман уже вдыхал новые запахи. Весной 1900 года он предчувствовал новую любовь. «Я стремлюсь с томлением к страсти, пронзительной и безумной, которая через возбуждение и неудовлетворенность превратится в фатальность». На берегах Рейна, на высокогорных пастбищах, где еще не звенят колокольчики стад, он спрашивает себя, откуда возникло это предчувствие — из глубин его инстинктов, или оно порождено амбициями его эстетизма. Придя на музыкальный вечер к Ларошам и увидев среди фраков и вечерних туалетов мадемуазель Ларош, он сказал себе: «Это она!» Из стройной девушки, подошедшей к нему, он тут же создал поэтический образ и наделил его, как это обыкновенно проделывал, если что-то его слишком волновало, — особенным именем. Ему показалось, что «Элизабет» вполне согласуется с тем чувством приятного легкого опьянения, которое им владело.

Ее действительно звали Элизабет. Сама изысканность: пепельные волосы, платье пастельного оттенка, мимолетная улыбка — она вся дышала утонченностью. *«Я* должен сказать, что одной линии ее профиля достаточно, чтобы объяснить ту силу притяжения, которую я к ней испытывал». Он хотел обладать этой красотой «как шедевром». Эта женщина затмила всех его призраков. Неисправимый воздыхатель чувствует, как замирает его сердце, слышит пение ангелов. Неужели это наконец она, та, которую он ждет, — не просто подруга, а жена? Она с чувством исполнила в этот вечер «Крейцерову сонату» вместе с самым известным базельским скрипачом доктором Бернулли. Когда огни погасли и приглашенные разъехались, Герман под властью еще звучавшей в нем музыки думал: «Эта душа моя говорит мне на гармоничном языке родины, а мы с Элизабет ее неприкаянные дети…»

Элизабет была четвертым ребенком пастора и мадам

ЛарошСтокмейер и принадлежала к одной из самых почтенных фамилий базельской аристократии. Еще маленькой девочкой она встречала Германа, когда Иоганнес и Мария жили в Базеле на Мюллервег и проводили каникулы на Рехтенберг. Встреча с ним на одном из зимних приемов не произвела на нее особенного впечатления. С весны Герман не прерывает своих ухаживаний: «На Элизабет было новое летнее платье, бледно-бледно голубое. Она качалась на качелях, словно прекрасная птица, которая осознает свою прелесть!» Мария Ларош, старшая сестра Элизабет, нарисовала их угольным карандашом: он, замкнутый, немного даже суровый, насупившийся, в очках, и она с высоким лбом, на котором отчетливо видны безукоризненной формы брови, и зачесанными, как у танцовщицы, назад волосами. Она в самом деле хотела стать танцовщицей, мечтала создавать хореографические композиции, жить среди музыки, путешествовать.

Жизнь поймала Германа на слове: непокорная и внутренне одинокая Элизабет принадлежала, как и он, потерянной родине, но предпочитала искать ее одна. Когда Герман признался ей в своих чувствах и попросил ее руки, она его ласково оттолкнула: «Мы жертвуем нашей свободой под принуждением, которого сами властны избежать». Замужество она относила к разряду таких «принуждений». Нужно ли было настаивать? Может, он должен был «преследовать молодую девушку с алым знаменем страсти в руках»? Отказ Элизабет не вызвал в нем чувств, похожих на ярость. Быть может, он ее действительно любил. Она принесла ему то внутреннее удовлетворение, которого он так желал. Он мог бы встретить ее после периода напрасных мечтаний, чувственного вожделения и восхитился бы ее молчанием так же, как восхитился бы ее ощущением музыки. Никогда еще женщина настолько его не волновала. Никогда ни одна еще не несла в себе столько легкости и не вызывала в его душе такую тяжесть. На земле больше не было дисгармонии: существовала Элизабет.

Первая весна наступившего века будит в нем сильное чувство жизни, «настоящей жизни, безмолвное и упорное, исполненное счастья и нежности восприятие мира». Герман Лаушер бросается заклинать девственные страницы, а Герман Гессе веселится с архитектором Дженноном: «Мы организовали несколько пирушек по окрестным деревням и виноградникам Эльзаса в области Бад». Обойдя рыбный рынок, они заходят в кабачки, где пробуют одно вино за другим. В Германе просыпается вкус к мягкому опьянению. «В Швейцарии, — пишет он, — все стремятся оставаться трезвыми. У Васкернагелей и в других домах непрерывно говорят о трезвом образе жизни и потчуют меня чаем,

от которого я настойчиво отказываюсь совершенно сознательно… Уже два года, как я не пью пива из эстетических соображений… потому что в Тюбингене я с отвращением вкусил последствия этого порока, но хорошее вино, которое пьешь изредка, слишком изысканно, чтобы я мог от него отказаться…» Возвратившись в Базель, Гессе и его друг строят планы на будущее. Дженнон — чувствительный и артистичный, ценит Германа, но «часто относится к нему как к слабому ребенку, которого сложно понять». Необыкновенно гордый своим новым шедевром — зданием ратуши из тесаных камней, опоясанным бульварами, он смеется над товарищем, озабоченным будущим больших агломераций, которым угрожает месть отторгнутого леса. В доме № 21 по Гольбейнштрассе пьют, разговаривают, рисуют ночи напролет. Такая атмосфера совсем не располагает к сосредоточенности, и Герман однажды осознает это совершенно отчетливо: «Писать здесь не годится!»

Вначале он переезжает в маленькую тихую комнатку на Мостаскерштрассе, где симпатизирующая ему соседка возьмет на себя хозяйственные заботы. Он надеется, что мемуары его Лаушера вскоре увидят свет. Работа приближается к концу, и это благодаря Элизабет, которой он не перестает повторять, что она — его последняя любовь. Элизабет изменила того, кто тратил свою юность на иссушающую тоску, обратила на себя его экстравагантные чувственные фантазии, в которых женщина являлась ему неизменно как утонченно гибкое создание в чем-то белом и длинном. Эта девушка могла, как простая крестьянка, гулять ночью, уверенно ступая по сельской дороге. Ее можно было представить грубой, напоминающей статуи Девы Марии, с мощными бедрами, сильной, как первородная Ева, как его мать Мария Гундерт, когда она держала его на коленях или смеялась над его проказами. Когда Элизабет несколько месяцев спустя отправится в Англию как компаньонка, потом как учительница музыки и, наконец, как гувернантка в великосветском английским семействе, Герман напишет ей:

Ты так спокойна и прекрасна,
В сиянье облака атласном…

Она стала для него живым источником, желанием, тайной, она никогда не покинет приют его души. «Пусть ты будешь зваться Элиза, Лилия, Мария, Элеонора, не важно! Теперь ты навсегда Беатриче». Беатриче дала миру Данте — Элизабет помогла явиться Гессе. Образ Марии олицетворял для него очарование любовницы, надежность подруги, любовь матери. Но

Мария всегда оставалась где-то над ним, а Элизабет постоянно была рядом.

«Сочинения и стихотворения Германа Лаушера, опубликованные посмертно Германом Гессе» произвели в Базеле фурор. Книга вышла осенью 1901 года в издательстве Рейха небольшим тиражом. В ней было запечатлено детство писателя. Оно бежало за ним по пятам, отражаясь в вымышленном городке с чертами и Базеля, и Кальва, мелькая в пригороде, напоминавшем не то Шварцвальд, не то зеленые луга близ Шан де Тир. Оно скользило по склонам, усеянным колокольчиками, среди мелькания света и теней пробегающих облаков, обретая ясную форму воспоминания в суровом и добром взгляде Иоганнеса и засыпая под колыбельную нежного голоса Марии. Он рос, решал больше не лгать, разражался безумным хохотом, представлял, как еще младенцем лежит в кроватке, видел «являвшихся ему ближе к вечеру фантастических существ, гениев с завязанными глазами, трубочистов, вымазанных сажей, сомнамбул с четко очерченными силуэтами». Лаушер срывал маску с боязливого херувима, который оказывается перед выбором между черным и белым, между Люцифером и Габриэлем, нежностью и мраком, преступлением и глупостью. Юноша познал день, когда было легче покончить с собой, чем выжить!

Марию по-прежнему тревожит свободомыслие сына. При свете свечей новогодней елки она так и не открыла «Мемуары» Бисмарка, которые подарил ей он, читавший, по ее мнению, исключительно отвратительные книги. Ей подозрителен герр Дженнон, напоминающий настоящего монстра, еще более нечестивого, чем прежние дружки Германа по «Пти сенакль». Она умоляет его: «Дитя мое, стремись к тому, что действительно достойно, избегай греха! Мир погряз в пороке, искушение зла велико. Нужно, чтобы воля твоя была непоколебима… Что поделаешь, я не могу спать, когда думаю о тебе». Герман возражает: «Я не могу тебе ничего ответить, мама. Все сумеречное, что тревожит меня в глубине души, чем я терзаюсь во время бессонных ночей, может мучить в равной мере и верующего, и неверующего». Он предостерегает ее от напрасных уговоров: «Я не из тех, кого трогает колокольный звон», — и проявляет искренность, которая разрывает родителям сердце: «Я скажу честно, что, несмотря на все мое глубочайшее уважение к вере… определенный дух религиозности мне если не омерзителен, то, по крайней мере, совершенно чужд, абсолютно непонятен…»

В Кальве, увидев мать среди псалтырей, в шерстяной шали, он упадет к ее ногам и рыдания поднимутся в нем, стесняя

дыхание. Поймет ли она его когда-нибудь? «Для меня конечная цель — это красота; искусство, если хотите. Я действительно пришел к своего рода вере в Бога, к вере в существующий миропорядок, потому смысл и форма религии для меня непонятны, лишены благородства… Почему сознание Лютера аристократичнее внутреннего мира язычника Тициана, понять я не могу; у одного есть пламенность, величие, но нет изысканности; другой — выскочка в своей мысли, в своем искусстве, в своей жизни, в гармонии и ее воплощении, таком, о котором Лютеру даже не хватило бы утонченности подумать».

Капля за каплей убегают часы. Протестантский новый год с ночными библейскими чтениями собирает всех вокруг органа. Братское единство. Сдвигаются стулья, слышен шепоток: ни Марулла, ни Адель никак не выйдут замуж. Ганс, который должен вот-вот уехать в библиотеку миссии, страдает нервными приступами. Иоганнес и Мария отпраздновали недавно свою серебряную свадьбу. Герман, хвала Господу, не будет служить в армии: его признали непригодным из-за болезни сердца, легких и глаз. Его близорукость стремительно прогрессирует, он совсем плохо видит без очков. Очки придают его облику значимость, что особенно важно, когда он в семье.

Герман не очень любит новогодние праздники. В это время обостряются его хронические заболевания, и на ум приходит отчетливое, хотя и гипотетическое, пожелание: «Чтобы этот несчастный еврей не явился тысячу девятьсот лет назад!» После тяжелых недель работы в магазине ему невыносимы домашние обязанности и прежде всего утомительное выказывание набожности перед матерью. Великая пиетистка стесняла его свободу. Самая таинственная и самая священная из всех женщин требовала все более строгого поклонения своей вере. Олицетворяя догматизм, она шла навстречу своей мечте, и сын не мог на нее влиять, она же, напротив, еще пыталась как-то на него воздействовать. «Она берет мое сердце в свои руки, вынимает его из груди и опустошает меня, она соблазнила меня на смерть, и вот вместе со мной умирает моя мечта… образ великой праматери Евы»84. Она на него давит. Целует, сжимает в объятиях, душит. Поэтому у Германа Лаушера на руках кровь — так хочет он оторваться от этих неприличных священных ласк. И все заканчивается драмой: в Тюбингене у реки нашли труп с разбитой головой, завернутый в редингот, какие носят служащие. Погибшего звали Елендерле*. «О-ла-ла! — прокричал кто-то, смеясь. — Вот кто не страдает бессонницей!» Но, когда труп подняли, чтото стукнуло о землю. Это был револьвер. И тогда все заметили на виске человека маленькую черную дырочку от раны.

Тут же в городе пробежал слух: «Покончил с собой студент!»

Герман может смотреть Марии прямо в глаза: Елендерле — это он. Этого ребенка, страдавшего мигренями, проблемами подросткового периода, приступами безумия и пьянством, больше не было. Несчастный действительно умер. Вода плещется о камни набережной, и никому ни до чего нет дела. Остается лишь один человек, глаза которого блистают и от которого Мария неумолимо удаляется, будто река зовет его к своему истоку вместо матери.

Еще 25 августа Мария увидела странный сон: «Я переезжала в новый дом с очень узкими комнатами… и там увидела моего любимого отца… Он пил целебную минеральную воду. Я воскликнула: „Я тоже буду с тобой“… Раз здесь блаженные духом, я не боюсь». Знала ли она, что ступила на дорогу смерти? Она страдала от болей в позвоночнике, у нее развилась болезнь почек. В ее лице читается тоска, она перестала регулярно вести дневник, иногда только записывает стихи или молитвы в стихах:

> Однажды придет день, когда я перестану страдать. О, счастливый день!.. потом я вечно буду пребывать в добром здравии…

Она не хочет покидать Иоганнеса, но торопится снабдить его инструкциями по содержанию дома и ведению хозяйства, радуется его хорошему самочувствию. Иоганнес у изголовья жены редактирует рукопись, содержащую двести рассказов о деятельности миссии, которую издательство Штутгарта предложило напечатать под названием «Язычники и мы». В Кальве все обсуждают болезнь пасторской жены и деятельный энтузиазм еще так недавно слабого и болезненного Иоганнеса. Мария улыбается сквозь страдания. Она видит Гундерта, горячо произносящего проповедь перед язычниками. Вспоминает свою мать Юлию, маленькую, увлеченную, в центре сидящих по кругу индусов с бамбуковыми палками в руках, в соломенных шляпах, и Гозианну среди пальм. И как все молились, стоя босиком на грубом полу: казалось, Всевышний совсем рядом! Все обращались друг к другу на ты, словно братья, и все сердца дышали единством. И вот появилась паршивая овца — «индивидуальность». Герман равнодушен к Тайной вечере, и миссионерские устремления ему чужды…

Гессе покинул родителей с обещанием вскоре опять приехать. Его удручала их старость, но он не считал нужным оставаться подле них. Приход 1901 года совпал для него с ощущением большой интеллектуальной свободы и физического удовольствия, которое он испытывал благодаря своей независимости и жажде

жизни. Лето этого года принесло ему много новых эмоций, когда он вышел на дорогу с засученными рукавами и тирольской песней на устах. «Не знаю, рассказывать ли вам о Берне, — написал он родителям по возвращении, будто оправдываясь за свое отсутствие, — рассказать ли вам об этом старинном каменном городе с его корпоративными домами и прекрасными фонтанами?» Люцерна и ее озеро поразили его своим величием. Альпийская природа вызывала у него восторг, Базель продолжал его удивлять: «Красота природы близ Базеля имеет для меня огромное значение. Час — и я в самой глубине Шварцвальда, два часа — и я наслаждаюсь спокойствием и прелестью девственной Швейцарии». На Аксенштрассе, самой красивой дороге Сен-Готарда, над озером Ури он «среди разлитого по поляне солнечного света собирал фиалки и горечавки, удивляя маленького пастушка, растянувшегося на траве среди своих коз и напевавшего что-то по-тирольски». Все дышало красотой и свежестью, блистало всевозможными красками.

Герман возвращается в Люцерну, чтобы присутствовать на регате. Ночью он пьет на террасе вино, дожидаясь утра, чтобы отправиться в горы к часовне Вильгельма Телля. Потом взбирается еще выше, почти до самых снежных полей, и проводит там день с капуцинами из монастыря. Природа опьяняет его, он наслаждается одиночеством и самосозерцанием. «У меня целое жемчужное ожерелье таких вечеров, горячих, освещенных отблесками уходящего солнца, — есть посвященные пению, есть посвященные молчанию, наполненные запахом жасмина и липового цвета… вечера на берегу сверкающего Рейна, вечера на озере Четырех Кантонов, где я с удовольствием катался на лодке и проводил время, болтая с девушками из Люцерны». Он купается, ест, ловит рыбу, спит сном праведника, ходит, едва одетый, изучает местный диалект, но большую часть времени, «десять часов в день, проводит в лодке, то качаясь на воде под ярким солнцем, то причаливая под сенью прибрежных деревьев в какой-нибудь из бухт». Вечером, устав, он открывает Платона, устроившись у горящей лампы, и обращается к великолепным страницам «Пира». Хватит ли жизни, чтобы постичь суть вещей? *«Я* не знаю, чувствовало ли когда-нибудь человеческое существо с такой нежностью и горечью, так пьяняще и с такой безнадежностью: „Ars longa, vita brevis“» — «о, Господи! Насколько вечно искусство и коротка жизнь», — написал он своему другу Эберхарду Гоесу 1 сентября 1900 года.

От двадцатого века Гессе ожидает многого! Первые зори 1901 года пробиваются сквозь звезды над Рейном и заснеженными Альпами. Свет застает писателя в мансарде, где он сверяет счета,

недоедает, экономит бумагу, бережет свой лучший костюм. Решив сменить место работы, он попросил у герра Рейха отпуск, а с 1 августа будет работать у букиниста герра Ваттенвиля. Его мало беспокоит бедность: «Моя внутренняя жизнь и мои литературные занятия имеют для меня настолько большую ценность, что я вполне в силах переносить бытовые трудности, в принципе, весьма стесняющие. У меня еще не было года настолько плодотворного в смысле идей, внутренних открытий, понимания прошлого».

Впереди пять-шесть месяцев свободы, которая кружит ему голову, и только одно тревожит его сейчас — то, о чем писал ему брат Карл еще в декабре 1900 года, прочтя «Германа Лаушера»: «Действительно ли Лаушер умер?» Нет, он жив и по-прежнему наблюдает за тем, что происходит на свете; что-то вызывает у него желание сказать колкость, что-то забавляет. «Люди милы, любезны, скучны, чопорны и в конце концов радуются всему, что заставляет их смеяться или думать» — так выражается бродяга, который возвращается, чтобы слушать. У него зеленые глаза, хищный вырез ноздрей, требовательное сердце: «Честно говоря, я не такой уж нелюдим, — говорит он. — Я люблю общаться с детьми, крестьянами, моряками, люблю пить в тавернах, где собираются матросы. Но я испытываю ужас перед местами, куда нужно являться в перчатках и с неизменной любезностью на устах».

Герман Гессе продолжает играть в бильярд по воскресеньям, слушать у фонтанов шум воды, плещущейся о камни, старательно бриться, делая гладким свое вытянутое лицо. Но он чувствует себя попрежнему Германом Лаушером, с его сознанием, с его душой, с его юношескими выходками, с его долгим криком, подобным крику птицы, и усмешкой Моцарта: «О! Как рассмеялся этот жуткий собеседник, каким холодным и призрачным, беззвучным и в то же время всеразрушающимсмехом!»85.

Два Германа так и будут жить один в другом, с двумя сердцами в одной груди, смеясь и плача одновременно. Мария едва узнала сына, когда он приехал в санях 2 марта 1901 по еще хранившей снег кальвской дороге…

Как и обещал, он вернулся к ней. Он уютно устроился в нижней комнате, разбирает для отца периодику и играет в бильярд после еды в трактире «Кор де Шас». Ей кажется, что он очень худ, но способен нравиться, — он смотрит, как она медленно движется по дому, готовит еду домашним животным или, сидя возле окна, вскрывает конверт вязальной спицей. В один из солнечных дней она отправляется к Тео в Эдлинген и по возвращении восклицает: «Как я счастлива видеть своих детей и

внуков!..» Но ноги опять ей отказывают, она быстро устает. Не станет ли поездка в Эдлинген последней в ее жизни? Адель все время рядом с ней, Марулла после лекций приходит ее повидать, Ганс, служащий в библиотеке миссии в Базеле, проводит свой отпуск у ее изголовья. Герман изучает итальянский. Он хорошо на нем говорит, с какой-то радостной алчностью, будто ему до сего момента недоставало чего-то очень важного. Он снимает очки и близоруко щурится на мать. Что он видит? Умирающую женщину? Величественные пространства Альп? Быть может, он представляет, как, пересекая итальянскую границу, будет в мыслях возвращаться к Марии, этой таинственной женщине — его матери, которая удерживает его сейчас у своего изголовья. Мария умрет? Возможность этого Герман отвергает. Его сердце сжимается от страха и боли. Скрип двери — и он убегает из Кальва, из этого сада, от холодного Нагольда. Его манит Италия. Он бежит к голубому небу жаркого юга. Там его ждут фонтаны, нашептывающие детские воспоминания. Земля песков и кипарисов под ясным небом даст ему силы.

От путешествия Гессе в Италию в конце марта 1901 года остались заметки, где больше впечатлений, чем фактов. Он не был разочарован. Из мчащегося поезда были видны удивительно красивые деревеньки, и пейзаж все более и более напоминал книжку с картинками. Каменные мосты с красивыми арками пересекали речки и коричневые скалы, огороженные виноградники, придорожные папоротники, высокие колокольни. Он ощущает себя паломником: Миланский собор при лунном свете, суда в голубоватой дымке, цветущие абрикосовые деревья, павлины, распускающие хвосты, фуникулеры над городами, балконы, усаженные глициниями. Он снимает во Флоренции комнату, выходящую окнами на Пьяццу. Люди кажутся ему приятными. Камни, ветви и листва, каждая тень благословляют земное существование. «Знаете ли вы, как прекрасна весенняя природа во Флоренции, когда на Виале начинают распускаться розы, фруктовые деревья зацветают на холмах, когда нарциссы и примулы покрывают землю золотом? Как прекрасны дни, когда первые лучи солнца проникают в тень кипарисов, заставляя их светиться! И жаркие полуденные часы в апреле, когда деревья по краям тропинок пылают в солнечном свете. Блестит и переливается под ногами земля…»

Герман думает о Якобе Буркхардте, который восхищался парками и римскими театрами, о Бёклине, присевшем на сухую траву во Фьезоле и окунающем кисть в берлинскую лазурь неба, в сиреневый оттенок электрического света, в зелень лианы. Он бродит, словно легкомысленный Лоренцо Великолепный или

смиренный святой Франциск, по горячим улицам, среди плетельщиков соломенной мебели и цыган, тележек бродячих торговцев и их временных жилищ, где играют белокурые дети. Он общается с природой, как святой: «Земля казалась мне сладостной, а человеческая жизнь — самым простым способом достичь блаженства». Однажды он склонился над анемонами, протянул руки к их нежным венчикам и заговорил с ними, как брат: «Они голубые, красные, белые, желтые, лиловые. У них большие круглые цветы, и они покрывают целые поля. Кажется, они в самом деле смеются!» Волшебное откровение! Вся земля принадлежит Герману. Он ощущает себя благодаря долгим страданиям причастившимся чуду мироздания: весь мир двигался для него длинной вереницей в Ноев ковчег.

В Венеции с колокольни Сан Джорджио Маджоре Гессе любуется морским горизонтом, панорамой города на воде, островами, лагуной этой вселенной неслыханных цветов, где «преобладает светло-голубой, который время от времени становится зеленоватым, никогда, однако, не приобретая глубины и ясности цвета морской лазури. Он больше напоминает оттенки цветного стекла или ограненного камня, например молочно-белого опала, цвет заметно приглушенный и тем не менее удивительно ясный, настолько, что кажется, будто он сам светится изнутри, переливаясь всеми цветами радуги…» Некоторые острова вдалеке кажутся ему загадочными, особенно южные в багровых тонах, «время от времени капельку посеребренные, будто после короткого ливня». И он прибавляет: «Мне необходимо открыть тайну…»

На следующий день, 4 мая, в тот же час он опять поднимается на колокольню. Освещение изменилось, появился лимонно-желтый, оттенки смешались. «Теперь здесь другая атмосфера, совсем другая красота, море — больше не море, свет отражается все слабее, песок темнеет, солнце подернуто легкой дымкой… Я все более и более убеждаюсь, что сам язык обладает созидательной силой. Я теперь знаю, что цвета Тициана, какими я их воспринял с первого взгляда в галерее Питти, на самом деле гораздо более глубоки и более трудны для восприятия… Будто выкрашенные золотом слова, белая и розовая Венеция, темноголубое море… — все это возможно лишь в искусстве, когда видимые и привычные вещи оказываются во власти созидающей красоты…»

Он приезжает в Мурано, чтобы посмотреть, как работают венецианские стеклодувы, создающие хрупкие и изысканные формы, и 8 мая, вернувшись в Венецию из Лидо, ощущает разочарование, будто буря сменила феерию в его душе: «Я

ошибался! Все цвета исчезли, голубой обесцветился до бледности, но прибой принес утонченную игру оттенков и бликов перламутра, сиявших на гребне каждой волны. И тут я понял, откуда Тинторетто и великий Паоло Веронезе извлекли загадочную и мягкую палитру света и тени».

И это открытие не исчезает в дымке наступающей ночи — оно обращает Гессе к экспериментам, в результате которых он сам чувствует себя внутренне совершенно обновленным. Это чуткое, восприимчивое к мельчайшим сияниям жизни понимание действительности — стиль его существования. Поэт обладает чувствительностью истинного художника. Лаушер видит в зеркале самосозерцания свою истинную сущность и чувствует ее власть над ним. Он ощущает в себе рождение новых форм, которые не хочет больше предавать. Вчера он нацеливал на эту удивительную жизнь дуло револьвера, а сегодня сверкающее зеркало убеждает его в возможности бессмертия…

У него загорелое лицо, он отдохнул, его записная книжка испещрена пометками и впечатлениями, чередующимися со списком расходов. В Базель он возвращается с пустыми карманами. Он заключает на шесть месяцев договор с герром Ваттенвилем с зарплатой сто франков в месяц. Сто франков — это почти ничто! Но букинист обещал «повышение», если юноша оправдает его надежды. Кроме того, Герман договорился о сотрудничестве с газетой «Базлер анзейгер»: он будет редактировать статьи с построчной оплатой. «Мне приходилось требовать свою зарплату, — вспоминал он. — Редактор, прищурив глаз, отдавал мне ее монета за монетой — сначала монетами по десять франков, потом по пять и ждал после каждой, уберу ли я руку. „Этого недостаточно?“ — спрашивал он. В конце концов он остановился на восьмидесяти франках, потому что касса была пуста. Я надеялся получить сто».

После итальянского путешествия Герман вскоре опять окунулся в прозу жизни. Денег не хватает. Мигрени усиливаются, в лавке букиниста его ждет каждое утро одна и та же работа. Базель теряет краски лето умирает. Гессе разочарованно движется по замкнутому кругу, неотвязно преследуемый мыслью о Ницше, умершем в Веймаре в августе 1900 года.

Осень 1901 года грустит на улицах, освещенных газовыми рожками, среди богатых домов. Герман встает рано, выпивает кружку молока и окунается вновь, как в Тюбингене, в череду однообразных дней, в монотонную смену недель, неотличимых друг от друга. Легкий на подъем юный венецианский турист, еще вчера сиявший, как ассизский святой, боится потеряться в тумане этого единообразия. На фоне уныния природы все болезни вновь

могут дать о себе знать, и это тоже его беспокоит. Он пишет: «Я на полдороге между состоянием героя и страдальца. После долгих месяцев отдыха, путешествия в Италию я вновь в Базеле, вдали от мира, и иначе я не чувствовал бы себя счастливым». Весь ноябрь его видят то идущим в бюро, то возвращающимся с работы, он покупает хлеб и яйца, тяжело опускается вечером на стул перед окном, не испытывая ни грусти, ни ярости, смутно надеясь, что этот сумеречный период принесет ему уверенность в будущем.

Поездка в Кальв в декабре 1901 года сразила его окончательно. Марии совсем плохо, она сильно похудела и почти не выходит из своей комнаты. В выражении ее обострившихся черт блещет еще энергия и нежность, смешанная с осуждением. Врачи считают, что ей осталось жить не более нескольких недель, но она не теряет ясности рассудка. Она молится, приводит в порядок счета, записывает время от времени в дневник короткие стоические изречения. Для ее сына это невыносимо. Он пристально смотрит на нее, следит за движениями ее ослабевших губ, падает в слезах перед ней на колени, в тоске обращая душу к воспоминаниям юности. Он ощущает боль, сильную судорогу, которая опустошает его сознание и заставляет глаза сверкать: «… Вдруг я услышал смех — смех, который я слышал только в детстве. Это был голос моей матери, низкий женский голос, полный страсти и любви».

Она умирала — и вместе с нею умирала мечта о «великой Еве материнства». Образ Марии сливался в его воображении с образом судьбы. Мать олицетворяла для него фатальность: в жизни он то бежал от нее, то возвращался к ней. Быть любимым или отвергнутым ею — у него не было другого выбора. Для белокурого мальчика из Кальва ад и рай продолжали бороться в узком коридоре родного дома. Присутствовать при угасании согбенной священным смирением матери, каждое слово которой ловит Иоганнес, значило для сына приблизительно то же, что самому испытать агонию. «Великолепно, — бормотала она, — если в конце жизни можно взглянуть назад. Гармония любви разрешает все противоречия». «Любовь?» — спрашивает себя Герман. Что такое любовь? Это свет, исходящий от умирающей, или пылающий во мне пьянящий восторг, заставляющий жить? Сын боится предсмертных мук матери, которые заставят его выть, — и бежит.

Первым поездом Гессе отправляется в Штутгарт. Замкнутый, не ощущающий ни холода, ни запахов Нагольда, ни благоухания самшита. Приехав в Базель, он погружается в одиночество.

Январь 1902 года приносит ему дурманящую усталость, у

него обостряется конъюнктивит, врачи рассматривают вопрос о его отправке в Гриндельвальд, к подножию бернского Оберланда.

Марии остается жить все меньше и меньше. Она чувствует, как вечность уносит ее к близким, она вспоминает бабушку Кристиан Энсслин. Для нее эта женщина была «святой». В самые печальные часы для швабских приверженцев протестан-ской веры, в момент, когда наполеоновские орды вошли в Штутгарт, эта мужественная христианка не дала волю слабости: император французов не заставил ее дрожать, она продолжала молиться, чтобы спасти других, провозглашая среди колонн завоевателей свою пиетисте кую веру. «Ах! Бабушка Кристиан! Как она, должно быть, страдала! Какое ужасное время! Я, при всех своих мучениях, утешена духовно, — вздыхает умирающая, — я ощущаю сочувствие и успокоение».

В воскресенье 13 апреля на заре Иоганнес просыпается от ее внезапного крика: «Властитель наш идет!» На поспешный вопрос мужа: «Ты его видишь уже, Мария?» — она отвечает в экстатическом смятении: «Я издалека заметила его престол; Господь идет. О мой Спаситель, ты придешь и к белым, и к черным?» И самодовольно утверждает: «О! Я тебя узнаю, мой Господь, это часто не похоже на то, что ожидаешь увидеть, никто этого не замечал, это часто совсем не царственно… Но я знала Господа»! Она пускается в малопонятное и размеренное бормотание и лишь перед самым концом вновь начинает говорить ясно. На вопрос, заданный Иоганнесом: «Тебе не очень больно»? — она отчетливо отвечает: «Как бы то ни было, мне нечего жаловаться». Мария тихо умерла во сне утром 24 апреля 1902 года. Ей было шестьдесят.

Герман, который не мог теперь отправить матери новый сборник со своим посвящением, написал в память о ней:

Томясь смиренною тоской,
В дар угасающим глазам
Я робость детскую отдам,
Коснувшись глаз твоих рукой…

С этой трагедией ему придется справиться. «Плохо, что я не смог присутствовать на похоронах мамы, однако теперь думаю, что это лучше и для меня, и для вас. Я был и остаюсь еще в очень подавленном состоянии…», — пишет он отцу в конце апреля. Его охватывает такое же чувство вины, как после смерти прибалтийского деда, преследуют угрызения совести, он бесконечно возвращается к вопросам, «написанным на лице усопшей, с которого мы не вытерли слезы, которой не ответили

вполне на ее благодеяния». «Самое мучительное в горе — это тяжесть в сердце оттого, что я причинял маме боль». В горестных раздумьях он выходит из дома, чтобы прикоснуться к стволам вязов, растущих вдоль набережной, взглянуть на фасады домов, на решетки, за которые начинают цепляться проснувшиеся глицинии. «Изо дня в день я ношу маску, которая меня мучает, я живу и говорю с людьми как обычно, а потом в ночные часы меня внезапно начинает преследовать боль».

К счастью, Гессе знает, — и воспоминание о Венеции тому доказательство, — что жизнь не ограничивается его кошмарами, мрачными мыслями о смерти и что на призрачной грани бытия его ждут новые откровения. Вчера вода в лагуне серебрилась мириадами бликов — сегодня небо затянуто тучей. Волны заставляют блистать воду Рейна, и кажется, будто каждый ее отсвет находит отражение в трепещущей душе поэта.

Еще осенью 1901 года небо ниспослало Герману друга, большого любителя литературы Карла Буссе, который намеревался издать его стихи в коллекции под названием «Новая немецкая лирика». «Карл Буссе, — напишет позже Гессе, — один из немногих людей, оказавших мне доверие и помощь. Я был молодым человеком двадцати трех лет и служил приказчиком. Его дружеское приглашение стало первой радостью, которую я испытал, вступив на путь литературного творчества». В этот же период он познакомился с Юлиусом Бором: «Это был человек весьма любезный, сдержанно-вежливый, с простыми, но необыкновенно ясными чертами лица. Во всем его существе светилась мягкая и спокойная доброта, которая постоянно чувствовалась в его жестах и выражении лица… Я составил себе о нем представление как о человеке, который забыл или преодолел жизненные бури и ведет теперь мирную и спокойную жизнь».

Молодые люди вместе работали в книжной лавке, Юлиус был старшим над Германом. Он был открытым, бесстрастным, внимательным, и Герман рассказывал ему обо всех своих бедах. Теплота и внимание друга до боли трогали его. Юлиус был совершенно лишен гордости и чист, как кристалл, хотя грусть и сомнения бороздили порой его душу, подобно тому, как ручей пробивает себе дорогу сквозь луг, пенясь и поблескивая на солнце. Герман следовал течению этого потока, глубокого, свободного, бурного и кипучего. Он чувствовал одновременно любовь, восхищение и благодарность. В своем сердце он слышал голос, который говорил: «Любите эти воды… живите рядом с ними. Учитесь у них».

Юлиус Бор напоминал Герману лодочников, которых миссионер Гундерт встречал на берегах индийских рек: он не был

ученым, не обладал искусством мыслить, но был талантливым слушателем, который, плывя по реке души, ощущает ее пульс, соразмеряя свои движения с ее внутренним ритмом. Герман жил рядом с Юлиусом, постоянно погруженный в себя. Оглядываясь на свою жизнь, Герман видел тени прошлого: мальчик из Кальва, возлюбленный Беатриче, сумасшедший из Штетте-на, приказчик из Базеля, писатель. И когда им приходилось вместе слушать реку, он чувствовал, что друг «вбирает в себя его исповедь, как дерево дождь», и ему казалось, что в них в эти мгновения говорит «сама река, само божество, сама вечность».

Когда в конце января 1903 года, покинув Юлиуса на пороге книжной лавки, Герман вернулся к себе, на столе его ждал конверт.

«Многоуважаемый господин, — говорилось в нем. — Мы с удовольствием прочли „Германа Лаушера“. В этом произведении много интересного. Мы будем счастливы, если вы примете участие в нашей работе». Письмо не содержало подписи, но было отправлено Берлинским издательским домом Самюэля Фишера — самым известным в Германии. Герман ничего не мог сейчас предложить Фишеру, лишь «небольшой рассказ в прозе», над которым работал в течение нескольких лет без особого энтузиазма. Теперь он обещает вновь взяться за него и закончить, осторожно, однако, оговариваясь: «Мои писания лишь попытка выразить сугубо личные впечатления в современной форме, и поэтому они вряд ли смогут снискать успех…». Круг знакомых писателя расширяется, а его корреспонденты все более известны в литературных кругах. Райнер Мария Рильке называет «Час после полуночи» многообещающим произведением. Стефан Цвейг просит у него автопортрет. «Я до сего момента оставался совершенно обойденным литературным успехом, — отвечает ему Гессе, — мои маленькие книги лежали нераспакованными у издателя. Это меня время от времени раздражало, но никогда не расстраивало. Творить всегда было для меня удовольствием и никогда работой».

Глава VIII ПЕТЕР ЛЕ ВЕР

Вначале был миф. Создатель без устали творит душу каждого ребенка, как творил он по своему образу и подобию души индусов, греков и германцев.

Г. Гессе. Петер Каменцинд

В начале мая 1903 года Герман Гессе отправил Самюэлю Фишеру рукопись «Петера Каменцинда», автобиографического романа, на успех которого совершенно не рассчитывал. Быть может, он задумал его, когда фен выл в долине, неся с собой жар. Этот сухой и теплый ветер, спустившийся с гор, соответствовал его настроению: он никогда еще не заканчивал работу с таким острым ощущением невозможности вернуться в юность.

Нужно было нетерпение Фишера, чтобы Гессе вновь взялся за то, что называл «горькой микстурой молодого крестьянина и поэта», и в итоге создал произведение, насыщенное глубокими размышлениями. Удрученный окружающей банальностью писатель стал пристальнее вглядываться в себя: он не старался искать откровений вовне. С бьющимся сердцем рассказал он о жизни швейцарского пастуха, похожего на него самого. Эта грустная история взбудоражила берлинца своей непосредственностью. «Спасибо, сердечное спасибо! — ответил Фишер автору 18 мая 1903 года. — За ваш опыт, свидетельствующий о силе вашего темперамента». Великий издатель в восторге: он откроет миру великого писателя. Никогда еще земля не чуяла такой свежести в воздухе, такой сладости; никогда еще не была так загадочна боль измученного сердца, никогда романист не выражался так искренне, тасуя с таким искусством карты своей игры.

Петер Каменцинд, родившийся в сердце швейцарских гор в деревушке Нимикон, привязан к этому местечку, как Гессе к Кальву. Отец Каменцинда предпочитает вино разуму, что отличает его от сдержанного Иоганнеса, однако он чем-то похож на пастора и оставляет в наследство Петеру нестерпимые мигрени. Мать молодого горца крестьянка, а не дочь набожного лингвиста, но напоминает Марию внешне: она тоже ходит в черной юбке, обладает нежным голосом и глубоким взглядом. Когда она умирает в жаркий летний день, Петер находится подле нее до последнего мгновения ее жизни — это, видимо, след вины

писателя перед собственной матерью. Его герой услышит ее предсмертное напутствие, которого не получил Герман, всегда горько сожалевший об этом. «Для каждого из нас детство — это не то, что было на самом деле, а то, что под этим понимали родители», — напишет Гессе о своем романе.

Фишер буквально проглотил произведение, обязанное своей цельностью природе главного героя, его страстным разочарованиям и безумным порывам. Он предался игре оппозиций и сходств, созерцанию образов: «Элизабет, Рихард, мадам Нарди-ни, ребенок столяра, калека стали дороги мне благодаря пережитому вместе с ними». В конце концов он восклицает с энтузиазмом: «Поверьте мне, для меня это радость — вас издать!» Предполагал ли он, что этот маленький Петер, который носит в хлев ведра и внимательно прислушивается на пороге жилища к звукам грозы, — на самом деле любитель выпить, избегающий рбщества, одержимый постоянно неискоренимой любовью в сердце, которую заставил служить трудной задаче внутреннего совершенствования? Ждет ли героя откровение в конце пути? Он ведом лишь самим собой, своими отношениями с миром, с природой. Под покровом серой повседневности бессознательное и сознательное сливаются в один поток, и рождается река. Она несет и Гессе, стоящего за прилавком книжной лавки герра Ваттенвиля, и Петера Каменцинда. Эта сумеречная волна — волна знания.

Какое открытие для всех, кто старается проникнуть в глубины собственной души! Этот неизвестный шваб, о котором говорили, что он постоянно находится в состоянии внутреннего поиска, быть может, сам того не подозревая, стал одним из первых психоаналитиков. «Не приходится удивляться, — пишет Ральф Фридман, — что такой значительный специалист в области бессознательного, как Зигмунд Фрейд, оценил „Петера Каменцинда“ почти сразу после его появления как „книгу, на его взгляд, очень важную“. Знаменитый венский психолог сближается с поколением писателей, которые исследуют глубины собственного сознания, хранящего обрывки полузабытых впечатлений. Стефан Цвейг, Томас Манн, Ромен Роллан — все они скоро примут участие в коллоквиумах по средам, где обсуждаются новые формы письма, необычные оттенки живописных возможностей слова, обертоны звучаний. Осенью 1903 года многие горячо высказываются о своей обретенной в результате погружения в собственное подсознание индивидуальности, понятой ценой отказа от религии, семьи, государства. Почти тридцатилетний человек удивительно живо воссоздает образ наивного героя, пасущего коз и

путешествующего по горным тропинкам, который идет навстречу человеческим горестям, калечит свою жизнь, пьет, проклинает Бога, пробует покончить с собой — и вызывает невыразимое сострадание.

Но в романе Фишер отметил не только литературный и психологический аспект. Он сумел увидеть в страсти Гессе к природе залог будущего успеха книги. „Горы, озеро, буря и солнце были моими друзьями, они поверяли мне свои тайны, воспитывали меня и долгое время были мне милее и ближе, нежели люди и судьбы людские“, — это послание одиночки разнеслось над европейскими городами, над Германией, которая производит столько же угля, сколько и Англия, и имеет самый большой в мире электрический завод. „Мне хотелось… чтобы в братской любви к природе люди умели находить источники радости и ключи к бытию, хотелось проповедовать искусство созерцания, странничества и наслаждения, учить радоваться окружающему миру“, говорит путешественник, уверенный в том, что дарит пролетариям противоядие против сумасшедшего жизненного ритма городов, против тирании стремительно развивающейся индустрии, против голода.

Конечно, это было романтическое произведение, с реминисценциями из Готфрида Келлера, первые поэтические опыты которого назывались „Песни самоучки“ — так Гессе мог бы назвать и свои „Романтические песни“. Не без оттенка иронии некоторые будут называть Каменцинда „Петер ле Верт“, в память о том Зеленом Генрихе, который принес известность Готфриду, как Петер Каменцинд Герману. Манера воспроизведения природы, роскошь больших пурпурных озер на границе с Италией, окруженных примулами, нарциссами и миндальными деревьями, напоминает Вергилия, а сам Петер похож на пастуха из „Буколик“. Но, может быть, он еще и францисканец, который признается: „Франциск Ассизский — самый блаженный и божественный из всех святых“.

Самюэль Фишер сделал правильную ставку: эта одухотворенная книга покорила читателей, увидевших в ней языческое восприятие природы и умение радоваться земному. *„Я* надеюсь, что этот роман не провалится и принесет мне, по крайней мере, если не большой успех, то уважение“, — просто сообщил автор своему новому другу Стефану Цвейгу. Однако происшедшее превзошло его скромные ожидания: тираж первого издания был распродан за пятнадцать дней, имя Гессе раздается в салонах, слышится на улице. Петер — всеобщий кумир, он объединяет сердца, его духовная авантюра искушает души. 26 июня 1904 года Герман в удивлении восклицает: *„Я* ничего

подобного не ожидал!“ Елене, которую весть о славе ее друга застала на севере, он пишет: *„Я* вам говорю, мой друг: то, что меня более всего удивляет в этом земном мире, так это успех моей книги“.

Все началось после смерти Марии. В июне 1903 года Гессе написал Иоганнесу: *„Я* нахожусь в странном состоянии размышления по поводу возможности жениться. Молодая женщина, которая уже некоторое время связана со мной узами дружбы и немногим старше меня, мне подошла бы“. Пастор был несколько удивлен: сын казался ему явно неподходящим на роль степенного супруга из-за своего шаткого денежного положения и страсти к путешествиям. „Никому об этом не говори, — шепчет Герман, — это по секрету“. Теперь у него не было матери, и он блуждал в тумане собственного детства, ища образ, который пробудил бы в нем юношеский пыл. Он хотел видеть рядом с собой женщину более сильную, способную примирить его с самим собой, понять побуждения уязвимого сердца и избавить его от мучительных внутренних сомнений.

Марии Бернулли почти сорок. Она дочь знаменитого математика, часто радовавшего публику на музыкальных вечерах незаурядной игрой на скрипке в дуэте с Элизабет Ларош, исполнявшей партию фортепьяно. Вместе с сестрой Мария открыла в Базеле мастерскую художественной фотографии, кроме того, она славилась своим мастерством в исполнении Шопена. На портретах она собранная, полненькая, с тяжелым шиньоном. У нее большие щеки, крупный подбородок, сосредоточенный взгляд, густые тесно сомкнутые брови. Она твердо смотрит на вас из-под невообразимых шляп, в которых любила фотографироваться, по тогдашней моде украшенных венчиками цветов, ягодами или листьями. Взгляд Марии почти всегда полон глубокой задумчивости. Ее кожа не выглядит на фотографии слишком гладкой. Она кажется одной из тех решительных женщин, которые, не дожидаясь чуда, едва вы на них обращаете внимание, стараются непременно вас на себе женить.

Мария занималась технической стороной дела и проводила день в темной комнате, проявляя фотографии, а ее сестра тем временем принимала в студии артистов, художников, архитекторов и путешествующих иностранцев. „Я забыл вам сказать, — написал Гессе Стефану Цвейгу 5 февраля 1903 года, — что, вообще общаясь мало, делаю исключение для художников… Я хорошо себя чувствую в мастерских, где витает дух творчества, где разложены наброски на ученических картонах“. В мастерской сестер царили артистический беспорядок и атмосфера святилища, напоминавшего место собрания какого-нибудь тайного общества.

Решительность, с которой Мария, а для близких Мия, управлялась с делами, была весьма привлекательна.

Герман, привыкший коротать там периоды дурного расположения духа, скоро заметил, что Мия частенько задерживала на нем взгляд, ничуть, притом, не смущаясь. Перспектива поддаться воле этой предприимчивой пышненькой женщины явно не вызывала у него внутреннего протеста. Иногда холодно-отчужденная, иногда фамильярная, она то излучала рядом с ним непомерное веселье, то расточала ласковые знаки внимания, а однажды даже рискнула его поцеловать, от чего его бросило в жар и охватил мучительный страх. Должен ли он жениться? „Я боюсь женитьбы!“ — признавался он отцу. Однако жажда любви владела им и требовала решительных действий.

Мария, казалось, склонна была ускорить ход событий. Одна из ее подруг, художница, уехала из Базеля в Италию, и бойкая Мия восклицает: „Почему бы не отправиться к ней? Поедем втроем! Скоро Пасха. На улице весна. Альпы все залиты светом. Вокруг царит красота“. „Я не собирался их сопровождать, — объясняет немного жалостливо Герман своему отцу, — но сестры Бернулли, вдохновленные задуманным предприятием, убедили меня путешествовать вместе с ними“. И вот они уже собираются, переодеваются, садятся на поезд, и Герман едет в третьем классе, из соображений экономии, к Милану в компании двух девушек-фотографов. Там на заре они посещают Ла Чертоза ди Павиа и оказываются во Флоренции на следующий день ближе к вечеру. Герман вновь открывает для себя Италию: каменные лестницы, хрупкие колокольни, горы, фруктовые сады, плодородные долины, вечера в розовой дымке и уставшая женщина с пером павлина на шляпе, устроившаяся отдохнуть с кружкой вина на террасе среди кипарисов. Для своих спутниц он нашел отличную комнату во дворце XVI века, сам же до поздней ночи бродил, мечтая, прежде чем вернуться к себе в мансарду.

По правде говоря, Мия не была ни молодой, ни красивой, зато отличалась умением хозяйствовать, простотой и добрым нравом. Несколько лет назад она вряд ли заинтересовала бы его, но теперь, когда ему самому под тридцать, нужно было что-то решать. До возвращения в Базель он обещает ей помолвку, но говорить о свадьбе еще слишком рано. Беспокойство сдерживает Германа, он ощущает себя пленником дурных предзнаменований. „Горечь не покидает меня, потому что, если прислушаться внимательно к внутреннему голосу, то я должен остаться холостяком. Я еще не знаю, как все это закончится“. Это письмо датировано 21 июня 1903 года. В мае он дал слово Марии, однако 11 октября признается Стефану Цвейгу: „Я действительно думал

жениться этой зимой, но отец невесты грубо мне отказал. Мне нужно работать и зарабатывать деньги, потому что, когда у меня будет необходимая сумма в кармане, я не буду, разумеется, больше задавать вопросов этой старой деревянной башке“. Для него все зависит от того, как будет воспринят „Петер Каменцинд“. В письме своему другу немецкому писателю Карлу Францу Гинекею он искренне изливает душу: „Если я смогу когда-нибудь жениться, я поселюсь в пригороде Базеля… Там много деревьев с неопадающей листвой, там расстилается вплоть до Альп широкая и светлая прирейнская равнина — это то, что я люблю, в чем нуждаюсь“.

Неисправимый молодой человек наконец принимает решение: женившись, он хочет устроиться в уютном жилище с большими шкафами из красного дерева, с зелеными растениями в кадках, с соломенными корзинами, наполненными бутылками с малагой, и с садом, где среди больших деревьев прогуливаются довольные гости.

Герман кажется себе то вольным бродягой, то послушным ребенком, тоскующим о комфорте. „Я люблю, — пишет он, — вдыхать на лестнице этот запах тишины, порядка, чистоты, благопристойности и обузданное™, запах, в котором всегда, несмотря на свою ненависть к мещанству, нахожу что-то трогательное“. Мия, кругленькая и состоятельная, с фиалками на шляпке, в митенках, возле разбросанных рядом платков и партитур для фортепьяно являет в его глазах образ благополучия.

В 1904 года громкий успех „Петера Каменцинда“ положил конец всем сомнениям. Книга продается, приносит доход. К чему ждать? Мария и Герман решают пожениться. 26 июня Герман признается Елене Войт: „Свадьба приближается. Нам желают счастья. Невеста готовит приданое; а я чувствую себя необыкновенно хорошо, мне кажется, будто я маленький мальчик, словно мне двенадцать лет. Я удивляюсь, что меня настолько принимают всерьез. Я не устаю радоваться тому, что у меня есть женщина, семейный очаг, удовольствие от жизни… я испытываю счастье оттого, что чувствую себя теперь остепенившимся человеком, приличным буржуа“.

Он наслаждается этой передышкой вдали от городов, на природе, со своими книгами и литературными проектами, со своей музыкой, со своими трубками и удочками, вместе с Марией, которую воспринимает во многом как мать, которая заботится о нем, пока он работает или предается радостям детства — собирает шишки для костра, подстерегает куропаток и зайцев: „Это так же интересно и гораздо более занимательно, чем жизнь в городе“.

Что думает об этом молодая супруга? Она восхищается Львом Толстым и Иеремией Готхельфом93, швейцарским писателем-буржуа, который не гнушался сельских работ, — и сама мечтает жить среди простых людей. Герман желает обрести с Марией семейный очаг и вопрошает природу как писатель, обладающий чутким восприятием, как Петер ле Верт, одаренный способностью с нежностью ею восхищаться. Вдохновленные мыслью о прелестях сельской жизни, молодые в свадебный вечер оказываются в доме рядом с ригой, в одинокой деревеньке на берегу озера Констанц. Начинается „идиллия Гайенхофена“…

Лето в разгаре… „Каштаны источали в изобилии великолепное благоухание, исходившее от их розовых цветочков-свечечек, одуряюще-горячо пах жасмин, колосилась пшеница…“ Молодые наконец устроились. Герман велел доставить свои удочки, а Мария — фортепьяно. И теперь еще можно увидеть их деревенский дом, выходящий фасадом на небольшую площадь, недалеко от школы, напротив католической часовни. Рядом с домом росла липа, теперь не существующая, приблизительно их ровесница. Пространство перед домом было расчищено, у стен Мария посадила любимые мужем настурции. Дубовые двери, ведущие в расположенную рядом конюшню, покрывала резьба времен Тридцатилетней войны.

Людвиг Финк, приехавший их навестить и остановившийся поблизости, рассказывал об отношении жителей деревни к этой беспечной паре, принимающей солнечные ванны и прогуливающейся вдоль берега за тополями, где полно уток и летают стрекозы. На Гессе показывали пальцем. Кто он? Писатель? „Ничего себе ремесло!“ Его считали бездельником. „Ну что, идете прогуляться?“ — так его приветствовали. Поскольку он всегда хорошо одевался, его прозвали Книжником. сколько усилий супруги приложили, чтобы обустроить свой дом! В самой красивой комнате на первом этаже располагался камин, отделанный зеленой керамикой, и стол из едва обработанного дерева. Людвиг Финк чувствовал здесь себя очень уютно: „Черный кот Гаттамелата мурлыкал и ласкался, а хозяин приносил из погреба красное вино в блестящей керамической кружке. Рядом в маленькой комнате стояло пианино, на котором фрау Мия по вечерам мастерски исполняла Шопена… Из окна открывался вид на остров Рейшено и на все швейцарское побережье, от Берлингена до Констанц“.

Иногда вечером Гессе курил „Бризаро“ — длинную черную сигару — в обществе своего соседа, старика Месмерназа, который, уходя, неизменно утаскивал из дома все окурки. Он сидит за массивным столом, ощущая над собой надежную крышу,

полный жизненных сил, при свете как следует заправленной керосином лампы, и слушает играющую на пианино жену.

Однако очарование быстро прошло — одинокая деревня на вершине холма наскучила Герману. Несмотря на сделанный ремонт, ветхий дом, казалось, будет непригодным для жилья зимой. Своим недовольством новоиспеченный собственник делится с бароном Александром фон Бернусом: „Мы в жизни одиноки… Это не совсем то, что зовется поэтической идиллией… Ни одного магазина. Только булочная. Мне приходится доплывать на лодке до Стекборна, что с противоположного конца озера, и проходить таможню, чтобы купить продукты“. И Стефану Цвейгу: „Здесь нет железных дорог, нет заводов, нет священника. Утром я должен был шлепать полчаса через поле под мерзким дождем на похороны соседа“. Нет проточной воды: *„Я* пойду наберу воды в фонтане“. И нет рабочих: „Мне приходится самому делать в доме мелкий ремонт“. Что еще сказать? Вздохнув, Герман заканчивает письмо: „Теперь я женатый человек, и с богемной жизнью покончено!“ Однако прибавляет: „Но моя маленькая рассудительная жена рядом!“ Это все, что может сказать молодой муж? Позднее, в 1919 году, он так скажет о ней: „К тому же она была не слишком крепкого здоровья и плохо переносила именно праздничные сборища. Больше всего она любила жить, окружив себя музыкой и цветами, с какой-нибудь книгой, ожидая в одинокой тишине, не навестит ли ее кто, — а в мире пусть все идет своим чередом“; „… каждый ее шаг и каждое слово было особого цвета, особого чекана, и не всегда легко было идти с нею и попадать ей в шаг“.

Осень 1904 года. В мире лишь один звук — маятник деревянных часов; унылый дождь капля за каплей падает на оконное стекло, в полудреме мурлычет кошка. Герман получил то, что так давно желал: хорошо обставленный дом, где царят порядок и чистота, семейный очаг. Более чем когда-либо он чувствовал себя сыном Марии, вспоминая, с какой простотой и строгостью она держалась, как приводила в порядок дом, следила за занавесками, растениями, стеклами, старалась привнести в жизнь и в свое жилище как можно больше чистоты, ясности и порядка Но еще не прошло и года, а он задается скользким, „словно кусочек мыла“, вопросом: „Счастлив ли я?“ И не отвечает, думает, пока этот вопрос не превращается в другой: „счастье“ — что значит это слово? Не скрыт ли в нем потаенный смысл? Существует ли вообще счастье?

Крышка пианино закрывается с сухим стуком. Что играла Мия? Шумана или Шопена? Шопена, конечно! Первый „Ноктюрн“. Музыка закончилась, свечи погасли. „Моя жена выходит, —

рассказывает Герман. — Она бросает взгляд на мой графин с водой и смеется: „Ты все еще на ногах?“ — „Да, я хочу еще почитать… Оссиана!“ Она уходит. И я не читаю Оссиана“. Он один, книга забыта на коленях, и теперь он убежден, что семейная жизнь, о которой так мечтал, его душит. Такое чувство, будто он становится тем, кого ненавидит более всего на свете — буржуа. По мере того как он все больше погружается в бытовые проблемы, его охватывает ярость. Может быть, он в ловушке? „Когда темнеет, в сумерки, — пишет Гессе, — я спускаюсь на пляж… я жалею, что я больше не одиночка и не бродяга, и охотно отдал бы то немногое, что имею в доме, счастье, благополучие за старую шапку и вещевой мешок, чтобы вновь обрадоваться миру и сквозь горы и реки унести мою тоску…“

То, чем он жил вчера, сегодня стало для него необъяснимым. Как он мог жениться? Всю осень он собирал воспоминания, письма, дневники, чтобы создать то, что назвал „Соседи“, будто был теперь на стороне тех, кого на самом деле отвергал как людей, отчужденных от культуры, не способных к свободной мысли. Быть может, он виноват в том, что их отношения испортились? Что будет с Марией? Не он ли расточал ей в Базеле при свете луны обещания счастья? „Над дверью, над верхней частью узкого и старомодного карниза, — записывает Гессе с иронией, — находятся, повернутые одна к другой, две глиняные кукушки, самец и самочка, искусное изделие Шварцвальда. Они отбрасывают на стены две огромные, неестественно вытянутые тени. И, как всегда, когда, уставший, слушаю музыку, я вижу мысленным взором эти маленькие фигурки… потом наступает момент, когда оживают память и воображение, тончайшие душевные струны начинают звучать, начинается творческий процесс“.

Темнеет все раньше. Мия заболевает. Анемия? Депрессия? „Это не слишком опасно, но тоскливо и болезненно“, — пишет Герман Елене Войт 25 октября, отвезя жену в базельскую клинику. Он пользуется моментом, чтобы съездить в Мюних на свадьбу к Томасу Манну, с которым познакомился весной у Самюэля Фишера. Они придерживаются одних взглядов, перед обоими стоит дилемма: смерть от удушья или возрождение через бунт.

Этот бунт наступает в ноябре и дает название новому роману Гессе: „Под колесами“. Если зло давит его, если он ощущает, что запутался в жизни, что выхода нет, так это потому, что неправильное воспитание отравило его душу, наливая в нее капля за каплей яд вины.

„Есть эпохи, когда целое поколение оказывается между…

двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность… Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше чем на одно поколение, раньше других, — то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи…“

Отшельник Гайенхофена уверен, что в нем заключен яд мира. Как он может беззаботно заниматься искусством? „Петер Каменцинд“ уже был страстным вопросом: как вновь обрести непосредственность видения? Писатель утверждает, что это возможно, „если познать свою боль и свою вину и перестрадать их до конца, вместо того чтобы винить во всем других“».

«Образование — это единственный вопрос современной культуры, к которому я отношусь серьезно и который часто вызывает у меня возмущение. Школа многое во мне разрушила, — пишет Гессе 25 ноября 1904 года своему сводному брагу Карлу Изенбергу, — и я знаю немногих, кто избежал участи жертвы подобных экспериментов. Я там выучился лишь латыни и лжи…» Он назвал Ганса, одного из героев «Под колесами», именем своего младшего брата, школьные годы которого тоже не были счастливыми…

Иоганнес стареет рядом с незамужними дочками, а его любимец Ганс пребывает в депрессии, не способный вырваться из рутины. «Часто, — вспоминает Герман, — Ганс возвращался домой с головной болью, подавленный тоской… В Кальве у него был учитель, настоящий демон… Когда ребенок что-то лепетал, он ударял его железным ключом от дома». Писатель склоняется над чистой страницей, чтобы изгнать мучителей, которые отправят «под колесо» Ганса Гибенрата героя его романа.

Кончается год. Долина Гайенхофена вся в цветущих примулах, кричит кукушка, «зеленеют к первому покосу пастбища, в изобилии цветет темный клевер, и засеянные поля сияют полной соков зеленью», вокруг дома растет рапс. Путешествие братьев Гессе воссоздано на бумаге. Оно приведет Ганса Гибенрата к смерти. Уже весьма искусный в творческом погружении в изображаемого персонажа, Герман Гессе станет собственным спасителем. Необузданный гордец, которому он дал свое имя, Герман Гейльнер бодрствует в страхе умереть. Сколько времени нужно Гессе, чтобы помирить Ганса и Германа — два своих различных воплощения? Символ пробуждения и примирения, желаемого самим романистом, их поцелуй на берегу озера — было ли это в его сознании отголоском реальности? Наступит ли день, когда Гессе перестанет ощущать свою внутреннюю двойственность?

Он чувствует внутреннее освобождение, когда пишет, снимая с пережитого ненужные наслоения, раскрепощая душу. Как он мог так долго питаться одним эстетизмом?

Мия беременна. Роды должны быть в декабре, и 1905 год стал для нее источником моральных и физических мучений.

Она слишком устала, чтобы интересоваться работами мужа, и лишь ездит к врачу из Гайенхофена в Базель и обратно. Герман будет ее сопровождать, пока его вновь не одолеет вкус к богемной жизни и он не начнет искать общества друзе й-поэтов. По возвращении из пешего путешествия в Энгадин он отвечает барону Александру фон Бернусу, который приглашает друга провести месяц у него в Мюнихе и расспрашивает о новом ощущении жизни в качестве отца семейства, о работе: ребенок должен родиться под Новый год; роман будет готов в октябре; в Мюних он отправится зимой, после посещения Праги.

пока он весьма обрадован приезду жизнерадостного Финка, намеренного получить врачебную практику на берегах Боденского озера. Людвиг купил там и отреставрировал дом и хочет окружить его цветами и населить животными. Друзья пьют в сельском трактире и говорят на швабском с местными крестьянами. Иногда Гессе отправляется с сачком на поиски редких бабочек. Он разлюбил рыбачить и больше не закидывает удочку в озеро, как некогда в Нагольд. Друзья пишут, купаются, сажают подсолнухи, разводят индюков и уток. Чтобы отпраздновать двадцатидевятилетие Гессе, Финк нанимает деревенских скрипачей разбудить его на заре, и пока визжат утренней серенадой корнета-пистоны и рожки, сажает под его окном дикую розу как знак надежды.

9 декабря 1905 года Мия родила мальчика, которого назвали Бруно. Казалось, у Гессе есть все: замечательный ребенок, женщина, чувствующая вкус к жизни, неожиданная известность, хороший друг.

Но каждый день он отвязывает от старого пня лодку и отправляется в плавание. Он бежит от себя: человека, гражданина, мужа, от себя, раздираемого противоречиями. Он — «дитя земли, не имеющий ни мыслей, ни желаний, ни особенных беспокойств и посвящающий себя великим искусствам, волнам и облакам…» Он теряется на серебряной поверхности озера, где вырисовываются вдалеке церкви Констанц, поблескивают берега и старые деревья на пересечении дорог. «О вы! Спутники на общей дороге, вы, счастливые, легкие на ногу! — восклицает Герман, завидуя бродягам. — Я смотрю на каждого из вас, как на короля, с уважением, восхищением, воодушевлением, даже если я ему дал монету в пять пфеннигов. Каждый из вас… победитель. Я был

похож на вас, я чувствовал восторг путешественника… очень сладкий восторг…»

Он возвращается на берег, вычерпывает барку, сушит ее, конопатит смолой, перекрашивает в яркий цвет. И возвращается к своим книгам, письмам, склоняется над колыбелью сына. Шаги Мии, мурлыканье кошки, уютная жизнь, кружка молока и компот из фруктов.

С бьющимся сердцем он наблюдает, как рассекают небо молнии и громыхает гром, и выходит на улицу в сапогах и шерстяной куртке.

«Петер Каменцинд» только что переведен на норвежский и шведский языки. Известность Гессе растет, но в ущерб его свободе: «Каждый день авторы присылают мне свои новые книги, издатели предлагают сотрудничество, девушки приносят рукописи». Когда в 1906 году в продажу поступает роман «Под колесами», уже публиковавшийся в 1905 году в «Нойе цурхер цайтунг», кажется, что судьба улыбается писателю. Этот ученический роман, как автор сам его назвал, весьма противоречив. И хотя критики резко отзываются о нем, это не мешает молодежи зачитываться историей маленького немца, смело идущего навстречу жизни.

Герман Гессе превращается из простого рассказчика в мудрого мыслителя. Он говорит своим читателям: не засыпайте, иначе отправитесь «под колесо», окажетесь в жизненной рутине. Молодость Ганса Гибенрата, которая прошла в небольшой области Шварцвальда, очень напоминает молодость самого Гессе, а Герман Гейльнер переживает его внутренние драмы. Тонкий психологический анализ позволяет любому читателю романа найти в нем близкие себе по духу мысли и чувства.

Гессе, обремененный обязательствами перед издателями, старается не потерять свою работоспособность, но его внутреннее беспокойство растет. Бродяга рвется в путь, а буржуа устраивается поудобнее в своем доме.

В январе 1907 года он покупает на окраине Гайенхофена большой участок земли, который местные жители зовут «Эрленлох» — «Ольховая кора», и весной строит там дом. «Место замечательное, — пишет он своим близким, — источник совсем рядом, в трех минутах ходьбы от деревни, дом с видом на озеро. Грубая кладка до второго этажа. Вверху каркасные стены и обшивка из дранки. Восемь комнат. Чудесный сад…» Мария в восторге. У них будет просторная комната для ребенка с окнами на солнечную сторону и маленькая мастерская, где она сможет возобновить свои занятия фотографией. Ванная, бак для горячей воды — все удобства. Писатель принимает все всерьез с чувством

добропорядочного обывателя — и удивляется: «До каких пор я буду терпеть давление моей жены Мии? Я не могу ответить на этот вопрос». «Но, — напишет он в 1931 году, — ее влияние в течение первых лет в Гайенхофене стало, как я понимаю теперь, оглядываясь назад, настолько сильным, что я не мог его более воспринимать». В этом состоянии тягостного раздражения у него ничего не ладится. Семейный очаг продолжает гореть, распространяя в дни, когда дует фен, удушливый запах, покрывая стены сажей, пачкая книги, приговаривая семью к холоду.

Так Гессе достиг возраста, когда человек задается новыми для себя вопросами: *«Я* не знаю, что мне делать. Но знаю только одно: ни беспричинное блаженство играющих детей, ни случайные прохожие, ни любовное опьянение, ни запах липового цвета мне разделить не дано. Моя судьба — слушать жизнь, которая требует, чтобы я за ней следовал, даже если не вижу в этом цели и смысла».

Не успела растаять гигантская снежная фигура, слепленная Германом на окраине деревни, чтобы отметить возвращение Финка из свадебного путешествия, как начались приготовления к празднованию тридцатилетия самого писателя. Он имел вид зажиточного буржуа на отдыхе в каком-нибудь поместье: «На первых порах мы наслаждались прелестями дома. Неповторимым видом… У нас были друзья и возможность слушать хорошую музыку…»04, из Мюниха к ним приезжали художники. Гостиные, просторные балконы, вид на поля со связанными снопами — все это Эрленлох, владения Гессе. Европа обращает к нему свой взор. Фрау Гессе — со своим шиньоном, в платьях с пышными рукавами, с муаровой брошью — рядом с мужем, который сидит немного боком на стуле в непринужденной позе, пьет дорогой коньяк и курит хорошие сигары. Его тонкая улыбка, подчеркнутая линией узких, на прусский манер, усиков, легкое лукавство в выражении лица производили бы вполне благоприятное впечатление, если бы не удлиненные хищные уши.

Гости говорят о путешествиях, поэзии, последних событиях: велосипеды и локомотивы вытеснили кареты и дилижансы; человеческая мысль завоевывала новые высоты. Мудрец из Гайенхофена оживляется: *«Я* остаюсь набожным человеком в привычном смысле слова, и поэтому для меня невозможно верить лишь разуму. Иначе зачем мир, прочтя Платона, стал бы нуждаться в Гегеле?» И в этот век скоростей «почему человечество не научилось управлять временем? Мы все торопимся, как раньше торопились почтовые машины. как теперь не торопиться?» Писатель находит большое удовольствие в том, чтобы печатать на только что полученной им пишущей машинке. Шедевр техники!

Он поставил ее рядом с гусиным пером, которое очинил своей рукой сам Эдуард Мёрике, и всем гостям, в особенности Карлу Францу Гинекею, демонстрирует это соседство реликвий и новшеств, убежденный, что нельзя предсказать будущее, «находясь в подвешенном состоянии между различными возможностями в настоящем, которое может лишь обратиться в вечность…».

Автору романа «Якобус и дамы», только что вышедшего в Лейпциге, Гессе говорит: «Вы видите, в нашем доме и в нашей жизни все хорошо. Женщина и маленький мальчик довольны и веселы, и я себя чувствую лучше. Но в молодости я по-другому представлял счастье, и, быть может, по глупости недоволен, что оно явилось не в той форме, о которой мечтал… Если бы я должен был выбрать название для вещи, которую написал этой зимой, то это было бы, видимо, taedium vitae».

К счастью, ему хватает развлечений. Его осаждают визитеры и издатели, письма скапливаются на его бюро, в изобилии сыпятся приглашения, а Гессе остается верен своему перу и своему саду. Уже вырисовывается знаменитый силуэт, над которым будут смеяться карикатуристы: худой господин, который забыл снять черные носки, в широкой соломенной шляпе, в фартуке, с садовой лопаткой, с пером в руке размышляет перед маисовым полем. «На протяжении десяти лет, напишет Гессе позднее, — я один растил вот этими руками овощи и цветы, удобрял, поливал… Я посадил деревья: каштаны, липу, катальпу, аллею буков, ягодные кусты и фруктовые деревья». Как в Кальве, в саду старика Гундерта, Герман гонится за косулей, что топчет его грядки, любуется божьими коровками на листьях, бабочками, которые летают среди подсолнухов, оживляя паперть его святилища, и настурциями, чьи семечки пересыпаются в его руках. Он любит эти цветы, они составляют часть его души, светящейся таинственным пламенем на грани молчания. «Мы теперь устроились, — напишет он в воспоминаниях, — на всю жизнь. Мирно стояло перед нашим домом одно большое дерево, старая и могучая груша, под которой я топором вырубил деревянную скамью. Я возделывал старательно мой сад, сажал, украшал, и мой старший сын играл рядом со мной своей детской лопаткой».

Но скоро и в цветущем саду Гайенхофена Гессе охватит тоска. Осаждаемый почитателями, он устает от мучительных визитов. Его здоровье ухудшается, он должен отказаться от сигар, кофе, вина, привыкнуть рано ложиться спать.

Вместе с издателем Альбертом Лангеном и писателем Людвигом Тома он начинает издавать журнал «Мерц»,

посвященный проблемам культуры. Герб журнала — весенние цветы, раскрывающиеся на поверхности пня, цель — созидание. «Мое участие, — вспоминает Гессе, — ограничивалось литературой, я не поддерживал политическую направленность журнала, где выражалось раздражение по отношению к Берлину, к императору Вильгельму II, одностороннему и надменному прусскому милитаризму». Однако именно на страницах этого журнала Гессе первый раз в жизни включился в идеологическую борьбу. В час, когда ненасытная Германия учреждает «Вельтполитик», «Мерц» собирает под свои знамена Анатоля Франса, Теодора Хеусса, Льва Толстого, Стефана Цвейга, а также Августа Стриндберга и Ромена Роллана, чтобы проповедовать мир на Земле, находящейся под угрозой. Гессе не чужд любви к родине, но перспектива отречения от своей индивидуальности ради чего бы то ни было ужасает его и заставляет бороться.

Покинув сад, оставив беременную Мию на попечение Финка и его молодой жены, сенбернара и множества кошек, Гессе пишет для «Мерц» эссе, новеллы, открытые письма и критические статьи. В середине октября он, измученный, уезжает в Вену, чтобы вдохнуть воздух Земмеринга — горы высотой в тысячу метров, — где любуется «прекрасным видом на виноградники и леса, чьи очертания составляют изысканный узор…».

Возвратившись на родину, Гессе знакомится с Конрадом Хауссманом — юристом, штутгартским депутатом, убежденным демократом, активным политическим лидером. С этим интеллигентным и дружелюбным швабом он встречается в Мюнихе. Они сразу друг другу понравились и быстро перешли на «ты». Гессе уже несколько лет слышал о братьях Хауссман «как о красных демократах, возмущающих народ, от которых можно ждать всего дурного», слышал их речи и был весьма удивлен, обнаружив в их лице достойных ораторов. Теперь он всей душой с ними.

Аполитичный писатель объединяется с депутатами не только из чувства солидарности с неприязнью Южной Германии по отношению к прусской гегемонии, но также из-за общей мечты о Европе, в политике которой важнейшую роль играет сближение Франции и Германии. «В нашем „Мерц“, — пишет Гессе, — есть стремление к интеллектуальному и политическому союзу с Францией. Мы публикуем не только статьи германцев, недовольных политикой византинизма и насаждаемой казарменной культурой. У нас можно также найти статьи Жореса и Анатоля Франса». Национализм подогревал страсти, набирал силу империализм Вильгельма II, а в Мюнихе тем временем зарождалась идея новой Европы. Но стремясь к миру и развитию

каждого индивидуума, необходимо было драться беспощадно.

Германа Гессе и Конрада Хауссмана объединила не только политическая борьба, но и страсть к литературе, к духовной культуре вообще. *«Я* не удивился, когда однажды он мне рассказал, что перевел на немецкий сборник китайских поэм, — напишет Герман о своем новом друге. — Эти переводы сблизили меня с этим замечательным человеком, наделенным блестящим умом. Совершенно по-другому, с убеждениями, совершенно противоположными моим, он также много жил в атмосфере восточной культуры…» Двое пацифистов, с севера и с юга, имели одинаковые убеждения. Поэзия в их душах рождалась от похожего видения действительности и одинаковых основ мировоззрения: «И бесконечно, когда Хауссман читал вслух стихи, — говорит Герман, — я ощущал его голос и его швабский акцент как что-то родное и достойное любви…» Этот политический лидер разбудил в Германе дух борьбы и болезненное воображение. «Время, отведенное мне разумом, — пишет Гессе доктору Васкернагелю 8 декабря 1908 года, — целиком посвящено работе, ценность которой я часто ставлю под сомнение. Если бы я не был так тщеславен и рассудителен, то собрался бы однажды и исчез бесследно в каком-нибудь монастыре…»

Иоганнес, праздновавший в Кальве свое шестидесятилетие, казался помолодевшим. В этом году он издал новую книгу «Весна человечества». Пастор верит в чудо и радуется возвращению блудного сына, хотя последний лишь намекает ему на приверженность Иисусу. «Теперь мне необходимо знание Евангелия, — пишет Герман, — его строки мне дороги не только как утешение, но и как практическое руководство. Представления о краткости земной жизни и вечности небесной мне недостаточно. Я не перестаю обращаться к Будде и ведическим легендам… Знание об индийской культуре и реинкарнации без особой веры дают мне некоторое успокоение…»

В августе 1908 года Гессе почтил своим присутствием крупное миссионерское собрание Гундертов в Кальве под благосклонным взглядом отца. Если представить себе всех потомков Иоганна Кристиана Людвига, «человека Библии», — начиная с его сына, отца Марии, а потом многих других, разбросанных по всему миру, в Африке, Лапландии, Пенсильвании, можно было бы сделать впечатляющее семейное фото. Прошло около двухсот лет с тех пор, как все эти лица объединил пиетизм. Здесь и седобородые предки в черных скуфьях, пожилые дамы в гипюровых корсажах с мальчиками в матросских воротничках. И молодые супружеские пары: женщины с волосами, зачесанными на пробор, в белых блузах, застегнутых

доверху, и их важные усатые мужья.

Внука Германа Гундерта и Юлии Дюбуа, принесшего столько страданий Марии, а теперь знаменитого писателя, узнают все. Он не стремится быть вне семьи: его немецкие корни заметны, хотя приверженность пиетизму весьма слаба.

Всего собралось около пятидесяти человек различных конфессий, говорящих на разных языках; они приехали в Кальв — колыбель родовой духовности, — чтобы вместе поклониться Господу. Пацифист из Гайенхофена чувствует себя среди них непринужденно: они провозгласили единство мира. Это собрание дает представление о семье, дух которой остался неизменен. «Если мы и не думаем все одинаково, мы можем, по меньшей мере, иметь одну любовь», — полагают они. Герман считает своих: Теодор, фабрикант, Эрнест, доктор философии, и Густав, весь как-то усохший после смерти своей сестры Эммы в 1904 году. Что до дядьев, то за исключением Поля, исчезнувшего в двадцать два года, и Самюэля, умершего в 1880 году, они все здесь, храбрая тройка шестидесятилетних: Давид, дядя из Маульбронна, всегда готовый помочь, Герман и Фридрих из Штеттена.

Кальв остался прежним. Часовня Сан-Николя возвышается над мостом из розового кирпича, Нагольд, богатый рыбой, течет между берегами, поросшими ольховником. Завод господина Перро увеличился и защищает вполне его семью от жизненных невзгод. Работников немного, и все они глубоко почитают имена Гундерта и Гессе. Герман чувствует себя сыном своей страны. К нему относятся с уважением и подносят лучшее вино Хайльбронна, которое он пил раньше по шестьдесят пфеннигов за поллитра со своими друзьями-слесарями. Довольный, он вернется в Гайенхофен, прочтет свою обширную почту, позволит себе отдаться очарованию дома, где Мия замечательно ведет хозяйство, разложит на столе первые яблоки и вытащит корзины для винограда.

Время проходит быстро. В декабре писатель-садовник посадил деревья, воспользовался хорошими деньками, чтобы привести в порядок сад. 1 марта 1909 года он стал отцом второго сына, Хайнера, появившегося одновременно с расцветающими на склонах холмов крокусами и первыми нарциссами. Жизнь проста и причудлива одновременно. Снова времена года отражаются в озере Констанц, заставляют чернеть леса, наполняют плодородием поля. На Мию часто находит меланхолия, и Герману приходится все больше следить за домом. Он катает на коленке старшего сына Бруно, укачивает новорожденного и почти не общается с женой. Она подурнела, на ней тяжелое черное платье,

у нее двойной подбородок, мешки под глазами.

Она делает фотографию мужа: он сидит рядом с библиотекой в велюровой куртке, взволнованный и небрежный, с плохо расчесанной бородой и всклокоченными волосами, но с гордым взглядом. Она настраивает и устанавливает свой аппарат, а он смотрит на нее без особой нежности, несомненно, с нетерпением ожидая окончания процедуры. Ведь он искал у нее защиты, отождествляя ее с матерью. Она также чувствовала себя непонятой и жестоко разочарованной. Она могла, как и он, прийти в восторг от Моцарта и Шопена, но, несмотря на свой музыкальный талант, несмотря на общение с людьми искусства, которых приглашала в Гайенхофен, на самом деле она плохо знала мужа. Его вспышки раздражения, колебания настроения, мечтательные рассказы, презрительные вызовы, которые он бросал ей, недовольный повседневностью, были ей непонятны. Выходя за Германа, Мия видела в нем Петера ле Верта, базельского поклонника жизни на природе, для которого она самолично нашла дом среди полей. Она обвиняла его в том, что он заменял ее в своем сердце другими образами, и особенно ревновала к вышедшей из-под его пера в 1909 году «Гертруде». «Между мной и Гертрудой не возникало никакой неловкости, — написал в романе Гессе. — Мы плыли в одном и том же потоке, работали над одним и тем же произведением».

По мере того как в душах супругов из Гайенхофена накапливалось все больше обманутых ожиданий, обоих все чаще охватывала ностальгия по тому, что могло бы случиться и не случилось. Мия отдалялась от мужа, погруженного в творческие проблемы, и видела в них лишь помеху семейному счастью. Герман же, не чувствуя в ее душе отклика, взывал к своему созданию, Гертруде Имтор, к ее двадцати годам, ее золотому голосу. Свой новый роман он в письме к Гинекею назвал «милым дивертисментом». В нем автор прославляет могущество искусства: «Мы можем созидать из звуков, из слов и других хрупких, ничего не стоящих вещей музыкальные утехи, мелодии и песни, полные смысла, утешения и доброты, более прекрасные и непреходящие, чем разительные игры случая и судьбы».

Несколько месяцев Гессе общается с адептами натуризма, которые создали в Асконе центр приверженцев диетологии «Вершина истины». Там не только постятся — там спят на кроватях из ветвей, устроенных между стен под деревянной кровлей. И главное удовольствие — там раздеваются. Нудизм вызывает в душе Германа сладострастные побуждения. Горящие ступни, жадные руки, ноги молодого оленя — он пробует соединиться со вселенной, угрожающей ему потерей разума.

Причем в нем остается достаточно юмора, чтобы улыбаться причудам своих компаньонов, тысяче резонов, по которым эти вегетарианцы, плотоядные и зерноядные, стремятся к общению с ним на сеансах массажа, оккультизма и магнетизма. Однако все это заканчивается тем, что в самый разгар лета Гессе попадает в руки врачей Баденвейлера, курорта с минеральными водами, который он описывает под названием Баден в предисловии к «Курортнику». У него строгий режим: санитар в белом завертывает его в льняные полотенца, погружает в холодную воду, помогает растереться. Превратившись в легкомысленного весельчака, он спит подряд двенадцать часов и обретает активность лишь вечером в казино или на танцевальных вечеринках, которые вдохновляют «больных» несравненно больше, чем окрестности Шварцвальда.

Здесь, в этой чудесной атмосфере, где «светятся белые одежды, блистают драгоценные женские головные уборы, благоухают цветы и разносится запах дорогих духов, звучат десять языков», Гессе пишет одному из корреспондентов: «Теперь я сам ошущаю себя простофилей: осторожно двигаюсь в приличной одежде по проторенной дороге, отдыхаю после полудня, растянувшись в шезлонге, разглядываю работающих крестьян, и мое лицо имеет то самое вялое и немного беспомощное выражение, которое, когда я был еще мальчишкой, появлялось у меня от мысли, что все туристы — идиоты…» К счастью, он знакомится с профессором Френкелем — знаменитым медиком, которого считают новатором. К нему едут пациенты «на машинах из Эльзаса и Люксембурга, в третьем классе с запада Германии, из Польши и России». Он работает с двумя ассистентами и принимает ежедневно от тридцати до сорока больных. Две его родины — Гейдельберг и Баденвейлер — с 1900 года обязаны ему большими санаториями и элитой молодых врачей. Он знаменит не только достижениями в области медицины, но и своим знанием человеческой души. Герман Гессе от него в восторге.

Френкель интересуется не только анализом крови и графиком изменения температуры больного, но также его настроением, мыслями, мировоззрением. Встреча талантливого врача с пациентоминтеллектуалом, одаренным глубокой чувственностью и утонченным воображением, становится событием для обоих, между ними рождается взаимное доверие. Наблюдая за состоянием Гессе, выслушивая, расспрашивая, анализируя, Френкель приходит к выводу, что невроз писателя является источником силы, которая питает его ум и воображение. Нужно лишь избавиться от негативного опыта. Гессе не был

обязан своим исцелением ни прогулкам в еловом лесу, где под ногами росли плакуны и наперстянки, ни даже отдыху. Это случилось благодаря тому, что он искал, по совету психолога, силы для выздоровления в глубинах своей души.

Почувствовав себя лучше, Гессе отправляется по делам в Гослар и Брем, но на обратном пути во Франкфурте-на-Майне у него обостряется аппендицит. Возбужденный хлороформом, он смеется над своими несчастьями и обменивается с Финком ироничными письмами: «Дорогой Югель, в первый раз я отправился к настоящему писсуару, вместо того чтобы воспользоваться ужасной стеклянной бутылкой». Проведя шесть месяцев вдали от дома, он считает себя готовым к любой работе, к любой битве.

Но увы: нет больше друга и идейного вдохновителя Европейского издательского общества: Альберт Ланген умер. Его не стало в последний день апреля — ему было всего сорок лет. Кроме общих литературных пристрастий с мюнихским издателем Гессе сближала общность убеждений. Незадолго до смерти Ланген хотел издавать на французском «Симплициссимус», но его обвинили в том, что он решил торговать национальным достоянием Германии. С его уходом не должна была утихнуть борьба за идеи пацифизма, собравшая под свои знамена журналистов и политиков-парламентариев. Ситуация требовала от писателя из Гайенхофена новых усилий: рецензирование дюжины книг в неделю представляло собой тяжелый труд, не говоря уже о том, что одной подписи Гессе под статьей было достаточно, чтобы развязать полемику.

В 1910 году Герман и Мия отправились в длинный пеший поход через кантон Аппензель. Вероятно, они оставили детей у Финков или с няней. Этот внезапный отъезд трудно объяснить: вряд ли они хотели повторить медовый месяц — скорее просто нуждались в покое.

В этот же период внезапно испортились отношения между Гессе и Фишером, возмутившимся тем, что тот, кого он считал своим питомцем, доверил «Гертруду» издательскому дому Лангена в Мюнихе. Контракт обязывал писателя предоставить Фишеру три из четырех будущих произведений. Герман продемонстрировал в письме уважение к этому обязательству и, в сущности, не так уж был и виноват. Но уязвленный Фишер отреагировал так возмущенно, что 29 января 1910 года Гессе должен был ему категорично ответить: *«Я* не могу более терпеть подобный тон, которым вы даете понять, что делаете мне одолжение, и я должен быть признателен. Если вы мной недовольны и не хотите меня оставить в покое, я буду исходить

лишь из коммерческих соображений и утверждать, что выполнил все пункты контракта с вами…». Фишер прекратил полемику.

Весной, когда начали распускаться первые листочки и мальчишки выбегали на улицу поиграть, в отношениях супругов началась совершенно инфернальная чехарда, не дававшая обоим ни мгновения передышки. В мае он уезжает в Баденвейлер в надежде успокоить головные боли; в июне она отправляется с детьми путешествовать. Едва она возвращается, как он быстро собирается и едет в Мантую и лишь 16 ноября оказывается под старым вязом в Гайенхофене со своими сыновьями, которые «чувствуют себя хорошо, только сильно шумят». Маленький Хайнер уже немного говорит. Старший Бутзи всем докучает. «Недавно он кинул камень прямо в голову малышу, — пишет возмущенный отец, поставив ему приличную шишку, а потом утверждал, что это ветер подул на камень. Я остро чувствую свою неспособность к роли воспитателя». Он обожает своих детей и отказывается их ругать и наказывать. Лишь они в Гайенхофене приносят ему ощущение радости жизни. И несмотря на это, едва возвращается их мать, как отец отправляется в Базель, Гейдельберг и дальше в надежде провести часть зимы в Мюнихе.

Гессе не хочет отказываться ни от своих детей, ни от своего дома, ни от своего сада, ни от Мии, но надеется «бесконечными путешествиями» улучшить свое настроение. Ему «необходимы другая атмосфера, общение с родными по духу людьми, открытость миру». Психологи подобные действия называют «бегством». «И, разумеется, так оно и есть», — скажет он. Мию же в равной мере мучили ностальгия по городской жизни и желание возобновить музыкальную карьеру.

Весь 1910 год они пытаются расстаться, совершенно не способные сделать это окончательно, предпринимая патетические усилия, чтобы поддержать шаткий мир. «Мне хотелось бы…», — вздыхают оба. Но их желанию противоречит неумолимость ситуации: «Невозможно. Дети не должны страдать». И они умолкают, продолжая жить вместе. С каждым днем их отношения все холоднее, они становятся все раздраженнее. Иногда время летит неощутимо быстро. Вокруг дома бегают беззаботные мальчишки в сопровождении гувернантки. Мия выбирает книгу для вечернего чтения, которая предназначена «повысить, — как говорит Герман, — уровень нашей культуры». Герман готовит игру в шашки для завершения вечера.

Вступает в свои права зима с тяжестью безнадежно надолго нависшего неба и нагих деревьев. Отец берет детей на колени, качает младшего, старшему рассказывает о своих планах на весну: о том, что он рассчитывает с помощью «Зеппелина»

перелететь через Линдо и Брегенц, о цюрихском озере, по которому хочет поплавать, о Миланском соборе, который намеревается посетить, про «Страсти по Матфею», которые охотно еще раз послушает в любимом им «Омбри». С наивностью он воображает уже цветные открытки, которые пошлет Мии. Из Орвието, из Сполето, из Монтефалко, из Сиены — отовсюду он напишет ей:

«Любимая, это чудо — небо усеяно звездами». Или еще: «Дорогая моя, какие же здесь водопады, горы, долины, чудесные пейзажи». Мать семейства носит третьего ребенка, но на душе у Гессе лежит грусть, и он признается своим друзьям-музыкантам Отмару Шёку и Фрицу Вруну, которые сопровождают его в итальянском путешествии: *«Я* отдал бы левую руку, чтобы вновь стать бедным и радостным холостяком, у которого ничего нет, кроме нескольких книжек, сапог да тетрадки стихов».

Гессе заинтригован предложением Самюэля Фишера, который намерен скупить права на издание всех его произведений. Он предлагает шестилетний договор на девять тысяч марок с выплатой по триста семьдесят пять марок в три месяца, которые не будут вычтены из гонорара писателя, если он обязуется предоставить издателю шесть своих будущих произведений. Никогда еще на Буловштрассе не заключался подобный контракт. Однако предоставление молодым авторам ежемесячной ренты для их поддержки не было таким уж необычным явлением — на самом деле, речь шла лишь об авансе в расчете на будущие прибыли. Герман ответил: «Вы можете быть спокойны, я обязуюсь не заключать, кроме договора на „Гертруду“, никакой другой контракт, и поскольку стремлюсь оставаться лояльным, думаю, мы найдем общий язык и в дальнейшем».

Он ежемесячно получает гонорары за проведение конференций, публичных чтений, за статьи и, особенно, за сотрудничество в «Мерц», который после смерти Лангена знает и взлеты, и падения. Журнал страдает из-за отсутствия единомыслия среди идейных вдохновителей. Людвиг Тома живет в Тегернсее, Конрад Хауссман — в Штутгарте, Гессе — в Гайнхофене: «Это плохо отражается на издании». «Журнал меня беспокоит», — пишет Гессе в декабре 1910 года. Но, по правде говоря, его беспокоит все. Все его огорчает: то, что он не хочет больше оставаться зимой в Гайенхофене, третья беременность Мии, постоянные конфликты с ней, письма просителей, нападки критиков. Шесть лет нервной дрожи, тяжких головных болей, усталости. Под Новый год его дети радуются подаркам под елкой, а он жалуется Марулле на свою жизнь. Он откровенно говорит о тоске, которая парализует его. Ни сад, ни природа, ни сыновья

уже не могут его утешить. Даже книга, за которую он принимается три раза в течение последнего года, которую изменяет, выбирая наконец форму повествования от первого лица, уступая своей давней склонности к самосозерцанию, внимательно вглядываясь в свою сущность и ее отражение.

Находясь между двумя субстанциями, одной чрезвычайно уязвимой, другой — темной, меланхоличной и гордой, писатель слушает два своих голоса и, влюбленный в невозможное, пытается постичь собственную мелодию. «В жизни главное обрести с ней контакт, услышать ее ритм, ощутить гармонию существования, мы все подвластны этому стремлению». Прототипом Куна стал австрийский композитор Гуго Вольф106, но самые жесткие элементы своего нового романа он почерпнул в Гайенхо-фене. Гертруда и ее муж несчастливы в совместной жизни: не успеет затихнуть один скандал, как назревает следующий, она больна, он чувствует себя потерянным. Они хотят расстаться и не могут. «Книга отражает то шаткое равновесие, которое заставляет артиста балансировать между любовью к миру и бегством от него», а Герман безумствует, ощущая то жажду, то успокоение, и предвзято воспринимает критику в свой адрес. Своему другу Теодору Хейсу он пишет: *«Я* не чувствую себя ни задетым, ни оскорбленным вашей критикой — я чувствую себя непонятым творцом. Если есть в Германии художник масштаба Штрауса, который не довольствуется поверхностными фразами, так это я».

Самюэль Фишер подозревает, что приближается неминуемый кризис. Гессе сам признается ему в этом: «На протяжении последних лет мне слишком часто приходится переживать состояния глубокой депрессии, одиночества, безнадежности настолько мучительные, что я предпочел бы им даже физическую боль». Конраду Хауссману он пишет 9 июля 1911 года на пределе нервного срыва: «Моя жена должна в конце месяца родить, а я, если все будет благополучно, собираюсь уехать… Я хочу сбежать». Да, ему необходимо уехать, очень далеко, к девственным лесам и незнакомым местам, к другим цветам, к другим запахам, к жаре, которую некогда испытывала его мать, качая его в колыбели и лелея песней тайную прелесть малаяламского наречия. «Я определенно решил отправиться к Малабарскому побережью», — говорит он Адели.

Он хочет пройти путем своих предков: увидеть скалы в песках, Талатчери, овеваемый дыханием морского ветра, пальмы, девушек, пахнущих левкоями. И чем ярче он представляет атмосферу, окружавшую его мать, когда она прижимала его к сердцу посреди сказочной страны, тем сильнее его охватывает

ностальгия по утерянному раю. Он слышит, как она шепчет что-то в промежутках между детским плачем, чувствует, как она баюкает его в своих руках, целует, закрывает ему руками уши, чтобы он не слышал звука собственных рыданий.

«Я заказал билет на Сингапур, — сообщает он Конраду Хауссману. Я хочу посетить Суматру, увидеть Куала-Лумпур, Цейлон и южную Индию». Сокровища старика Гундерта хранятся в доме Гессе, и он берет сандалии, сачки для бабочек, гербарий, гетры и большой клетчатый носовой платок, чтобы покрывать голову от солнца. Чего же он еще ждет? Его взгляд обращен теперь к нежности, разлитой в детских воспоминаниях, к небесному свету — бледному, нереальному. Его душу влекут вселенское молчание, дюны, земля, пересеченная реками, пробирающимися сквозь пески, населенная чернокожими мудрецами. Он убежден, что европейская цивилизация переживает период своего заката, — и стремится скорее прикоснуться к Востоку.

«Я предоставляю в ваше распоряжение 4000 марок, — сообщает ему Фишер. — Пишите мне что-нибудь или не пишите, во всяком случае, я рад, что вношу вклад в обогащение вашего творческого потенциала». Чудесный издатель! Необыкновенный дар! Чтобы проявить по отношению к Гессе такое благоволение, следовало ощущать всю глубину его таланта. Герман готов к путешествию: его ждут лучшие отели, тщательно выбранные маршруты. Он покупает смокинг, чтобы выглядеть достойно на борту корабля, собирает багаж и посылает родным в Кальв несколько писем незадолго до отъезда, намеченного на 5 сентября 1911 года: «У нас есть сын. Он в добром здравии и похож на мать. Бутзи и Хайнер очень счастливы. Мия нашла няню. Я скоро отправляюсь в путь».

В Гайенхофене загораются астры, колосятся посевы, и озеро приобретает свинцовый оттенок во время грозы. Мня перебирает пеленки, Бруно и Хайиер натягивают луки из орешника, словно ангелы, кормилица в полутьме перед колыбелью вытирает вспотевший лоб. В саду пахнет тимьяном, благоухает смоковница, лепечет младенец. Писатель склоняет голову в панаме с черной лентой: «Гейенхофен остается в прошлом. Он отправляется в Индию…»

Глава IX ВОЙНА

Теперь у ворот стояла война…

Г. Гессе. «Игра в бисер»

Герман не доедет до Индии. По крайней мере, до той Индии, которую знал Гундерт. Родная земля Марии — Талатчери — ускользает от него в конце недолгого путешествия, как если бы, отвлекшись, он забыл маршрут миссии, который вел его предков до первых хижин Мадраса. Быть может, он не был готов услышать их зов, был пленен всем этим человеческим муравейником, портами, минаретами, экзотическими рынками и соборами больших городов и отступил при приближении к последнему полуострову на Востоке, где ветры, остановленные встречным воздушным потоком с Гималаев, бушуют в долинах, преграждая людям путь.

Он поднялся в Генуе на корабль «Принц Эйтель Фридрих». Есть фотография, где он стоит среди группы пассажиров, рядом со своим другом, путешествующим с ним вместе, художником Гансом Стурзенеггером. Через Суэцкий канал и Аден, расположенный на берегу Красного моря, корабль направлялся в Коломбо на Шри-Ланку, когда внезапно произошла поломка и сквозь светлую ночь Гессе впервые увидел Синай. «От священной горы движется на убыль луна». Корабль стоит на месте, словно «жертва злой судьбы перед этой пустыней, где сотни болот, луж, прудов, заросших тростником, покрывают безрадостную равнину». По-настоящему почувствует себя поэт на Востоке лишь в Пинанге, при входе в порт, между красными парусами китайских лодочек, «что напоминают перепончатые драконьи крылья, вырисовывающиеся на фоне голубоватых гор Сиама».

Остановившись в одном из самых красивых отелей, «Эстерн энд ориентал отел», где ему предоставили шикарный номер из четырех комнат, Гессе уже торопится выйти без шапки и в легких туфлях, чтобы окликнуть рикшу, который отвезет его навстречу удивительной, неисчерпаемой, загадочной Азии.

Вокруг много китайцев: «Китайские магазины, ярмарочные торговцы-китайцы, китайские ремесленники, китайские отели и клубы, китайские чайные дома и китайские ночные заведения сомнительной репутации». Он отправился на поиски Индии, а столкнулся лицом к лицу с Китаем. Миновав пролив и острова, достигнув юго-запада Суматры, он останется верен этому впечатлению: «Индийцы не внушают мне уважения. Они — как

малайцы: слабые и неуверенные в себе. Китайцы же, мне кажется, обладают внутренней силой и верой в будущее», а в Сингапуре подытожит: *«Я* видел яванцев, тамильцев, сингалезцев и китайцев: последние достойны всяческих похвал! Другие жалкие потомки древнего рая, уничтоженного вторжением Запада, поглощенного им. Аборигены — милые, спокойные, любезные, умные и одаренные, а наша цивилизация стремится их уничтожить».

Он теряется среди шума малайского города, среди «улочек, где шествуют темнокожие индийцы, исполненные чувства собственного достоинства. Каждый из них напоминает раджу, потерявшего трон, но все одеты, как прислуга в воскресенье…» — пишет Герман. Они драпируются в разноцветные дешевые ткани и притом оглядываются на Европу. Китайцы же остаются верны себе: они скромны, одеваются в бледно-голубое, белое и черное, веселы и старательны и не стремятся походить ни на королей, ни на клоунов. Благодаря им Сингапур имеет вид, который может порадовать эстета: «Голубой, черный и белый цвета в городе преобладают. Мы можем им быть признательными за эти длинные спокойные и благолепные улицы, по обеим сторонам которых стоят скромные дома, сливающиеся в сумерках с небом…»

Гессе поселился в «Раффль» — английском отеле с садом, где поддеревьями с листвой, напоминающей гигантские веера, стояли столики с лампами. Его не остановила дороговизна этого шикарного типично колониального заведения. Несколько мужчин в тюрбанах с темными бородами, несколько женщин под вуалью, юные принцы, испачканные соком манго, «красавец брюнет с небольшим животиком и великолепным разрезом глаз», — неужели это все, что писатель запомнит об Индии? Ведь он ехал сюда, желая вкусить диких плодов, попробовать сладкий корень лотоса. оказался лишь туристом среди туристов, перед виски, к которому не прикасается, среди офицеров в шортах, рядом с пожилой англичанкой. Его мучают головные боли и желудок: английская кухня ему не по нраву, а индийская не идет на пользу, от сингапурской воды он страдает коликами. Его донимают комары и смутное чувство вины. Он думает об оставленной Мии, о детях, которых считает «лучшим, что у него есть». В Гайенхофене он грезил о магии Востока. В Сингапуре настроение его меняется: «Мои желания и мысли — в моей стране…»

Он вспоминает о докторе Френкеле и готов отдать ему должное, считая себя жертвой собственных ошибочных устремлений. С научной или философской точки зрения он не может определить свою болезнь, но угрызения совести

сдерживают его, точно якорь, увязший в песках, и стесняют свободу действий.

Всего день плавания отделял его от Малабарского побережья. Почему же он решил так быстро вернуться? Как это объяснить? По правде говоря, он отступал. Измученный мигренями, он бежал от того, к чему стремился. Чрезмерная тревога заставляла его исчезнуть прямо перед дверями Индии, как некогда из Кальва, когда умерла его мать. Отчего это скрежетание зубами, приступы тошноты? Может быть, он боялся обнаружить свои откровенные желания, где нет места символам и аллегориям, и таким образом потерять себя? На обратном пути пальмы, хижины рыбаков, джунгли малайских островов, обезьяны, реки Суматры, где полно крокодилов, и остров Сокотра со склонами из песка, белесыми и мертвыми, станут для Гессе последними видениями Востока. Что запомнит он из всего этого великолепия? Цветок — нежный, как недоступная Индия, — увиденный им на вершине холма в Нувара Элия: «Прекрасный белый цветок заставил воскреснуть воспоминания юных лет, которые не могут для человека сравниться ни с одним океаном, ни с одной вершиной в мире…»

«Я должен был отказаться от запланированного путешествия в глубь Индии… Отчасти потому, что жизнь там дорога, отчасти потому, что мой желудок, почки, весь мой организм не выдерживает тамошних условий», — так Гессе объясняет свое возвращение Конраду Хауссману. В Генуе он сходит с борта парохода «Йорк» и тут же отправляется в Швейцарию, куда прибывает в первой половине ноября. В Гайенхофене он оказывается в канун Нового года и не может сразу навестить Альберта Френкеля: *«Я* предпочел бы вас увидеть немедленно, но вряд ли это понравилось бы моей жене». Это вполне объяснимо. Мия устала от одиночества. Она не изменилась, все так же носит шиньон, украшает волосы крупными черепаховыми гребнями и хлопочет возле троих замечательных детей. Она их сфотографировала: двое старших склоняются над колыбелью младшего. От Мии они унаследовали покатый лоб, а от Германа — удлиненные черты лица. У Бруно гладкие волосы, Хайнер — кудрявый блондин. Они здоровы и полны жизненной энергии. В гостиной много игрушек, среди них сверкающая железная дорога. Путешественник показывает им альбом с почтовыми открытками: кокосовые рощи, густые заросли Зондских островов, лес из эбеновых деревьев, мангровые леса и Боробудур.

Увы! Экваториальное солнце не блистает над его родными местами. Туман, стелящийся над Боденским озером, заставляет Гессе сожалеть о «непростительной глупости», которую он свершил, вернувшись в негостеприимную пустыню, где его тотчас

настигли насморк и боль в горле. Он не может написать ни строчки, чтобы оправдать ассигнованные издателем на путешествие четыре тысячи марок, и отсылает их Самюэлю Фишеру. Тот, однако, возвращает ему деньги: «Вы не обязаны писать непременно об Индии. Это не задаток — это дополнительное вознаграждение, которое я вам предоставил, имея в виду задуманное путешествие, лишь затем, чтобы подбодрить вас и обогатить ваше творческое воображение». Под названием «Записки об индийском путешествии» Фишер опубликует все-таки несколько страниц путевых заметок Гессе, и в будущем его протеже создаст на этом материале свой очередной шедевр.

Зима медленно уходит. Мия слабеет. Европа погрязла в меркантилизме и экстравагантных амбициях. Германия активно вооружается. Тон журнала «Мерц» становится более близким националистическим настроениям, и это заставляет Германа буквально ощетиниться: «Я никогда не интересовался политикой и как гражданин никогда не стремился участвовать в политической жизни города, народа или даже семьи…» Здесь предпочитают шовинистские памфлеты. Людвиг Тома пускается в отвратительный конформизм. Конрад Хауссман молчит. «Европа» становится пустым словом. «Я готов заниматься критикой еще шесть месяцев. Потом, пожалуйста, „да“ или „нет“. Я хотел бы, чтобы мое имя исчезло с обложки „Мерц…“»

В субботу 26 мая 1912 колокола Констанц и всех деревень, расположенных на берегах озера, зазвонили в честь Троицына дня. «Идет дождь, — пишет Герман, — в моем очаге давно уже горит спокойный и мягкий огонь, около которого любят греться пожилые люди».

Мия приносит травяные настои и журналы. Праздничный день напоминает ему свадьбу, и потому он не в духе. В тридцать пять лет он обращает внимание на циклические закономерности в своей жизни: «Самым замечательным был одиннадцатый год моей жизни. Потом наступил другой период между двадцатью одним и двадцатью пятью годами. Эти безумные годы прошли, и теперь мне достается слишком мало часов, которые были бы достойны быть прожитыми — они скупо падают капля за каплей из чаши моей жизни». Он смотрит на женщину рядом с ним, понимая, как нелегка ее жизнь. Она устала от провинции, от нескончаемых зим, от бесконечных ночей и холода, который разрушает сад. Герман в ответ на подобную горячность проявляет равнодушие: «Мне все равно». Мия не хочет оставаться в Гайенхофене, но им нельзя ехать в Швабию, на родину мужа, потому что близится война. Она хочет, чтобы ее дети жили и получили образование в

Швейцарии.

Гессе пишет Конраду Хауссману: «У меня нет ни проектов на будущее, ни надежд, и я не думаю, что мне удастся состариться. Самое лучшее было бы для меня вести здесь жизнь отшельника, но это невозможно из-за семьи. Теперь я ищу в другом месте клочок земли, чтобы сажать салат — единственное занятие, к которому я отношусь серьезно. Уже давно я не испытываю иллюзий относительно того, что чтото может выйти из-под моего пера…»

Фишер, однако, издает сборник его новелл под простым названием «Окольные пути». «Маленький ученик, который переживает свою первую оплошность, и влюбившаяся продавщица столь же мне интересны, как герой, артист или политик, потому что они не относятся к избранным и дышат воздухом всего мира», — этот интерес Гессе к простым людям вызвал жестокие насмешки критики. Карл Буссе — давний друг, который издал в Берлине свой второй сборник поэм, — возмущается: «Почему автор злоупотребляет своим даром, описывая в деталях эволюцию существа, чья самая высокая цель состоит в том, чтобы расчесывать бороду и заплетать косы? В первом из этих рассказов представлена биография молодого человека, который должен стать нотариусом, но который в конце концов вместо этого открывает парикмахерскую. У Германа Гессе слишком много достоинств, чтобы разменяться по мелочам и чтобы расточать свой талант на пустяки».

Но что бы сказал Буссе, если бы увидел теперь лицо писателя, если бы заметил, как более сурово сомкнулись его брови, сколько морщин прорезали его лоб? Любят ли его в самом деле его поклонники? «Они меня считают или героем, вроде Камен-цинда, покоряющим вершины и хватающим быков за рога, или милым любезным господином, не лишенным чувства юмора, непринужденно улыбающимся с блаженным видом». Он курит сигару за сигарой, чуть не обжигая губы, и его пальцы с желтыми ногтями перелистывают страницу за страницей поэтические сборники. Он сверяет счета, просматривает рекламные анонсы издательства, различные описи. «Мои отношения с семьей, — говорит Гессе, — ограничиваются моим денежным вкладом».

Когда ему предлагают в Берне дом, где жил его друг художник Вельти, Герман замечает лишь недостатки: «Многие вещи должны быть улучшены. Туалеты просто средневековые. Везде сырость и ветхость. Потолок местами обрушивается…» Местность тем не менее ему нравится: дом расположен на окраине города, у подножия гор, под старыми деревьями. Он принадлежал не самому Вельти, а семье бернских аристократов.

И когда умер сначала художник, а потом вскоре и его жена, никто не удивился, что супруги Гессе взяли на себя выплату аренды и оказались обладателями части движимого имущества и хозяевами волчицы Зюзи, готовой подружиться с сыновьями новых жильцов.

В декабре 1912 года он пишет Людвигу Тома: *«Я* живу теперь в Берне с моей многочисленной семьей в сельском доме… Я нуждаюсь в хорошей музыке, живописном пейзаже, крупном городе…» И прибавляет: «И, конечно, мне необходим вокзал, чтобы иметь возможность время от времени исчезать».

Переехав, Герман и Мия стали обживать новое место, этот «дом на Мельхенбюльвеге близ Берна, расположенный чуть выше замка Виттигкофен… самым приятнейшим образом и словно бы специально для нас соединявший крестьянские и барские черты, наполовину примитивный, наполовину изысканно-патрицианский, дом семнадцатого века, с пристройками и переделками эпохи ампира… К особняку примыкал большой участок земли с хижиной, они были сданы арендатору, от которого мы получали молоко для дома и навоз для сада… За домом шумел красивый каменный колодец, с большой южной веранды, обвитой огромной глицинией, открывались за соседней окрестностью и множеством лесных холмов горы, цепь которых от Тунского предгорья до Веттерхорна… видна была целиком. И внутри этого дома было много всяких интересных и ценных вещей: старинные изразцовые печи, мебель, облицовка, изящные французские часы с маятником под стеклянными колпаками, старые высокие зеркала с зеленоватым стеклом, отражаясь в которых, ты походил на портрет предка, мраморный камин, в котором я неукоснительно разводил огонь осенними вечерами…».

Однако фотография Мии, сделанная после переезда и обустройства, красноречиво свидетельствует об ее отчаянии. Фрау Гессе сидит с отсутствующим видом, подперев голову руками, у трюмо перед большой вазой с сухими цветами, в казакине, отделанном шнуром, и в платье темного шелка. У нее не нашлось времени стереть пыль с мебели, где лежат остатки букета. Она грустна, небрежно причесана, руки скрещены на груди, лицо уставшее. «Лишь через несколько лет жена как-то сказала мне, — вспоминает позднее Герман, — что в этом старом доме, от которого сразу же, казалось, пришла, как и я, в восторг, она часто испытывала страх и подавленность, даже что-то вроде боязни внезапной смерти и призраков». Она дрожит при каждом шорохе, при каждом дуновении ветра, закрывает ставни, следит за детьми, Германом, который смотрит на нее сквозь круглые очки, и каждый день ждет дурных вестей.

Зимой Гессе заканчивает «Росхальде» и, поставив последнюю точку, так и не может ответить на вопрос, «нужно ли артисту жениться». Наверное, потому, что ответ однозначен. В замке Росхальде можно узнать дом в Берне, где в разных углах живут художник и пианистка, а их хозяйство находится в упадке. Они не расстаются лишь из-за маленького Пьера. Ребенок умирает после жестоких страданий от менингита, и это становится началом семейной агонии. «„Росхальде“, — пишет автор, — скоро будет издан, но я вижу в этой книге своего рода финальную точку. У меня такое чувство, что я должен попробовать осмелиться сделать что-то совершенно новое. Пусть теперь поздно, пусть потеряно много сил, но я не отступлюсь от борьбы за искусство». Эти строки были написаны 24 декабря 1913 года, а 29 декабря Гессе утверждает: *«Я* люблю мир и жизнь, и даже в боли ощущаю радость причастности космическим вибрациям. Таким может быть высшее предназначение: оправдание и преображение жизни кем-то, для кого она слишком мучительна и кто тем не менее горячо любит ее!»

Отец семейства встречает Новый год с родными. Он смотрит на старших сыновей, склонившихся над филателистическими альбомами, на Мию, берущую на руки из колыбели Мартина — младшего наследника. Над городом снег. Первый раз в жизни Герман не поехал в Кальв на новогоднюю религиозную церемонию, однако после своего азиатского путешествия поддерживает с Иоганнесом оживленную переписку. Его взгляды на восточную религию схожи с отцовскими: «Мусульманин черпает силы в неиссякаемом магическом источнике, с которым обретает связь, когда вечером падает ниц в молитве, где бы ни находился. Ощущает этот источник и буддист в прохладном вестибюле своего храма. Если мы не прикоснемся к этой истине в самой возвышенной форме ее проявления, мы, европейцы, не будем иметь никакого права на Восток».

В мартовские дни 1914 года, преодолев очередную депрессию, Гессе пишет отцу: «В последние дни, после десятилетнего перерыва, я испытал необходимость перечитать Ницше. Я не встречал образов более печальных, чем создал этот аристократ, обладавший необыкновенно тонкой внутренней организацией, который был всю жизнь невыразимо одинок и чья чуткая душа воспринимала малейшую боль». Между художником и его произведением существует тончайшая взаимосвязь. Гессе ощущает в себе ее трепет. Человек, написавший «Росхальде», где смерть ребенка знаменует собой крушение семьи, будто предчувствовал угрозу собственному дому.

Однажды весенним вечером Мартин, младший из его

сыновей, почувствовал себя плохо. «Лечащий врач считает, что у него нервное расстройство», — пишет Герман сестре Адели. Мия не оставляет сына ни днем, ни ночью. Жизнь ребенка висит на волоске. Его мучает жар, он бредит, у него все признаки недомогания, которыми страдал «маленький Пьер» из «Росхальде». Писатель начал эту книгу в Баденвейлере, где основательно изучил некоторые болезни. Ученик Самюэля Френкеля, молодой Гейнеке, рассказал ему о симптомах болезни, которая стала символом романа. И вот теперь события развивались будто по роману — Мартин, как и Пьер, болел менингитом. Несколько месяцев весь дом следил, затаив дыхание, за каждым движением маленького больного. Мартин начал выздоравливать только в первые дни августа, а совершенно измученная Мия еще плотнее задернула шторы: случилось то, чего она так боялась в последнее время, — разразилась война. Фрау Гессе готовилась к худшему.

Французские и немецкие войска сходились у Рейна. В Верхнем Эльзасе французы были отброшены 7-й немецкой армией. Но, по мнению Германа, «интересы союзников были настолько противоречивы, что оставалась полная неопределенность». Многие друзья из Берна, Базеля, Цюриха были призваны в армию. Многие из Гайенхофена пали подМульхаузе.

В Швейцарии было неспокойно. В Берне большинство поддерживало Германию, другие симпатизировали французам. Все с тревогой следили за наступлением русских из Галиции, которое угрожало перенести театр военных действий скорее к северу, к Танненбергу, чем к югу, к Карпатам. Герман хотел записаться добровольцем, но в консульстве ему отказали: он был негоден к военной службе. Он не отчаялся и обратился в «Комитет спасения» с просьбой о мобилизации в «Ландштурм». Он готов драться, потому что любит свою страну, потому что и швабы Гундерты, и Гессе с севера — германцы, потому что на вокзалах, на улицах, в деревнях, в пригородах, в университетах поднимается на борьбу весь народ. Правда, война не является оправданием для уничтожения культуры: «Мне мучительно видеть, как беспардонно презираются и оплевываются духовные ценности… Бойкот достижений искусства и литературы „вражеских“ народов — серьезная оплошность и ясно показывает, что мы, считающие себя прогрессивными, с нашими гуманистическими идеями, представляем собой слабое меньшинство». С сентября 1914 года Ромен Роллан призывает всех в союз «Над толпой», и Гессе его услышал, как, вероятно, услышит в 1915 году физика Альберта Эйнштейна и будет

приветствовать рождение пацифистской организации «Новая родина». «Как немец я испытываю определенные чувства, — пишет он 26 декабря 1914 года Волкмару Андреа, одному их своих друзей-музыкантов, — национализм для меня своего рода воспитание в человеке качеств, способствующих совершенствованию человечества. Как самоцель он никогда не был мне близок…»

Эти слова на фоне всеобщей истерии, отметившей первые месяцы войны, звучали как крамола. Вся Германия кидается за Вильгельмом II в битву с военными песнями на устах. Пангерманистская лига зовет к объединению и провозглашает спасительную войну. Соратники Гессе по «Мерц» карикатурист Теодор Гейне и журналист Людвиг Тома заставляют нонконформистскую газету приобрести крайне националистическую направленность. Учителя и люди искусства присоединяются к милитаристски настроенной буржуазии и индустриальным магнатам. Интеллигенция одержима военной горячкой. Даже писатель Людвиг Финк, дорогой друг Финк, раненный при захвате Бельгии, осмеливается написать, что «замечательно жить именно в этот исторический период». Для тех, кто в это верит, «все на фронте замечательно. В траншеях выздоравливают те, кто до войны был болен», как будто поле битвы — это курорт, а война — возможность для каждого укрепить здоровье и нервы.

Когда 19 сентября 1914 года сгорел Реймсский собор, в который попала бомба, швейцарский журналист Фердинанд Ходлер присоединился к возмущению, высказанному французской прессой в «Фигаро» и «Матэн». Из Германии ответили потоком едких карикатур. «Мерц» и «Симплициссимус» опубликовали несколько издевательских статей. Гессе в крайнем возмущении пишет своим старым друзьям: *«Я* оказываюсь по отношению к войне в очень мучительном положении. Все мои симпатии на стороне Германии, и я понимаю, что дух национализма там торжествует. Но я не могу его разделить… великий психоз… царящий в Германии, который ей, быть может, необходим, чтобы вести войну. Но радоваться такому положению вещей, находить его замечательным — нет! Это для меня невозможно».

Что же творится на фронте, чем вдохновляется армия — единством, способностью к жертве? «Там нет больше ничего, кроме разбросанных невесть где, не то в полях, не то в лесах, людей, потерявших надежду и веру…» Гессе отказывается присоединяться ко всеобщему безумию. *«Я* не могу думать об этом, — говорит он, — я тотчас же слышу голоса всех, кто

страдает…»

Вслед за Карлом Краузе110, вместе с Генрихом Манном, старшим братом Томаса, и Стефаном Цвейгом Гессе присоединяется к бесконечно малому числу интеллигентов, противостоящих массовому убийству. 3 ноября 1914 года он публикует в «Нойе цурхер цайтунг» первое из многочисленных предупреждений, которые будет появляться на протяжении всей войны. «Друзья, довольно этих звуков!» — великолепный заголовок, позаимствованный из завершающей части «Девятой симфонии» Бетховена, после которой звучит гимн во славу Шиллера. Без патетики! Без ненависти, без презрения, «нет» пушкам, страдальческим воплям — обойдемся без всего этого! Послушайте лучше, как возникают в жизни счастье, гармония цветов и звуков, дружба сердец. Герман Гессе в тридцать четыре года, один у подножия бернского Оберланда, пишет пацифистские воззвания, вспоминая, как в четырнадцать лет ответил на вопрос, предложенный ему на государственном экзамене: «Какие хорошие и дурные стороны человеческой природы проявляются во время войны?» У него слезятся глаза: зимой конъюнктивит обостряется. Керосина не хватает, и приходится довольствоваться слабым светом. Уголь тоже большая редкость, и он кидает в камин прессованную бумагу. Теперь приходится беречь детские галоши и митенки. Мия кутается в шали и протягивает к огню худые руки. Она плохо спит, подолгу лежит в постели и мучается такими сильными болями в спине, что ей вкалывают морфий. Это предвестие неврастенического криза, который подтолкнула болезнь Мартина и недавняя смерть ее отца, знаменитого математика и скрипача Бернулли. Сообщения с фронта ее огорчают, пугает близость размещенных в Эльзасе орудий, удручают материальные проблемы и злая молва, преследующая ее мужа. «Гессе — трус!» — слышится шепоток.

Поскольку он, находясь в Швейцарии, выступал против оголтелого фанатизма, поскольку, на его взгляд, единственным преимуществом этой войны была надежда на изменение сознания немцев, его проклинали, как во Франции проклинали Ромена Роллана. Его считали предателем, обвиняли в том, что он держится в стороне и пишет идеалистические манифесты. Проповедь мира между народами квалифицировалась как анархистская утопия. Считалось, что он выступает против национального сознания и тем самым совершает подлость. Его освистывали…

«Я жму вам руку, — пишет ему Ромен Роллан, его брат по духу. — Я слышал, как вы произносили слова, которые рассеивали тучи ненависти, слова дышащего чистотой

Бетховена». Как и Роллан, Гессе беспокоится о будущем Европы; ему присуща так же религиозность, которой наделен Роллан, — желание найти мистическую родину всего человечества. «Мы должны сдвинуть локти, мы, которые отказываемся с отвращением от этой зверской бойни», — пишет ссыльный из Берна ссыльному из Женевы, автору «Жан-Кристофа».

Обессиленная Мия спит. Ее только что навестила пожилая госпожа Шуман, живущая неподалеку от Берна, дочь великого музыканта. Разговор был оживленным. И они слышали, как гигантский поезд, нагруженный углем, двигался из Италии по направлению к границе. Если Италия в свою очередь вступит в войну, то до каких же масштабов разрастется конфликт?

В Швейцарии, однако, до кровопролития далеко, но атмосфера становится все более суровой. Улицы плохо освещены, газ приходится экономить. Ограничена продажа продовольственных товаров, одежды, кроме самого необходимого. Мия волнуется: трое детей требуют больших расходов, банки работают плохо, а Герман не дает денег. Многочисленные эпидемии уже охватили Берлин. Неужели они дойдут и сюда?

Гессе должен был дать жене успокаивающее, прежде чем браться за ответ Ромену Роллану.

«Если идет война, — пишет ему француз, — нам, свободным мыслителям всех национальностей, необходимо поддерживать духовное единство». У Гессе не было никаких оснований надеяться на приезд в Швейцарию этого человека, вызывавшего у него восхищение. Он не осмеливается выразить Роллану благодарность на его родном языке, так как плохо владеет французским. Он отвечает на немецком, зная, что его корреспондент испытывает глубокое уважение к Германии. Станет ли теперь Гессе у всех на глазах проявлять патриотизм? Чтобы обрести спасение, нужно смириться с мыслью о его невозможности. «Я не вижу в объединенной Европе, — пишет он в марте 1915 года, — прелюдию к человеческой истории. Европа, благодаря своей передовой мысли, будет поначалу управлять миром, но Россия и Азия в очень значительной степени обладают духовной культурой и религиозными ценностями. И со временем мы будем нуждаться именно в них…» Землю может обагрить кровь, глаза могут загореться гневом. Гёте был прав: «Самое сильное чувство национальной гордости вы найдете в недрах культуры». Гессе хочет быть патриотом, но в первую очередь он — человеческое существо и там, где понятия родины и человечества противоречат друг другу, делает безусловный выбор: «Я за человечность».

Как ему не прослыть за богохульника, когда он отказывается

присоединиться к всеобщему гласу патриотизма? Приняв открыто позицию защиты мира, Гессе отдалился от друзей, присоединившихся к милитаристски настроенным кругам. Он отвечает на все письма, но их количество увеличивается с каждым днем: для многих проницательный мудрец Гессе становится символом борьбы за мир.

Летом над столицей сгущаются грозовые тучи. Беженцы двигаются между Бриенским и Тунским озерами, и на самом высокогорном в Европе вокзале встречаются тайком представители интеллигенции всего мира, писатели, журналисты, финансисты, стремящиеся найти общий язык во имя преодоления сложившейся ситуации. В Женеве специальное агентство работает с пленными, швейцарский Красный Крест занимается ранеными, почтовые службы стараются восстановить связи между потерявшими друг друга членами семей захваченных стран. Апартаменты шикарных отелей являются свидетелями ночных бдений блистательных путешественников, прибывающих с секретными миссиями и хранящих в тайне свои имена.

12 августа 1915 года в старом бернском доме появился иностранец, примерно пятидесяти лет, с кустистыми бровями. У него худое лицо, которое отличает благородство черт, и живой взгляд. Прибывший представляется: «Ромен Роллан». «Гессе на вид тридцать-тридцать пять лет, — запишет французский писатель в своем дневнике. — Он среднего роста, у него неприятное лицо, круглая голова, редкие волосы, жидкие усы, серо-голубые глаза за стеклами очков, холодный взгляд, привычка двигать бровями, которых почти не видно, красновато-кирпичный оттенок лица, огромные челюсти…»

Оба взволнованные, они пожали друг другу руки. Посидели на скамейке неподалеку от дома, откуда открывался вид на альпийские вершины, потом отправились в рабочий кабинет, где царил беспорядок со времени болезни Мии. Бруно и Хайнер, загоревшие и наигравшиеся во время каникул, излучали такую жизнерадостность, что посетитель не уставал ими восхищаться. Гессе было трудно говорить, он подыскивал французские слова, мешал их с немецкими. Но писатели вскоре нашли общий язык. Борьба, которая их объединяет, трудна. Многие люди, которых оба уважали, поддались на гнусную пропаганду. И в этом обществе, на шаткой земле, изрытой оврагами и испещренной болотами, тяжело брести без поддержки старых проверенных друзей. Горстку интеллектуалов считают «романтически настроенными нытиками» и преследуют насмешками. Во Франции «Голуа» обвинила Ромена Роллана в том, что цель его поездки в Швейцарию — «…заменить эхо пушечных выстрелов на

звук пастушьих свирелей».

Близ владений Гессе действительно звучат колокольчики пасущихся стад, однако эти двое готовы принять участие в военный действиях. Их шпага — это перо, активный протест, мужество. Обвинения, которые им бросают, могут быть смертельны, как пули. Интеллектуалы всегда были первыми жертвами агрессоров, которые никогда не прощали им убеждения в превосходстве разума над силой.

Гессе горячится: «Мы в Германии не страдаем так, как вы во Франции, потому что нас не принимают всерьез… Говорят: это писатели, все еще старающиеся уподобиться Гёте или Гердеру…» В саду пахнет лугами, и они идут прогуляться. Наступает вечер. По небу тянется стая птиц. Голос Гессе приобретает таинственный тембр. Он рассказывает о своем детстве, о дедушке из Прибалтики, о бабушке, происходившей из семьи с древними романскими корнями, о своем тяготении и к северу, и к югу, говорит о поисках внутренней свободы. Ромен Роллан, бургундец, которого восхищает немецкая культура, внимательно его слушает. «Мучительные противоречия восточной культуры, страдания, сомнения, надежды, вся трагедия европейского сознания» составляет содержание беседы этих двух стоиков, держащих путь среди нежной красоты швейцарского пейзажа. В темноте поблескивают листья глициний. Они вспоминают убийство Жана Жореса, захваченную Бельгию, Стефана Цвейга, который «хочет собрать в Женеве лучших представителей всех наций и организовать своего рода Парламент морали». И говорят о Германии, подарившей миру ощущение божественного, культура которой содержит огромный потенциал радости жизни, о Германии, владеющей блистательными мыслителями, великой поэзией и музыкой. Гессе высказывает свою приверженность искусству и культуре Азии: «Это гармоничный и обладающий внутренним единством идеал, который дает возможность постичь жизнь во всей ее полноте, воспринять внутреннее содержание и небесного, и земного одновременно, это понимание жизни как субстанции, характерной аристократическим равновесием составляющих ее элементов».

Поздним вечером Герман и Мия проводили гостя до станции Остермундинген, откуда он доехал до Туна, где в отеле «Бельвю» его ждала почта. «14 августа, — записывает Роллан в дневнике, — Гессе мне написал, что в случае, если мне это доставит удовольствие, его друг Граф, органист Мюнстера из Берна, будет в моем распоряжении, чтобы исполнить для меня в соборе произведения предшественников Баха — Букстехуде, Шюца, творчество которых он хорошо знает». «Есть только одно

королевство мира, — продолжает Гессе, — и оно несокрушимо, оно находится в сердце каждого человека, который понимает всю глубину Баха, Платона или „Фауста“. Жить в этом королевстве, считать его своей родиной и участвовать в его создании возможно для каждого из нас».

9 августа 1915 года Герман пишет сестре Адели: «Уже некоторое время в сотрудничестве с посольством Германии в Берне я осуществляю новую деятельность. С одной стороны, это помощь военнопленным, с другой — то, о чем я должен молчать». Какие же дела захватили Гессе настолько, что, как он пишет Эмилю Мольту 9 октября 1915 года, у него «нет больше ни времени, ни соответствующего душевного состояния, чтобы заниматься поэзией»?

Не секрет, что эта миссия состояла в осуществлении связи между французским Министерством иностранных дел и либерально настроенными политическими деятелями Германии. Французское посольство в Берне увидело в лице Гессе идеального посредника. Писатель же решил привлечь к переговорам Конрада Хауссмана. В телеграмме от 8 августа 1915 года он сообщает Хауссману о прибытии французского дипломата: >«Парижанин должен прибыть между 10 и 15 августа. Приезжай, пожалуйста…» Кто был представителем французской стороны, неизвестно, неизвестны также темы состоявшихся бесед. Об этом можно лишь строить предположения той или иной степени вероятности. В Германии, как и во Франции, существовали две позиции: одни стояли за войну до победного конца, другие — за прекращение кровопролития. Во Франции Морис Баррес из своего рабочего кабинета посылал в «Эко де Пари» статьи, призывающие к истреблению давнего врага. В Берлине философ Макс Шелер восторгался германской культурой и осуждал романскую цивилизацию.

Однако немецкий народ устал от ненависти. Герман Гессе понял это, когда по пути в Штутгарт посетил Фрибург и Лорраш, куда сопровождал немецкого профессора Ричарда Волтерека, вместе с которым занимался проблемами военнопленных. Он делится своими наблюдениями с Роменом Ролланом 4 октября 1915 года: «К тому же в Германии у меня сложилось впечатление, что в народном восприятии идея ненависти не занимает главенствующего положения». Война нужна милитаристским кругам для удовлетворения амбиций и военным магнатам для обогащения. Маленький народ желает мира. Германия являет собой патетический образ огромной затравленной провинции. Лица людей хранят выражение обреченности.

То, что во Франции ситуация была несколько иной, вполне

объяснимо: война разворачивалась на ее земле, ей хотелось отыграться за унижение 1870 года и отвоевать потерянные провинции, несмотря на неудачи маршала Жозефа Жоффра в Артуа и Шампани.

Во время своего краткого пребывания в Германии Герман имел возможность посетить Швабию, дышавшую осенней прелестью. Шварцвальд все так же простирает свои владения. В долинах возвышаются замки, и везде царит такой покой, что трудно поверить в реальность войны: мирно журчат ручьи, а школьники сидят как обычно в школе за своими тетрадками. Но все привыкли питаться картошкой и собирать ревень, чтобы варить на зиму варенье. Люди сохраняют косточки от фруктов, чтобы добыть из них масло, и женщины достают из чулана древнее веретено. Мало мужчин, много детей и старых ремесленников, которые с радостью узнают потомка Гессе и Гундер-тов. Столпившись возле фонтана, они обсуждают цены на хлеб и займы, которые не помогают закончить войну. Родное жилище Германа не изменилось. Издательство не функционирует из-за недостатка бумаги и находится под охраной, а жилая часть дома закрыта. Иоганнес почти ослеп и живет теперь вместе с дочерью Маруллой, которая служит учительницей в Корнтале. Герман навещает их не более чем на полчаса: время его путешествия жестко расписано.

По возвращении в Берн он занимается организацией библиотек для военнопленных, ищет деньги на приобретение шедевров немецкой литературы и торопится 10 октября 1915 года опубликовать в «Нойе цурхер цайтунг» свои впечатления от путешествия. В статье ему удалось обобщить свои наблюдения и заключить в итоге, что он увидел народ, несмотря на свои страдания, исполненный трудолюбия. Но тот факт, что эстет его возраста позволяет себе высказываться в таком роде, когда другие писатели защищают свою родину с оружием в руках, вызывает у злопыхателей волну возмущения. Но если правда, что при очередном призыве каждый раз Гессе признавался негодным к военной службе, то правда и то, что он страдал от этой ситуации: «В Штутгарте у меня есть кузен, человек весьма жалкий, рядом со мной настоящий карлик, которого сочли подходящим для службы!» Ему не дают покоя клевета и оскорбления. Ежедневная газета «Кельнер тагеблатт» нападает на писателя: «Красная краска стыда должна броситься в лицо каждому уважающему закон немцу! Когда родина в великом несчастье, когда патриоты берут в руки оружие и отдают свою кровь, молодой и знаменитый „рыцарь немецкого духа“, блистательный автор „Петера Каменцинда“ хвастается тем, что спокойно остается в укрытии,

демонстрируя свою трусость…»

Это уже слишком! И 1 ноября Теодор Хейс выступает в защиту писателя: «Если проявить объективность, „укрытие“ малореально. Гессе не отличается воинственностью. У него слабое здоровье, он страдает близорукостью, неврозами, он был бы, без сомнения, совершенно непригоден как солдат. Но он может иначе служить своему государству». Его поддерживает Конрад Хауссман в штутгартском издании «Дер беобахтер л'обсерва-тёр»: «Можно вспомнить, что в Германии были публицисты, которые выступали против Гёте, вменяя ему в вину, что в 1813 году он держался в стороне от происходивших событий. Теперь можно лишь улыбнуться на банальных фанатиков, которые не заметили, что Гёте и без прославления войны внес гуманистическим содержанием своего творчества огромный вклад в немецкую культуру, в духовную свободу, благодаря которой Германия обрела необходимые силы для выполнения своей миссии. Герман Гессе был воспитан на творчестве Гёте».

Стефан Цвейг записывает в дневнике: «Тевтонцы не считают его в достаточной мере тевтонцем». Ромен Роллан сетует: «Германа Гессе, как и меня, оскорбляют соотечественники. Его считают трусом». На все оскорбления Гессе дает ответ, который публикует 2 ноября 1915 года «Нойе цурхер цайтунг»: «Эта война состарила меня на десять лет. Но я не потерял надежду и не разочаровался в значимости своего поста. Я не уступлю крикунам. Вскоре, я надеюсь, время склок пройдет, и наступит пора восстановления накопившихся руин. И этот процесс будет происходить без крика, возбужденных жестикуляций, размахивания шашкой: здесь потребуется упорная работа и самоотречение. Я знаю, что в Германии тысячи людей думают, как я; и это не бахвальство нескольких пригревшихся писак, которые намерены заставить их дрожать. Я прошу всех мыслящих людей не верить в то, что вопли этих склочников олицетворяют голос истинной Германии…»

Война тем временем набирает силу. Сербы отступают. И на западе, и на востоке ожидаются неутешительные перемены. Промилитаристские и пацифистские круги обмениваются взаимными оскорблениями. Общественное мнение сегодня дискредитировало то, чему вчера пело дифирамбы. Герман Гессе осуждает и оголтелую промилитаристскую пропаганду, и пустопорожние речи либералов. «Вы, ратующие за мир, у которых было время и финансовые возможности писать и издавать ваши газеты и брошюры, арендовать залы и проводить конференции, куда отдадите вы свои деньги? В какой организации, в каком

госпитале служат ваши жены? Никто не сомневается в искренности ваших убеждений. Но теперь наступило время, когда убеждения должны превратиться в действия… Вы все теперь представляете самую бесплодную, самую бессмысленную в мире организацию. Вы жертвуете жизнью во имя идеала. Вы пренебрегаете реальностью во имя мечтаний о будущем. Я осуждаю вашу болтовню там, где полно дела!»

Неужели это тот самый Гессе, который создал «Романтические песни» и «Петера Каменцинда»? Задетый за живое, доктор Лео Эльснер, президент австрийского сената и вице-президент Австрийской ассоциации за взаимопонимание между народами, почувствовал себя объектом этой критики. Он спрашивает себя, хочет ли Гессе таким образом прогнать торговцев из храма, воображает ли себя Иисусом, или просто старается блеснуть своим талантом фельетониста?

Однако Гессе искренен: «Кто сегодня даст хотя бы талер раненым, кто подарит книгу военнопленным, кто напишет адреса на посылках или поможет закупить одежду и обувь для людей, которые замерзают, те сделают неизмеримо больше, чем вы со своими речами, брошюрами и конференциями. Оставьте мысли о будущем человечества и подумайте о раненых, накормите голодных, утешьте тех, кто нуждается в утешении, сделайте подарки тем, кому они нужны. Тогда в ваши слова можно будет поверить вновь».

Тот факт, что теперь, после того как он был раскритикован немецкими промилитаристами, на него яростно накинулись венские пацифисты, действительно может удивить. Однако писатель всегда испытывал крайнее отвращение к коллективизму и оставлял за собой право высказывать собственные мысли. Как и мир, война «представляла собой жизнь, все это было реальностью, все это было осязаемым и мощным потоком жизни, иногда прекрасной, иногда чудовищно безобразной, как кровь, алая кровь…», — пишет Гессе. Таким образом, он присоединялся к современным ему философским концепциям, согласно которым лишь практическое действие способно дать толчок внутренней трансформации индивида и таким образом изменению мира. Воин может во время войны совершать акт любви, как и пацифист в тот день, когда, не проповедуя более, «помогает, собирает подписи, дает, объединяет, утешает, восстанавливает».

С начала войны Гессе участвовал в движении за защиту мира, собрав своих соратников под маленьким знаменем. Но теперь мир говорит языком орудий и торпед. Человечество взывает о помощи. Что делать? Войти с открытыми глазами в гущу событий, презрев жестокость, и «обратиться смиренно к своим

обязанностям, о многообразии которых постоянно напоминает нам жизнь»? Герман отвечает на сотни умоляющих писем. Его дом в Берне превратился в благотворительное заведение. «Уже несколько месяцев, — пишет он, — я работаю по двенадцать часов в день. Мне помогают две машинистки. Я руковожу двумя отделами и вынужден бегать с утра до ночи, несмотря на мою нелюбовь к суете». В нем нуждаются, его узнают, приветствуют, размышляют над его книгами, — как будто это не книги, а кусочки неба, где плывут облака, влекомые порывами ветра, — его спрашивают обо всем. Цивилизация — это благо? Счастье?

С официальной точки зрения, благом считается война. «До 1 августа 1914 года считалось, что счастье — это комфорт. Люди, занятые обеспечением комфорта, нисколько не заботились о подлинной цивилизованности. Поэтому, сойдя с ума, они бьются теперь насмерть», замечает писатель.

Мия подметает, убирает в доме, готовится к Рождеству. Дети рядом: десятилетний, шестилетний, четырехлетний. Двое старших растут сильными и здоровыми, настоящие швейцарцы, с мешком за спиной вдыхающие чистый горный воздух. Младший, которого прозвали Бруди, «маленький брат», лечится то в одной, то в другой клинике от менингита. Берн со своими катками, общественными организациями, улицами со старинными фасадами и колокольнями с часами олицетворяет собой Швейцарию. Гессе любуется этой страной, первой в Европе с середины XIX столетия предпринявшей политику сосуществования столь различных составляющих ее народов. Быть может, это пример для будущих поколений?

Слишком много траура, чтобы праздники были веселыми. Семья собирается вокруг елки, отец Гессе имеет вид измученный и набожный. В этом году Гундерты разделятся между Кальвом и Корнталем, где живет слабеющий Иоганнес. Везде страдания. Повсюду умирают люди. Невыносимая глупость довлеет над народами. У германцев больше нет сил как бы то ни было реагировать на происходящее. Над ними закон. Братья Хауссман в Штутгарте, старые друзья по «Мерц» в Мюнихе объединяются вокруг Теодора Хейса. Стефан Цвейг возмущен равнодушием Вены: «Я с трудом выбираюсь из дома. Я не испытываю никакого удовлетворения при виде людей, погруженных в банальную повседневность». В Париже разворовали и продали с молотка всю обстановку и рукописи Райнера Мария Рильке, мобилизованного в Австрии.

Все — родители, друзья, коллеги — нашли в своей осенней почте книгу, появившуюся в серии «Библиотека современных романов Фишера». Это был роман, написанный Гессе в 1907–1913

годах в Гайенхофене и Берне. Ромен Роллан обрадовался: «Герман Гессе прислал мне свою последнюю книгу. Герой — милый бродяга с большой дороги, фланер, любитель проматывать деньги, вечно влюбленный и вечно оставляющий в сердцах людей своего рода ностальгию».

Что общего между этим веселым, легким на подъем путешественником Кнульпом и сорокалетним Гессе, который не может похвастаться хорошим самочувствием? С одной стороны, это молодой повеса, который ухлестывает за служанками в трактире «Дю бёф» и танцует в баре «Дюлион». Он карабкается через заборы и философствует на тему смерти, любви и красоты, которая не может быть вечной. Он встречается с Генриеттой, клянется в верности только Лизабете и любит только Франческу. С другой стороны, это уставший писатель, который может пошевелиться лишь затем, чтобы разобрать книги, утешить сердца, забыть оскорбления, возжечь огонь молитвы и отобрать несколько зерен для садовых посадок. Нужно было, чтобы Кнульп, больной туберкулезом, умирающий, после долгого странствия и обретения «Герберзау» — своей родной деревни, где многое изменилось достиг, как Гессе сегодня, согласия с самим собой. «Слушай, — говорил ему Господь, — ты мне был нужен такой, какой ты есть…». Так, словно ручей, ушел Кнульп, непостоянный, эфемерный, с вечно влюбленным сердцем! Его душа трепетала, ловя ритмы жизни. Когда он уснет в конце долгого пути посреди холодного заснеженного леса, на лице его будет сиять улыбка, и он будет слышать божественный голос: «Во имя мое ты странствовал и пробуждал в оседлых людях смутную тоску по свободе. Во имя мое ты делал глупости и бывал осмеян; это я сам был осмеян в тебе и в тебе любим… все, что ты испытал и выстрадал, я испытал вместе с тобой…». То, что он был ребенком и братом Господа, Кнульп всегда в глубине души понимал: и потому он умирает спокойно, опустив голову на грудь: «Все было справедливо!»

Замысловато закрученный шейный платок поддерживает мягкий воротничок. Взгляд пророка, ямочка на подбородке, благородство черт — таков человек, садящийся на поезд в марте 1916 года после зимы, наполненной изнурительной работой, бессонницами и бесконечным самоотречением. Гессе отправляется на конференцию в Винтертур через Цюрих: «Я бродил по вокзалу… Угнетенных лиц гораздо больше, чем счастливых. Столько мучений… Люди дышали ядом вместо воздуха, вместо воды на них изливались страдания и печали, люди глотали горе вместо хлеба. Я шел, и в голову мне приходили бесполезные мысли, когда я увидел перед собой

Отмара Шёка». Герман обрадовался их встрече. «Тогда Отмар посмотрел на меня настолько странно, — расскажет он много лет спустя, — что я заподозрил что-то неладное. Я почувствовал, как тоска и холод вновь охватывают меня… И я услышал тихий голос моего друга: Тессе, твой отец умер».

Глава X АБРАКСАС, ИЛИ ОСОБЕННЫЙ ОПЫ

Истинное призвание каждого состоит только в одном — прийти к самому себе… найти собственную, а не любимую судьбу, и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо…

Г. Гессе. «Демиан»

Иоганнес покинул этот мир 8 марта 1916 года.

«Он умер быстро и без мучений: ушел безмолвно, не пошевелившись, бесшумно», — сказали Адель и Марулла, когда Герман приехал в Корнталь. Он сам позже вспоминает: «Наш отец покоился на своей кровати среди цветов, его руки были одна на другую положены на груди, открытый лоб придавал лицу с сомкнутыми веками выражение царственности. Казалось, он прислушивается с глубоким и искренним удивлением к безграничному молчанию, которое теперь окружало его. Отец, о, отец!» Герман не сдерживает слез: «Плача, я поцеловал его руки и прикоснулся к его каменному лбу, вспомнив, как он всегда просил, когда кто-нибудь из нас зимой с холода возвращался домой, положить ему руки на голову. От этого у него проходила мигрень. Теперь мои дрожащие и горячие ладони касались его холодного лба».

В глазах строптивого ребенка пастор представлял собой ненавистного судью, вызывавшего одновременно почтение и возмущение, позднее его представление изменилось. Этот человек, рано подвергшийся влиянию пиетистского мировоззрения, посвятил свою жизнь религиозным исследованиям. Поглаживая седую бороду, он смотрел на Германа сквозь очки «проницательным и исполненным любви взглядом». В последние годы между отцом и сыном, такими похожими и такими разными, сложились светлые и доверительные отношения. В этом суровом служителе Господа Герман увидел человека страдающего, как и он сам, восприимчивого к искусству, ранимого, требовательного, стремящегося к знанию, способного к истинному душевному участию. Вместе пережили они напрасные мучения, ими самими на себя возложенные, а потом нашли общий язык как собратья по

духу.

Ушел из жизни сын Дженни Ласе, меланхоличной курляндки, и Карла Германа Гессе, балтийского патриарха. Гениальный интерпретатор Священного Писания, рыцарь Слова, болезненно пунктуальный Иоганнес до последних мгновений проповедовал с высоты своей кафедры пиетизм, в истинность которого верил безгранично. Благодаря евангельской непримиримости, достойной великих реформаторов, он имел безупречную репутацию. За эту невыносимую правильность юный Герман его ненавидел, и их отношения превратились в непрерывные мучения: «Отец знал всё и заставлял меня плясать под его дудку, выделывать кульбиты, словно мышь, попавшую в мышеловку, перед тем как ее утопить. Лучше бы он меня сразу поколотил!» Все что угодно, только не это воплощение благопристойности и благонравия, бормотал он раньше, желая, чтобы его отцом был даже пьяница и грубиян, лишь бы не этот добродетельный ученый. Жестокое проклятие! Теперь при воспоминаниях его преследовали угрызения совести.

Через открытое окно в комнату проникал запах нарциссов и свежий ветер с долин. «Высшая ясность и царственность, подобные величественному спокойствию горной вершины, навеки запечатлелись в лице умершего». На руке Иоганнеса блистало обручальное кольцо. Адель тихонько сняла его и отдала Герману. Это было кольцо Марии, которое она подарила своему первому жениху и которое десять лет спустя после второго замужества передала Иоганнесу. Оно было узкое, изысканное с выгравированной на внутренней стороне фразой, отражавшей пиетистское представление о супружестве как о мистическом любовном союзе: «Да будет так, как между королем и королевой, принцем и принцессой».

В этот вечер Герман долго вертел кольцо в руках и наконец, привыкнув к нему, надел на безымянный палец. Вспомнив столько раз виденную им руку отца, украшенную этой вещью, он разволновался и отправился к сестрам. Они сочли, что теперь рука Германа очень похожа на отцовскую — с длинными фалангами пальцев, короткими ногтями и синими прожилками на ладони. *«Я* чувствую себя, — будет он повторять, — очень на него похожим тысячей разных мелочей, я часто ловлю себя на мысли, что обращаюсь к Мии и детям его словами, использую привычные для него жесты».

Иоганнеса похоронили на кладбище Корнталя. На надгробном камне были выгравированы слова псалма, которые он выбрал сам: «Когда рвется веревка, птица улетает…» Душа пастора, который ненавидел расточительство и, обращенный к

Небу, осуждал мирскую ограниченность, открылась Герману слишком поздно. Как он хотел теперь попросить у него прощения: «Прощение отца было настоящим прощением, единственным, которое означало согласие с самим собой, утешение, новое единение с силами блага».

Иоганнес нашел последний приют в Корнтале, а Мария покоилась в Кальве, среди Гундертов. «Теперь у меня нет страны…», — вздохнет Герман. Его жизнь определялась предначертанием, именовавшимся «Отец», и суровой нежностью, звавшейся «Мать». Он понимает, что его жизненный путь хранит их следы. Быть может, он никогда не снимет траура. Его родителей больше нет, а себя он чувствует старым измученным человеком. «Как человеческие существа могут быть близкими, испытывать друг к другу лучшие чувства и при этом налагать на себя ужасные кары?» — этот вопрос будет неотступно его преследовать где-то в глубинах души.

Напрасно Гессе пытается найти отдых в итальянской Швейцарии, напрасно овевает его теплый южный ветер «у скал, окутанных туманом, над озером Лаго-Маджоре, между Лозоном и Ронко». Раскинув руки, он лежит на траве и, смотря в небо, размышляет о себе и об ушедшем: «Вероятно, для нас есть долгий огненный путь к прекрасному, удивительному и глубокому покою, печать которого я увидел на лице умершего отца…» Он вернулся к себе в состоянии более глубокой депрессии, чем после смерти дедушки с бабушкой и матери, и пишет Алели: «Мне необходимо раз в неделю показываться доктору в Люцерне». В комнате, куда солнце с трудом пробивается сквозь жалюзи, сидит суровая Мия и держит на руках Мартина. Он сверяет счета своих военных библиотек и работает над «Дневником военнопленных». Лишь сестре он поверяет сокровенное: «С папой для меня во многом связаны неутешительные мысли, я часто упрекаю себя. Я о многом не успел с ним договорить и доспорить».

У Гессе развивается болезнь, вызванная глубоким внутренним кризисом. Из Люцерны, где лечился весной, он написал Елене Вельти: *«Я* ощущаю симптомы плохого настроения и упадок духа, то, что копилось во мне многие годы и теперь требует каких-то действий». К чему все это его вело? Неясно: «Может быть, к возвращению в мир, может быть, к еще более глубокому одиночеству».

Смерть отца, развитие у Мии шизофрении, болезни, которой страдал и их младший сын, — это было уже слишком! «У вас болезнь, которая, к сожалению, теперь в моде и которую часто встречаешь у интеллигентных людей, — заставил писатель сказать в 1909 году одного из персонажей „Гертруды“. — Она

сродни нравственному безумию, ее можно назвать также индивидуализмом или воображаемым одиночеством». Он еще не читал трудов по психоанализу ни Зигмунда Фрейда, ни Карла Густава Юнга, но предчувствовал существование бессознательного и в трепещущем внутреннем пространстве «Германа Лаушера» обозначил вибрации этих таинственных проявлений души, ощущаемых им самим. Он не может больше один справляться со всем этим. «В ком, в самом деле, — спрашивает он себя, — обнаружится столько сил, чтобы потребовать от меня откровенности и прервать мое одиночество?»

Война набирает силу, а в венских театрах идут спектакли, на улицах развеваются флаги, вечером загораются фонари. В городе древней культуры, беззаботной столице развлечений, Фрейд, которому исполнилось шестьдесят лет, продолжает свои научные исследования. Несмотря на предрассудки, с которыми сталкивается, он теперь на вершине славы. Его гений признан, его метод проверен: психоанализ лечит. Он оказал огромное влияние на современную психологию. Многие практикующие врачи — его ученики. Однако Карл Густав Юнг в 1915 году выразил с ним несогласие в вопросе о природе неврозов.

По Юнгу, сексуальный инстинкт не объясняет всего, тем более не объясняет всего мотив воли к власти. Чтобы понять человеческую психику, необходимо, по его мнению, всеобъемлющее исследование. Нет ни одного человека среди нас, чья душа не вобрала бы в себя опыт предшествующих поколений. В любую эпоху, замечает Юнг, происходят определенные загадочные явления в сознании людей. Он считает, что есть универсальные и вечные символы. Не подтвердил ли это Гессе в своих произведениях? Балтийские легенды и индийские инкарнации он объединил в одном мгновении настоящего, удивительно могущественном, отмеченном одновременно экзальтацией и некоей разрушительной силой. Ах нет! Невозможно безнаказанно оттолкнуть все эти тайны. Этот мечтатель блуждает в чаще проклятий, кошмаров, среди ядовитых сумерек, он отворачивается от бескрайней темноты, живой — изменчивой, словно море, неминуемой, как ритмы космоса.

Сорокалетний Гессе ощущает себя в круговращении вещей, в тесном пространстве нищеты, развлечений, слов, бедной измученной души, противопоставленной существующему миропорядку. Он не в состоянии объяснить себе множество вещей. Как в полной мере стать самим собой? Как приручить этого загадочного брата-двойника, присутствие которого он постоянно ощущает, как использовать эту землю, опасную и

неизведанную? Как не стать рабом ночи и постичь законы внутреннего самосовершенствования, законы Неба, сознавая свою ответственность перед небом и землей? Как жить?

Радикальные изменения в мировоззрении Гессе приходятся на рубеж 1916–1917 годов. Он скрывается от мира. Напрасно искать его за рубкой деревьев в бернском саду, или среди организаторов помощи военнопленным, или взявшимся в очередной раз за перо. Есть замечательная фотография: он, бледный, со взглядом отшельника за тонкими стеклами очков. Его внимательный взгляд, кажется, устремлен в глубину собственного сознания. В клинике Люцерны Гессе познакомился с учеником Юнга доктором Лангом. Этот крупный тридцатипятилетний мужчина был моложе своего пациента. У него круглые, широко поставленные глаза, удивительно проникновенные, и привычка смотреть всегда прямо в лицо собеседнику. «Сравнить общение этих людей с процессом лечения было бы ошибкой, — пишет Гуго Балль, первый биограф Германа Гессе. — Врач из Люцерны дал ему совершенно независимые от медицинской науки разъяснения». С его помощью Гессе надеется обрести внутреннюю свободу, избавиться от определенных иллюзий и изменить себя.

Вот он сидит на террасе напротив психолога, брови подняты, руки на коленях, рядом в стакане только что срезанный цветок. Время остановилось. Озеро Катр-Кантон смешивает в своих зеленых водах отблески Рижи с дыханием вечера. Гессе часто ощущал возможность чуда. Если предположить, что при помощи алхимии можно из свинца сделать золото, то же самое можно совершить и в душе человека, если проникнуть в ее глубины.

Ланг открывает поэту дверь в его собственные мечты, побуждает к суровому самоанализу. «Он был медиком, рожденным, чтобы исследовать симптоматику, скрывающуюся под понятием „невроз навязчивости“», — пишет Гуго Балль.

С июня 1916 года по ноябрь 1917 года в записной книжке доктора Ланга зафиксировано шестьдесят сеансов психоанализа по три часа, проведенных для своего непростого пациента.

В октябре 1917 года Гессе напишет: «Путь к себе более священен, чем все буржуазные идеалы».

В летнюю жару он, словно корабль, бороздил океан страданий и смерти, когда к нему пришло подлинное озарение: «В мире нет любви, потому что человек остается жалким, трусливым, несовершенным неудачником». Душа — не абстракция. Это могущественная реальность; и если человек краснеет, топчется на месте, плачет и страдает, так это потому, что в нем заключен корень, тянущийся сквозь предшествующие

эпохи, который является теперь залогом его пребывания в бесконечном царстве блаженства, которого он коснулся еще зачарованным ребенком. В кальвском саду трехлетнему мальчику золотистый вороний зрачок пообещал вечность. Мы существуем не сами по себе, а благодаря могуществу космоса. У любви нет другого источника.

3 июля 1917 года Гессе был прикомандирован к посольству Германии в Берне в качестве чиновника Военного министерства. Теперь он будет продолжать свою гуманитарную миссию в звании офицера. Но Ромену Роллану он пишет 4 августа 1917 года: «Моя попытка посвятить себя политике потерпела крах. Даже Европа для меня не идеал. Пока люди будут себя убивать, любое объединение под властью Европы не будет мне внушать доверия. Я не верю в Европу, я верю в человечество — в царство души на Земле». Прежде чем спасать Вселенную, человек должен спасти себя самого. «Я сейчас чувствую в себе, — пишет Гессе в период своего общения с психотерапевтом, — увядание того, что жило во мне и было мне дорого, и рождение чего-то нового, что еще не оценено и что меня больше пугает, чем радует…»

Ланг приглашал друга «прислушаться к голосу первозданных глубин». Через хаос в душе своего пациента он открывал в нем скрытые возможности. Так в Германе зрело новое сильное, прекрасное творческое начало. Он стремился к космосу, зная, что тот, кто постигнет его сумрак, обретет истину. Без сомнения, доктор Ланг отдавал себе отчет в масштабе духа этого человека, с детства погруженного в атмосферу религиозного символизма. Сам католик, воспитанник бенедиктинцев, он был уверен, что разгадка Гессе в нем самом — его сущность рождалась в мистерии любви, в царстве духовности. Поэту оставалось лишь придать конкретную форму символам, которые посещали его, чтобы обрести зрелость.

Вскоре Гессе погружается в глубины, где царствует Демиан, воображаемая инкарнация его собственного «демона», рожденного из снов и красноречивого безмолвия знаков. Он — проводник в иррациональное, где таятся уже давно знакомые писателю лица: там он узнает себя — нежного Авеля, несущего на лбу «печать» Каина: «…Это была какая-то чуть заметная жутковатость, чуть больше, чем люди к тому привыкли, ума и отваги во взгляде». Детей Каина боялись: «Наличие рода бесстрашных и жутких было очень неудобно, и вот к этому роду прицепили прозвище и сказку, чтобы отомстить ему; чтобы немножко вознаградить себя за все страхи, которые пришлось вытерпеть». В мифе, который изобрели, они превратили «знак Каина» в символ бесчестия.

Инстинктивно Гессе посвящает свою книгу юности и пишет ее как историю юноши, рассказанную им самим. Эмиль Синклер, лицеист, нежный отпрыск благонамеренной семьи, знакомится с Максом Демианом, учеником старшего класса, инфернальным красавцем, шутником, отличающимся острым умом и внутренней зрелостью, в ком таится и «демон» и ангел-хранитель. Скромный Синклер, уязвимый Авель, живший лишь в чистом и светлом мире, соблазнен Демианом, который приглашает его постичь оборотную сторону действительности, где царит власть сатаны. Представляя ему Каина героем, Авеля трусом, этот мошенник, рвущийся к власти, заронил в сознание Синклера зародыш критического мышления — первый всплеск самосознания. В этом хаосе привнесенных идей у Эмиля рождается чувство собственного предназначения. Да, каждый должен отвечать за себя. И если мы носим на лбу каинову печать, так не будем опускать голову. Наоборот, выпрямимся, гордые своим предназначением! Что такое бесчестье? Где ад? Где Небо, жизнь, не-жизнь? Что значит этот плод, разделенный на две части, часть праведников и часть падших? Вся Вселенная священна. Божественное неделимо — оно одновременно и Бог, и дьявол.

«Демиан» — произведение Гессе, где сильно отразилось влияние Ланга. Эта книга — их совместная попытка избавиться от того, что стесняет человеческую душу, «выйти из яйца», достичь глубин души и сознания. Отважное предприятие, заставившее воскреснуть в писателе юность, связанную для него с мучительнЭым поиском своего предназначения, с той уверенностью в его понимании, с которой он напишет в начале книги: «Если бы мы были лишь единственные в своем роде существа, каждого из нас можно было бы убить ружейной пулей. Рассказывать истории не было бы больше смысла. Но каждый человек это не только он сам. Он также нечто совершенно особенное, в любом случае замечательное и важное, точка, в которой пересекаются феномены Вселенной. Поэтому история любого человеческого существа важна, вечна, божественна…»

До ноября 1917 года Гессе будет часто курсировать между Берном и Люцерной. «Мы становимся старыми людьми», — написал он сестре 4 июля, через день после своего дня рождения. Другу Феликсу Брауну он приоткрыл свое внутреннее самоощущение: «У меня дырка в крыле, и мне нужно идти пешком столько, сколько потребуется…» Весной между визитами к доктору и работой он стал находить удовольствие в живописи. «Когда хорошая погода, — поделился он с Вальтером Шаделином, — я рисую акварель, иногда две. Это потрясающе. Я раньше думал, что у меня есть глаза и что я на земле очень

внимательный прохожий. Но на самом деле это началось только сейчас. Сидеть в долине между скалами и не думать абсолютно ни о чем, погрузившись в магический мир кажущегося, — это освобождает от проклятого мира, где царит воля…»

Гессе пристально всматривается в глубины собственной души. Война приобретает характер безнадежно привычной данности, а он с трепетным вниманием посвящает себя изучению единственно важного теперь для него. Он видит. Он смотрит на небо, когда рисует, на булыжник, лежащий на тропинке, на цветок в овраге, на облако, на дерево, он созерцает всю эту таинственную иконографию, которую неустанно побуждает его наблюдать доктор Ланг. Его родная земля, ее бесконечное дыхание, свет, озаряющий лица Марии и Иоганнеса, сокровища Кальва, Вайссенштайна, Маульбронна, Штеттена, нищета и любовь — все это зеркала его юности. Его близкие, в жилах которых течет такая же, как у него, кровь, места, хранящие для него особенный аромат воспоминаний, превращаются в череду символов, которые обретают место в его магической концепции мироздания.

Еще несколько лет, и «Демиан» — странная книга, подписанная мистическим именем Синклера, — станет евангелием молодежи. Она станет пророческой. Мы забыли о чудесном — Гессе воссоздает его. Мы забыли некую форму созидания — Гессе возвращает ее нам. Мы забыли о Земле, тайне ее будущего, о ее вечном движении. Раньше люди чувствовали ее, а потом отреклись от истины и стали друг друга убивать. теперь она крутилась, кровавая и абсурдная, и не было в мире ни одной чуткой души, которая вожделела бы избавиться от кошмара. Теперь мы нуждаемся не в любви или ненависти, теперь игры человечества стали слишком замысловаты. Правда, мир, истинный мир — тот, где нереальное и реальное смешаны, где соединимое и несоединимое все та же жизнь. Словом, мы надеемся на сострадание, которое может проявиться лишь в человеке, избавленном от страстей и способном воспринять единство порядка и беспорядка, света и тьмы.

Совершенно очевидно, что творчество было для Гессе лекарством, спасшим его от бездны. Дружба с доктором Лангом изменила его мировоззрение. «Пусть мы будем способны, как негры со своими змеями, общаться сами с собой. Для этого нужно принять как необходимость примитивную отсталость, которая нам свойственна, или естественную спонтанность, которая, слава богу, еще нас не покинула»126. Эта потребность во внутренней конфронтации, декларированная Юнгом, выражалась в противопоставлении, с одной стороны, масок, наложенных

воспитанием, и, с другой стороны, — ложных убеждений. «В качестве змеи» выступала душа, обладающая «собственным порядком» и «собственной гармонией», но задушенная тиранией, принуждающей ее к самоограничениям.

Гессе больше не мучает «великий знак», тайна которого жгла его доселе. Он открыл Абраксаса* — воплощение божественного единства Вселенной: он и Бог, и сатана, он включает в себя и светлый, и темный мир. «Абраксас… не возразит ни против одной вашей мысли, ни против одного вашего сна», — скажет в «Демиане» Писториус, литературное воплощение доктора Ланга. Иисус и Лао-Цзы учат: «Нужно осмелиться быть». И главное — не открыть новых богов, главное — обрести себя, доверие к собственным снам, постичь меру своего могущества.

Наступила четвертая осень войны.

Берн содрогался в агонии умирающих листьев, и старый дом, плохо обогреваемый слабым огнем в камине, тонул в сыроватой дымке. Герман бродил по коридорам, отделанным крупной красной плиткой, заглядывал в пыльные комнаты. «Эта гнусная война, — писал он в сентябре своему другу Карлу Селигу, — украла у нас годы расцвета; тот из нас, кто посмеет прославлять войну, преступник». В ноябре он посетил в Цюрихе выставку французских импрессионистов: «Много Ренуара, Мане, Курбе, Сезанна, Пикассо и Сислея… Там были великолепные вещи». Не успел он вернуться в Берн, наскоро позавтракать и съесть садовое яблоко, как услышал шум около входной двери и узнал Стефана Цвейга, также возвращавшегося из Цюриха и воспользовавшегося редкой возможностью навестить писателя — доступ бельгийских граждан на территорию нейтральной Швейцарии был ограничен. Гессе нашел гостя почти не изменившимся, а Цвейг, напротив, отметил в хозяине много ему незнакомого: «Черты его лица обострились, в нем есть и детскость и утонченность пожилого эрудита, голова будто с полотен Гольбейна, немецкое суровое благородство мысли во всем облике». Они поцеловались и тут же стали обсуждать свежие новости.

Бунт солдат в Килле 3 ноября изменил ход событий. В Штутгарте и Гамбурге, где войска поднялись против командиров, развевались красные флаги, срывались императорские кокарды. Революция подбиралась к Берлину. 1918 год обещает бури. Можно ли надеяться на передышку? В атмосфере монашеской простоты жилища они вели откровенный разговор. Старались лишь обходить личные проблемы Гессе, его нищету, нервное расстройство Мии, хрупкое здоровье маленького Мартина, все еще находившегося в Киршдорфе в состоянии нервного кризиса. «Испытывая отвращение к пустой болтовне, — пишет Стефан

Цвейг, — не доверяя многим из старых друзей, Гессе живет совершенно уединенно. Чтобы отвлечься, он занялся живописью. Он подарил мне очень красивую акварель…»129 Под платанами Мелыиенбухльвега писатели расстались «в атмосфере взаимной дружеской симпатии»130.

Едва они пожелали друг другу хорошего нового года, как избавленная от войны, Швейцария становится местом паломничества торговцев, дипломатов и беженцев. Контроль у границ длится бесконечно долго, поезда освещены только керосиновыми лампами, отели забиты. Гессе празднуют двенадцатилетие Бруно, слегшего в постель с болезнью коленных суставов. Герман собирает рукопись «Демиана», который еще не готов к печати и является предметом плодотворной работы в эти последние предновогодние дни. Писателя не мучают больше видения прошлого. Кажется, он отдалился от своей земной семьи, чтобы приобщиться к ее корням в бесконечном. Его мать в ином мире, под черным солнцем «Демиана», среди звезд, трав, овеваемая ветром веков. Ее зовут фрау Ева. Это женщина без возраста, это образ Матери, великой Евы всего сущего: «… Высокого, почти мужского роста женщина, похожая на своего сына, в лице которой было что-то материнское, что-то строгое, что-то глубоко страстное, красивая и соблазнительная, красивая и неприступная, демон и мать, судьба и возлюбленная. Это была она!» Герман под именем Синклера смотрит на нее с нежностью, уверенный в том, что рядом с ней может быть одержим любым пламенем, любыми страстями. Реальность и символ сосуществуют органично и свободно.

Исповедуя отныне магическую концепцию жизни, Гессе, в поисках аллегорий, смеется над жизненной рутиной, над светскими сплетнями и переводит личный опыт в мифические истории. Никогда еще в нем не было столько внутренней определенности, его лицо светилось одухотворенностью и внутренней красотой. «Мы были пробудившимися или пробуждающимися, и наши стремления сводились ко все более совершенному бодрствованию, тогда как стремления других, поиски счастья вели их к тому, чтобы потеснее связать свои мнения, свои идеалы и обязанности, свою жизнь и свое счастье со счастьем стада».

Небо над Европой таило загадку. В 1322-й день войны Ромен Роллан писал: «Со второй половины января великолепие света… Никогда еще природа не дарила такого праздника… роковая ярость человечества все ужаснее… Париж бомбят, Лондон бомбят». время идет сквозь эту трагедию. Вдали от войны, от месива смерти Гессе дарит миру два произведения, подписанные

никому не известным Эмилем Синклером. Одно опубликовано 16 июля 1918 года во «Франкфуртер цайтунг» под названием «Художник и психоанализ», а другое — 4 августа в «Нойе цурхер цайтунг» под названием «Европеец». Цивилизация Запада больна, и война тому доказательство. Человеческое достоинство раздавлено, люди вынуждены вновь искать путь к своей душе, воссоздать «этот единый мир, единство внутри себя, который способен гармонично влиться в сознание общества».

Но нужно было обладать чутким слухом, чтобы уловить в суматохе, царившей в Европе, в противоречивых суждениях, новых националистически заостренных тирадах и речах, которые свидетельствовали о потере надежды, этот скромный призыв к душам, приговоренным умереть и ищущим убежища. Какое нужно было мужество, чтобы на этой последней и жуткой волне войны воззвать к свободе разума! Фрейд восторженно благодарил Гессе, и смущенный автор «Демиана» ответил: «Уважаемый господин профессор, по правде говоря, поэты всегда бессознательно были вашими союзниками».

5 октября 1918 года президент Вильсон внес мирные предложения. Австрия рушится. В Венгрии пылает революция. Гессе иронизирует: *«Я* предпочел бы на две недели стать президентом Вильсоном. К сожалению, президент Вильсон уже существует, и никто ему не открывает глаза, чтобы он увидел то, что творится с точки зрения Ветхого Завета. Я не понимаю, как его можно считать современным. По-моему, он близкий родственник Иеговы».

Германия стискивает зубы. На востоке Фош сеет панику. Ромен Роллан пишет: «Вся Европа трещит по швам… Все расшатывается и рушится… Победители и побежденные устремляются к швейцарской границе»134. Из предосторожности швейцарская кавалерия из Берна и Люцерны собирается в Цюрихе. Происходит событие, вызвавшее у всех шок: Конрад Хауссман, либерал, друг Гессе, который вел неофициальные переговоры с французами, вызван в Берлин. Он назначен личным секретарем Макса де Баде, которого кайзер назвал канцлером рейха. Условия перемирия начинают вырисовываться, и Герман пишет своему теперь высокопоставленному другу: *«Я* не думаю, что будет правильно придать миру новый смысл. Пока существует национализм, мир не будет иметь никакого смысла и результатом будет увеличение зла».

Как только было подписано перемирие, начались забастовки и манифестации. Своему другу Эмилю Мольту, который приглашает его принять участие в создании Немецкой республики, Гессе отвечает 18 ноября 1918 года: «Человечность и

политика всегда исключают друг друга. Политика требует создания партии. Человечность противоречит партийности». Писатель хочет непременно поступить на военную службу, но из Штутгарта ему приходит телеграмма от друзей: «Ты нам нужен как сотрудник в нашем новом интеллектуальном объединении, приезжай…» Ромен Роллан ему пишет: «Не будем терять связи с народами. Не отдадим их хищникам».

Герман не остается глух к этим призывам, однако 18 ноября пишет Эмилю Мольту: «Сейчас я уехать не могу. Мои семейные дела неблагополучны. Я отпустил двух своих детей. Один самый старший, еще с нами. Меня снедают многочисленные заботы… мировые потрясения настигают меня тогда, когда в моей собственной жизни земля уходит из-под ног». О трагедии в семье он написал 28 октября Адели: «Эти последние месяцы — самые тяжелые в моей жизни. Мия впала в совершенное безумие. Ее вынуждены были препроводить в дом для душевнобольных».

Гессе сам проконтролировал госпитализацию Мии в Кюсснахте, рядом с Цюрихом, затем поручил Мартина заботам двух приятельниц из Киршдорфа, которые раньше ухаживали за мальчиком. Выбитый из колеи семейными проблемами, он тем не менее следит за политическими событиями. Своим соратникам он отвечает: «Моя надежда состоит в том, что более благородные чувства вытеснят национализм. Быть может, тяготеющий к интернационализму социализм, который в 1914 году потерпел столь позорное поражение, но не потерял до сегодняшнего момента актуальности. Тогда Сообщество Наций окажется возможным». Сейчас же на карте вместо Европы лишь иллюзия, вызывающая страдание в сердце Германа. Железные оковы ненависти и амбициозных притязаний еще не скоро будут разбиты.

В октябре женился его брат Ганс. На церемонию, состоявшуюся в кантоне Аргови, он прибыл неохотно, весь в черном и погрузился в атмосферу сельского уединения. Невесту, жизнерадостную крестьянку, звали Фрида. Праздник среди виноградников, тонущих в осенних соцветиях, принес ему ощущение радости и мира.

В Рождество 25 декабря 1918 года он один в доме Вельти. Прежняя набожность новогодних дней не тревожит его сердце. Теперь он больше не Авель в ограниченной идиллии пиетизма. Он отмечен «знаком Каина», великолепным и горячащим кровь.

После основания Веймарской республики, в маленькой деревушке в Тюрингии, где похоронены Гёте и Шиллер, Гессе издал, не указав имени автора, политический памфлет «Возвращение Заратустры. Обращение немца к германской

молодежи». Написанное в три дня и три ночи послание появилось в печати 20 января 1919 года, в тот момент, когда Германия, соблазненная демоном реваншизма, погрузилась в оголтелый националистический транс. Герман напоминает читателю ницшеанские образы. Он увидел в Заратустре «с горестного момента упадка… германского духа последнего одинокого представителя мысли Германии, ее отваги, ее мужества». Бессмертный герой Ницше возвращается на мятежную родину, чтобы пробудить сознание молодежи: «Вы должны научиться быть самими собой… Не сомневайтесь в вашем пути, словно наказанные дети, взывающие к жалости прохожих. Если вы не можете вынести нужды, умрите! Если вы не можете собой управлять без кайзера и его победоносных генералов, позвольте управлять собой иностранцам. Но я вас заклинаю, не забывайте о стыдливости!» Гессе выступал против национализма, бессмысленности слепого стадного инстинкта, опасного коллективизма и провозглашал внутреннее сосредоточение, страдание, поиск личностью своего пути. Он утверждал ценность душевных усилий, направленных к обретению внутренней свободы.

Тяжело переживая несчастья родной земли, Гессе готов ей служить, однако не в любой форме: «Государство использует своих граждан удивительным образом. Поэтов обязывают встать под ружье, профессора должны рыть окопы, коммерсанты-евреи — заниматься государственными делами, юристы — вопросами прессы… Государство, наше, по крайней мере, привыкло # тому, что люди, лишенные талантов, торопятся поступить на службу, чтобы оно могло ими распоряжаться по своему усмотрению. Единственное, чем я отличаюсь от массы… то, что я знаю, на что способен, обладая тем сознанием, которым обладаю…» После этого заявления разразился скандал. Писателя спешат обвинить в дезертирстве и затворничестве в башне из слоновой кости, в то время как Германия пылает. Гессе отвергает эти обвинения: «Если я прислушаюсь к этим призывам, я потеряюсь среди дилетантов и буду осуществлять деятельность, мне чуждую, оставив мое истинное призвание… я вижу здесь лишь перспективу своего рода самоубийства». Об этом конфликте личного долга и социального самосознания он пишет в «Возвращении Заратустры».

Совместно с Рихардом Вольтереком Гессе основывает политиколитературный ежемесячник под латинским названием «Vivos voco», таящим в себе потребность ответить на вопрос. Он обращается к молодежи с интонацией, определенной собственным опытом пережитого. Она обладает особым оттенком, отчетливо выражающим выстраданное им мироощущение. Не

существовало отдыха нигде — ни на кладбище, ни у Господа. Не существовало магии, способной разбить вечную цепь рождений, бесконечное дыхание божественного. Но было иное успокоение, чтобы найти самое сокровенное в себе. Оно состояло в том, чтобы не мешать себе идти, не защищаться, быть счастливым умереть настолько же, насколько жить.

Когда в том же 1919 году разойдутся первые экземпляры книги таинственного Синклера «Демиан, или История юности», молодежь тотчас узнает почерк Гессе. Появление «Демиа-на», затронувшего нерв времени и оказавшего сильное влияние на молодое поколение, было шоком. Молодежь восприняла Синклера как своего ровесника, одаренного тонким умом и глубокой проницательностью, тогда как за этим образом скрывался человек сорока двух лет, который дал своим читателям ту духовную информацию, в которой они нуждались.

Рисунки пером и карикатуры сохранили предполагаемые черты этого вымышленного персонажа, и, несмотря на грубость и беглость набросков, в них проступает образ самого Гессе: его острые уши, гладкий подбородок, внимательный взгляд.

В февраля 1919 года он в очередной раз приехал навестить Мию. Теперь ей немного лучше, но она не спит без лекарств. Что делать? «Мы решили, — пишет Герман своему другу Георгу Рейнхарту, — разойтись, с тем чтобы моя жена занималась детьми, а я полностью посвятил себя работе, но вне семьи… В течение этих трех страшных лет мне открылось мое предназначение на земле; мне был указан путь, по которому я должен следовать».

Покинуть Берн, надеть опять свой походный плащ, стать вновь Кнульпом, скитальцем, искать далеко в горах, на юге «келью» — такова его мечта. Он проводил Мию в Базель и сосчитал расходы: «Мне необходимо более 1000 франков в месяц, это соответствует на данный момент 5000 марок; и германское правительство ассигнует мне 150 марок в месяц». Он уезжает с почти пустым кошельком, повернувшись спиной к Германии и Берну. Снова он всматривается в далекий горизонт над Альпами, в долины итальянской Швейцарии, в изгородь сада, увитую глициниями. Тичино ему очень нравится. Там теплые вечера. Уже зреет рябина. Дикие розы пестрят между кустами орешника, черный плющ стелется по стенам. Путешественник задерживается на берегу озера Лугано. Поверхность воды переливается, будя в нем сотни отсветов, заставляя его душу отражать каждую искорку легкой зыби, вызывая прилив бесконечной нежности. Чудо венецианской речи, зеркала великих индийских рек, отражающих изменчивые очертания сущего, текущая и застывшая жизнь. Он

представляет, как все это выглядело бы на акварели.

Из сада Гилярди можно было видеть Италию; над Агрой, за озером, раскинулся район Варез. Гессе подгоняет светлая и созидательная радость свободы. 25 мая 1919 года он пишет своему другу Герману Миссенхартеру: «Нет, нет, писать по заказу, к определенному числу, никогда более, даже если вы оставите меня умирать с голоду». И 14 июня — Иоганну Вильгельму Михлону: *«Я* далеко от мира и от Берна, посреди тропической жары; я с трудом заставляю себя читать даже газеты. Я пытаюсь пережить крах в моей личной жизни, выздороветь и почувствовать то, что сейчас чувствует вся Германия: принять то, что происходит, не перекладывать на чужие плечи ответственности, но платить за нее и говорить судьбе „да“».

В Тичино царят суматоха и веселье, там отштукатурены дома, там каменные лестницы и барочные алтари в светлых кампанильях, которые загораются отблесками заката на склоне каждого дня, контрастируя с темнеющими кипарисами. Пройдя горной дорогой, полюбовавшись живописным холмом Сан-Аббондио и его церковью, колокольня которой возвышалась над тисовой аллеей, будто в бесконечной молитве подражая утонченному благородству природных форм, путешественник остановился перед селением Монтаньола.

Герману показалось, что это имя давно звало его. Быть может, зов, который он теперь услышал, раздавался очень далеко, за деревней, которая была у него перед глазами. И решил здесь остаться. Случайно он набрел на фантастический дворец, построенный Агостино Камуцци, который после наполеоновских войн отправился в Россию и стал незаурядным архитектором. «Десятки раз я писал этот дом красками и рисовал, вникая в его затейливые, причудливые формы, — напишет позже Гессе. — Мое палаццо, подражание охотничьему домику в стиле барокко… это полуторжественное-полупотешное палаццо предстает с разных точек зрения совершенно по-разному. От портала помпезно и театрально идет вниз царственная лестница, она ведет в сад, который, спускаясь множеством террас с лестницами, откосами и стенами, теряется в обрыве, и в саду этом все южные деревья представлены старыми, большими, роскошными экземплярами, вросшими друг в друга, заросшими глициниями и клематисом».

Гессе занял в левом крыле четыре комнаты. Там он мог облокотиться о железную балюстраду флорентийского балкона и рассматривать крыши, рассыпанные ступеньками по склонам поросших лесом холмов, меж которыми то тут, то там возвышались зубчатые колокольни. Легко представить, насколько поэт был очарован этими белыми стенами, теряющимися среди

листвы: роскошная природа и не менее роскошная архитектура, облеченная в загадочные формы истории.

Каза Камуцци на окраине деревни Монтаньола, над озером Лугано не открывала своих тайн тому, кто пришел удовлетворить свое любопытство в качестве праздного туриста. Между ее обычными стенами и террасами из кирпича виднелись вязы и голубые ели, там пели дрозды и пахло смолой. Она слишком изящно, слишком страстно таила свою прелесть среди зелени, чтобы не требовать у души, желавшей проникнуть в эту тайну, более пристального внимания. Герман, словно болезненный и чувствительный взрослый ребенок, кинулся в эту возбуждающую красоту, мистическая вязь которой излучала такое обилие жизненной энергии. Будто каменный гейзер во вселенной Тичино, Каза Камуцци изливала благодать и ликующее приятие жизни. Гессе пишет Карлу Францу Гинекею: «Я переживаю здесь дни глубокого одиночества. Я здесь никого не знаю… Но я работаю. Я много рисую, это мне помогает найти верные тона, когда я пишу. Теперь мне многое хочется высказать!» Семейство Монтаньола видит иногда Гессе, сидящего в своем кабинете, из окна которого открывается вид с одной стороны на мирную равнину, с другой — на озеро. Он надеется, он ждет, когда созреет, словно плод, его новое произведение.

Однажды в час досуга он услышал историю сеньора Камуцци, женившегося на жительнице Страсбурга, — дочери наполеоновского офицера и придворной дамы русского двора. Она подарила ему троих детей, Арнольдо, Марию и Ольгу, потом Дмитрия и Владимира, которые родились уже в Монтаньоле и так здесь и остались. Отказавшись принять русское гражданство, космополитически настроенная семья удалилась в эту великолепную резиденцию. Главой ее теперь был Арнольдо. Семейство держалось открыто и отличалось гостеприимностью. На их деньги был восстановлен пострадавший от молнии купол колокольни Сан-Аббондио. Залы их великолепного дома превращались часто в бальные, где бушевали сумасшедшие тарантеллы и мерцали причудливой загадочностью костюмированные балы под венецианскими фонарями. Окрестные жители обожали своих благодетелей.

И теперь Каза Камуцци гордо сохраняет свое великолепие. Однако пристальному взгляду заметны следы времени. Круглые часы при входе уже очень давно и, вероятно, навсегда показывают какой-то загадочный час. Конюшни закрыты, помещение для прислуги пустует, фасад обветшал. Дом тонет в цветении столетних камелий, белеет, словно жемчужина, в оправе из причудливых пузатых пальм и огромных красноватых буков,

которые кажутся при свете заката охваченными пламенем. Прелестный уголок здешнего пейзажа — огромный парк, изборожденный извилистыми тропинками, запутывающимися в сетях лиан, обвивших карнизы, лепнины, романские колонны и тосканские балконы, портик в виде ротонды, подобной минарету, где бельведер ведет к террасе, сочетающей в себе черты мавританской архитектуры с более строгими формами. Из этих джунглей, где причудливое переплетение крапчатой коры, твердых стеблей и пестрой листвы рисует неустанно богатые оттенками абстракции, раздаются загадочные звуки, и небо трепещет сквозь кроны деревьев, бездонное и далекое.

Герман снял очки и близоруко сощурился, рассматривая зелень и погружаясь, как всегда в саду, в мистическое единение с листьями, цветами и землей, будто питаясь вместе с растениями ее живительными соками. «Когда какое-нибудь растение, пусть даже былинка, помято или поломано, — пишет он сестре Адели 2 июля 1919 года, — вдруг начинает сохнуть, оно старается поскорее напитать соком свои семена, потому у него есть инстинкт продолжения рода». Писатель тоже чувствует в себе это нетерпеливое зарождение. Эмиля Мольта он уверяет, что, несмотря на плохо заживающие раны, убежден: его миссия «находится в области разума… и он на правильном пути…». Самюэлю Фишеру он говорит, что упорно добивается совершенства в письме, возможно даже, революции. Витая в смутных облаках своего воображения, он не скрывает от издателя неудобства, которые в результате могут возникнуть с коммерческой точки зрения: «Круг покупателей моих книг может сократиться. Но мне это безразлично!»

Гессе выкарабкался из жизненного болота, чтобы обрести творческую свободу. Для этого он рискнул всем. *«Я* был теперь маленький прогоревший литератор, потрепанный и немного подозрительный чужак, который питался молоком, рисом и макаронами, донашивал свои старые костюмы до полного обветшания и осенью ужинал принесенными из леса каштанами», — рассказывает он. Его дела настолько плохи, что в августе он пишет Георгу Рейнхарту, что ему нечего есть. «Поэтому у меня болит желудок и плохо с нервами… Но такие моменты имеют и некоторые хорошие стороны», — торопится он добавить. Для него они являют собой «великое благо, пробуждают рвение к работе и вызывают необыкновенную концентрацию творческой энергии».

Между небом и озером Гессе сидит на склоне холма, вбирая в себя ароматы, цвета и слова, размышляет над своими акварелями и рукописями. Он не дарит сразу многоцветие своим полотнам.

Он рисует сначала крупными штрихами пером или карандашом, размышляя и оттягивая момент, когда краски приобретут под его рукой диковинные оттенки его воображения. Он устремляется к своим образам, словно музыкант, ищущий вечную гармонию. Живопись помогает ему обрести нить словесной игры, освоить пластику смыслов и законы их согласования.

Ранимый, уязвимый, вечно охваченный неясной тоской, он любит перебирать цвета и смешивать золото подсолнуха с сумеречной зеленью своей тоски, фиолетовые тени стен с желтизной лимона, кислоту и живость своего смеха со своей нищетой. Восхитительное «Последнее лето Клингзора» навеяно пешими прогулками: «Часами я не видел ни книг, ни письменного стола, были только солнце и я и свет этого нежного утреннего сентябрьского неба, его прозрачность и листва цвета зеленого яблока вперемешку с сияющей осенней желтизной, тутовые деревья и виноградники. Под мышкой я нес складной стул и мой „Фостмантель“, с помощью которого много раз уже совершал магические действия и выигрывал битву против глупой реальности», — пишет Гессе Гинекею.

Он не расстается со своим фаустовским плащом, потому что надвигается осень и вечером становится холодно, работает допоздна, внимательный к трепету своей чувственности, претворяющейся в вязь слов на странице. Он словно бросает на полотно берлинскую лазурь горизонта или сиреневые оттенки прибрежного склона — его воображение творит перед ним причудливые сочетания слов, дышащих, трепещущих, капризных. Он чувствует наконец, что живет в своем ритме, ощущает себя на своем месте, именно там, где должно быть его «я», там, где ему нечего бояться.

Сестре Адели Герман пишет 15 октября: *«Я* часто утром на солнышке среди травы, стараюсь забраться туда, где не дует, поближе к стене маленькой церковки Агры, чтобы не замерзнуть, и смотрю на озеро и стелющиеся вдали итальянские горы. Здешние лесные дорожки часто напоминают мне Кальв, хотя здесь нет елей и мало буков, а земля вместо хвои покрыта каштанами». Ему кажется, что он ступает по тропкам своего детства, а за ним возвышается «огромная тень» отца.

Он знает, что прежняя вина еще преследует его. Бежать — это слово продолжает вертеться у него в голове. «Бежать… не останавливаясь, навстречу неизбежности того, что должно произойти». Эта неизменная необходимость бегства больше чем просто импульс — она выражает исступление, воинственное стремление к определяющему акту, пусть даже убийству или самоубийству. Освобождение требует проклятия. «Слезы текли у

меня из глаз и кровь изо рта. Но мир был прекрасен. Он имел смысл. Жить стоило, стоило рубить и пускать кровь». Он чувствует себя так, будто совершил маленький грешок, украл что-то из письменного стола отца, а теперь, спустя много лет, мучается угрызениями совести ребенка, облеченного телом взрослого человека, который покинул жену и детей.

Гессе хочет взглянуть в лицо этому предначертанному страданию, постичь его двойственность. В самые жаркие дни в Монтаньоле он пишет трагический рассказ «Клейн и Вагнер», стремясь раскрыть две стороны собственной натуры. Клейн, покинув, как и автор, жену и детей, завладевает документами убийцы и бежит на Ривьеру. Под грузом мучений из-за преступления, которого не совершал, он продирается сквозь непрерывно осаждающие его угрызения совести. Зло умеет принимать обличье святости, чтобы обмануть нас и заглушить в нас голос сердца. Клейн будет жить, а Вагнер умрет, потому что, убив, осмелился жить. Мысль об искуплении приходит в сознание Клейна, когда он чувствует тоску по вере, по Богу, обращается к тому, что живет в душе каждого, к тому, что за пределами добра и зла.

Лето выдалось очень жарким. Никогда еще ночами не появлялось столько светлячков. Каждый источник блистал на бурых или нежнорозовых камнях, будто взятых прямо из скал. Гессе пишет «Последнее лето Клингзора» — рассказ, переливающийся блестками мгновений его собственной жизни. «Во все хорошие, плодотворные, пылающие времена своей жизни, уже и в юности, он жил так же, позволяя своей свече гореть с обоих концов, жил то с ликующим, то с надрывным чувством буйного, сжигающего расточительства, то с отчаянной жадностью осушить чашу до дна…» Такова жизнь Германа Гессе, такова жизнь и художника из Клингзора, который занимает, как и писатель, четыре комнаты над садом в здании таком же несуразном, как дом Камуцци.

Клингзору сорок два года, он высокий и худой, его лоб прорезан морщинами, как у Ван Гога, а кожа имеет смуглый оттенок, напоминающий краски Гогена. В его глазах блещет такой же резкий металлический оттенок, как порой в глазах Гессе. Он создает картины одну за другой, пока, истощенный, не оказывается лицом к лицу с осенью, которая обступает его тенями грядущей смерти. Прижимая одной рукой палитру, где рядом с сияющим желтым и красным кадмием размешаны зеленый и изумрудный, синий кобальт и фиолетовый, киноварь и красная камедь, в другой руке он держит бутылку, из которой любит пить. Вино согревает сердце художника, как и сердце поэта. Через бред

художника, где путаются любовные игры и смерть, Гессе описывает собственное ликование, охватывавшее его в Монтаньоле этим необыкновенным летом 1919 года, и собственную быструю потерю сил. Не всегда ли созидательная сила сопровождается идеей смерти? То, что требует выхода, слишком прекрасно, слишком ярко, слишком полно жизненной силы, чтобы быть пережитым.

Этот князь, нескладный и притягательный, этот бродяга Гессе ходит туда-сюда вечерами, как китайская тень перед освещенным окном, произнося вслух стихотворные строки. Девушки Камуцци подстерегают его в парке у грота, на дорожке, делая вид, что потеряли ключи, когда он грызет краюху хлеба под гранатовым деревом. Еще забавнее, когда он снимает одежду, чтобы позагорать за маленькой стеной на террасе, думая, что его никто не видит, однако это место видно из самого высокого окна. Девушки забавляются, раздразненные и взволнованные этим фавном с нервными плечами, длинными ногами, худым телом красновато-коричневого оттенка, которое он время от времени обливает холодной водой и которое венчает маленькая бритая голова на тонкой шее, где беспокойно перекатывается адамово яблоко.

Весь 1919 год Гессе преследует нищета. Он изнашивает свой последний костюм, ботинки порваны. Он получает гонорары в немецких деньгах, а их ценность упала, что свело почти на нет его доходы. Немного он отложил, чтобы поддержать Мию и оплатить обучение детей. Георгу Рейнхарту он признается: «Изменение курса марки отняло у меня теперь четверть моих доходов. сами они значительно со временем уменьшились, поскольку я оставил прежнюю манеру письма и мои новые вещи могли некоторых моих читателей разочаровать…» Но он не может писать в угоду публике. Ему нужно воплотиться в себя, чтобы извергнуть из глубины души крик, и это не успокаивающая прекраснодушная литература. «Если вы хотите мне помочь, — пишет он тем из своих друзей, которые предлагают ему поддержку, — послушайте, я вас прошу, подарите мне камин, потому что скоро зима…»

Мия к нему все более и более враждебна — это означает окончательный разрыв. Он оказывается на пороге зимы, ужиная горсткой каштанов, запеченных в золе, и обедая супом или макаронами, которые ему варит женщина из деревни. Он отложил на зиму шерстяную муфту, которую ему в подарок на Новый год связала Адель, и поддерживает в камине огонь из поленьев акации и каштана.

Но после полудня, закурив маленькую сигару, Гессе любит

пробраться в красивую гостиную, где слегка влажный воздух и необыкновенно изысканный паркет из сверкающих испещренных прожилками и весьма искусно расположенных планок. В углу, рядом с окном, зеркало в резной золотой раме отражает этот зал цвета мирабели. Он рассматривает его, бродит вдоль стен, увешанных картинами. Его собственный образ вновь приобретает черты Клингзора — художника, чья жизнь сочетает утонченность и излишества и который своей таинственностью и неоднозначностью напоминает ему китайского поэта Ду Фу.

Ду Фу, как и Гессе, — поэт и художник и, как и он, поклонник индивидуализма и свободы. Они склоняются над тетрадями с эскизами, погружаются в природу, чокаются в швейцарских тавернах, где им грезится исполнение желаний. «Последнее лето Клингзора» родилось в зеркалах Каза Камуцци. Душа Гессе «шествовала по зеркальному залу его жизни, где все картины, умножаясь, встречались каждый раз с новым лицом и новым значением и входили в новые связи, словно кто-то перетряхивал в стакане для игральных костей звездное небо».

Однажды к ногам Германа упала новая удача.

Это случилось еще в середине июля. Нам говорит об этом краткое замечание в его переписке с Луисом Муайетом: «Мы отправились гулять к Кароне, увидели стволы пушек и мост Женерозо, весь фиолетовый, и прекрасную девушку, которая гуляла в коротком огненнокрасном платье в сопровождении тети, двух собак и сумасшедшего настройщика пианино…» Прекрасную девушку в огненно-красном платье звали Рут Венгер. Она была дочерью швейцарской писательницы Лизы Венгер и приехала в Тичино на каникулы. «Вот такими маленькими радостями я развлекаю свое сердце…», — написал Гессе.

В самом деле, на светлом паркете клингзорского дворца собирался править бал Эрос. Герман восторгается лишь выдуманными женщинами. Покончив со своей мрачной супружеской жизнью, он мечтает о созданиях, подобных тем, что украшали его юность. Евгения Кольб, маленькая Лулу из таверны Мюллера, важная Элизабет и мудрая Елена — таинственная и покинутая теперь муза. Это он, Клингзор, «…лежал в лесу, а на лоне его женщина с рыжими волосами, а на плече лежала черная, а еще одна стояла рядом на коленях, держала его руку и целовала его пальцы…». Как в пятнадцать лет, он в свои сорок два погружается в солнечный свет, захваченный любовью.

Отсутствие любви в жизни влекло его к утешению воображаемыми объятиями, а прелестная Рут в сосновой аллее стала реальностью.

Глава XI ВЕЧНОСТЬ РЕКИ

…Вопль гнева и стон умирающего, все было одно, все переплетено и связано между собой, тысячекратно свито и перекручено. И все вместе, все голоса, все цели, все стремления, все страдания, все желания, все доброе и злое, все вместе было—мир. Все вместе было — река бытия, музыка жизни.

Г. Гессе. Сиддхартха

Фотографии, как запахи, оставляют след. Лица на них неподвижны, но говорят больше, чем слова. В июле 1919 года Гессе запечатлен рядом с деревней Карона, на юге этого почти острова, усеянного скалами, который врезается в озеро Лугано и заставляет его уподобиться реке с излучинами. Герман в льняных брюках, с палкой, будто позаимствованной у старого пастуха, рядом с восхитительной Рут Венгер. Каза Констанца в Каро-не — изысканный дом, украшенный лепниной, — принадлежит родителям Рут. Ее отец — промышленник. Ее мать Лиза занята литературным трудом среди диковинных растений, клеток с птицами и этажерками с книгами.

Наш сорокадвухлетний Герман не напоминает больше аскета Каза Камуцци. Он теперь влюблен в Рут, которая на двадцать лет моложе его. Девушка еще не забыла детские капризы, но изучает пение в Цюрихе и рисует углем. В конце «Последнего лета Клингзора» она превратится в королеву гор. Мадемуазель Венгер часто гуляет с собаками, повязав цветной платок на голове или узлом на груди. Иногда Герману удается ее увести вечером в «grotto» — что-то вроде сельской таверны немного в стороне от железной дороги. Оттуда видны огни проходящих поездов. Ему было недостаточно писать с нее портреты: «Царица… лежала красным пятном в зеленой траве, светло поднималась из пламени ее тонкая шея»141, - ему нужно было возможно чаще сопровождать ее в Карону по тропинкам, где она подскакивала на одной ноге, смеясь забавным историям, болтала, пела или плакала по ничтожному поводу. Как ко всем страдающим или легкомысленным существам, которые просили у него успокоения, Гессе по отношению к Рут во многом испытывал отцовские чувства. Он говорит об этом Лизе в начале осени 1920 года:

«Ваша дочь часто нервничает, капризничает, впадает в плохое настроение», — и прибавляет, чтобы оправдать свою склонность: «В целом, ей пойдет на пользу, если я буду воспринимать ее всерьез».

Как будет развиваться эта идиллия? Никто не мог этого предвидеть: ни отец, хмурящийся при мысли о неравной связи, ни мать, чей интерес к писателю рос день ото дня. Герман не лишал себя радости преклонить голову на юную грудь, трепещущую от рыданий или вздымающуюся от смеха, а фрау Венгер, дородная и полная раскаяния, вероятно, лишь пыталась утаить под видом беспокойства за дочь собственные чувства к писателю. Рут вызывала вожделение, Лиза была задушевным собеседником. В «доме с попугаями», то есть в доме Венгеров, воссозданном в «Последнем лете Клингзора», говорят о переселении душ — «веровании, в котором есть что-то успокаивающее, но которое объясняет, что все, что с нами происходит, мы призывали и желали и что против судьбы нет спасения, от нее нельзя убежать, нет и никакого другого утешения, и остается лишь провозгласить свое с ней согласие и сказать ей „да“». Лиза настолько духовно близка с Гессе, что ей удалось в начале 1920 года предвидеть грядущие серьезные изменения в его мировоззрении.

Марию Гессе поместили в Мендризио в новую клинику, и она теперь одержима мыслью вернуть детей. Герману удалось устроить Бруно у своего друга художника Амие, в Ошванде. Хайнера, который страдает неврозами, Мия настояла оставить при себе. Но здоровье ребенка ухудшилось, и отец увозит его в Монтаньолу: «Пусть малыш спит рядом со мной в соседней комнате. Ребенок, которого я люблю и за которого я в ответе, вызывает у меня теперь новое и глубокое чувство», — пишет он. Наталина, «маленькая вдова» из Тичино «с серыми волосами», «которая понимает, насколько ему необходим отдых», приходит убираться и пытается развеять грусть отца, удрученного нескончаемым разводом. Его жена, которая не отвечает больше на письма, сбежала из клиники и отправилась в Базель к адвокату. Она угрожает мужу процессом, требует, чтобы он вернул ей Хайнера. Герман отказывается, но совершенно теряет аппетит и способность писать.

К счастью, у него остается живопись. Он выставляет в Базеле свои первые акварели из Тичино, надеясь хоть немного заработать. Если они и не привлекли большого количества покупателей, то, по крайней мере, помогли ему выработать индивидуальную манеру. «И вы увидите, — настаивает он, — что моя живопись и поэзия тесно взаимосвязаны». Что на странице, что на полотне — реальность для него лишь своего рода

трамплин для взлета в область символа. *«Я* обращаюсь не к натуралистической реальности, а к поэтической». Поднимается ли ветер, падает ли за горизонт солнце, опускаются ли на равнину свинцовые облака, Гессе пытается поймать пластику света, очаровавшую его в Венеции, с ее бесконечными метаморфозами.

Он страдает от финансовых проблем, но его литературная слава растет. «Демиан» стал сенсацией. Все спрашивают: «Кто этот таинственный Синклер?» Герману ненадолго удалось скрыть свое авторство. Он пишет 4 июля 1920 года своей сестре Марулле: «Этот роман под чужим именем имел большой успех среди молодежи. Но теперь критики пытаются открыть псевдоним. Нужно назвать имя». Итак, Гессе открывает лицо перед публикой, которая ждет от него новых произведений. Но он делает все что угодно, только не пишет. Конференции, иллюстрирование книг, критические статьи — всего этого не хватает, чтобы обеспечить безбедное существование.

Гессе убежден, что материальное благополучие, крайний интеллектуализм Запада и спиритуализм Востока способны вместе создать гармоничную реальность. У него зреет произведение, которое он называет «индийской выдумкой». Он мало о нем говорит, вдруг тянется туда и вновь отдергивает руку от пера, оставляя эту мысль. Но делится с друзьями своими размышлениями.

В феврале 1920 года Гессе пишет Елене Вельти: «То „я“, о котором думает исследователь и которое занимает уже три тысячелетия всю крайне-европейскую мысль, это „я“ — не та человеческая индивидуальность, которую мы ощущаем и в которую верим. Это что-то более интимное, главная сущность каждой души, то, что индиец зовет Атман — нечто божественное и вечное». «Мы, современные люди, слишком привыкли определять свои отношения с другими при помощи законов и убеждений, которые не можем измерить мерой божественной воли; мы совсем не знаем Бога, потому что так и не научились его искать в самих себе, в самой интимной глубине нашего сознания». Он убежден, что все искусство озарено этим светом, который очень трудно увидеть. Георгу Рейнхарту он сообщает: «Моя большая индийская выдумка не закончена и, быть может, не будет закончена никогда. Я ее оставляю в стороне, потому что не могу показать то, что еще мной самим до конца не пережито». Он уже дал своему герою имя — Сиддхартха, — и пишет в начале 1921 года Лизе Венгер о замысле, который торопится осуществить: «Сиддхартха, умирая, не пожелает нирваны, но захочет реинкарнации в новое земное существо…»

Снова он кладет перо, бросает рукопись и покидает Монтаньолу. Его пригласили на конференцию цюрихского кружка по психоанализу. Там он надеется увидеть друзей и особенно сыновей, которые живут в пансионе Фрауенфельда. В Агнуцио он знакомится с писателем Гуго Баллем и его женой Эммой Хеннинг, писательницей и актрисой. Их объединяет простота жизненных привычек и глубина набожности, и они составляют неразлучную и весьма оригинальную пару. Эти набожные католики-интеллектуалы вместе с фрау Венгер становятся его поверенными. Бывшая певица варьете Эмма после нескольких лет нищеты написала книгу «Клеймо», которую Герман горячо рекомендует Лизе: «Прочтите ее. Речь идет о жизни певиц и распутных женщин. И это настолько красиво, так глубоко и часто так грустно, что вы тоже, конечно, останетесь в восторге».

Подле Баллей Герман хочет найти убежище от грызущих его мучений. Отчего эта неспособность писать? Почему его рука начинает дрожать в середине рассказа, действие которого происходит на земле Марии и Гундертов — в Индии, которая продолжает его беспокоить? Мост, который с первых страниц он перекинул между собой и Индией через приключения Сиддхартхи, отправившегося на поиски истины со своим другом Говиндой, никак не строится до конца.

В Цюрихе Гессе приходит на прием к великому психоаналитику, самому Карлу Густаву Юнгу, который согласился принять пациента своего ученика доктора Ланга. «Ваша книга, — говорит Юнг о „Демиане“, — оставила у меня впечатление, подобное свету фары в грозовой ночи». Гессе пишет Лизе, что, поскольку ничто не помогает ему ни в духовном, ни в материальном плане, он решил вновь прибегнуть к психоанализу. Это для него не философия, не то, что сводится, как полагает его друг Балль, к простому искусственному подобию католический конфессии. Здесь для него речь идет о способе жить: «Идти до конца эксперимента и привнести в жизнь его результаты — это то, на что способен осмысленный анализ».

Этот поиск истинного «я» жизненно важен для Гессе-человека, так же как и для Гессе-художника. Ему необходимо высказать то, что обычно никто не говорит ни другим, ни самому себе, позволить эмоциям излить свой яд. *«Я* испытываю у Юнга шок анализа. Это проникает в кровь, — говорит он Гансу Рейнхарту, — приносит боль, но и заставляет продвинуться вперед…» Юнг побуждает его исследовать глубинные пласты своего сознания, где он еще лепечущий ребенок, постичь «другую сторону» своей души, подземный микрокосмос, где живет прошлое. Но перед психологом оказывается некто, кто хочет

хвалиться своими демонами и знать все о невидимом, живущем внутри него. «Доктор проанализировал мое сознание с удивительной точностью, записывает Гессе, — даже, я бы сказал, гениально».

Чтобы быть поближе к Юнгу, проживающему в Кюснахте, рядом с Цюрихом, он поселился близ леса на Зюришберг и теперь может ходить на сеансы пешком. Напрасно Балли убеждают друга не продолжать жестокий эксперимент, который, по их мнению, может завести в тупик. Напрасно Рут и Лиза приглашают его к себе, чтобы отвлечь от того, что его угнетает. Герман намеревается освободить свою природу от всего, что является препятствием для созидания. Доктор Ланг помог ему создать сумеречную фигуру Демиана. Юнг поможет сокрушить стену, которая отделяет его от Сиддхартхи. Нет сомнения, что психолог не противодействовал этому навязчивому стремлению писателя заставить полюса сойтись и примириться с самим собой. В ожидании Гессе отправляется сквозь пламя. «Это больно», тем не менее он захочет это повторить.

Этой цюрихской весной 1921 года Гессе больше не Клингзор в своем палаццо Камуцци. Он безрадостно переходит с одного тротуара на другой во власти новых видений. «Мне хотелось бы продолжать психоанализ, — пишет он. — Юнг обладает тонким интеллектом, у него замечательный характер, он полон жизни, блистателен, гениален. Я ему многим обязан». Писатель делает заметки, которые составят его «Дневник», где собраны размышления о смысле жизни. Многие из них обращены к Лизе: «Человеческий идеал не кажется мне заключенным в какой-либо истине или определенном веровании. Высшая цель, которую может поставить перед собой личность, — это, по моему мнению, внести в свою душу возможно большую гармонию».

В середине лета, после нескольких недель интенсивной работы с пациентом Юнг уехал. Гессе чаще видится с Рут, которая заметно похорошела, и с Лизой, по отношению к которой демонстрирует сыновнюю почтительность. Действительно ли ему помог психоанализ? Трудно сказать, особенно судя по тому, как долог был перерыв в его литературных занятиях. Но Гессе не может писать то, что не продиктовано внутренним видением, которое можно обрести лишь с помощью союзника, и имя ему — время. Гессе, легко написавший первую часть «Сиддхартхи», посвященную Ромену Роллану и опубликованную в июле 1921 года в «Нойе рундшау», не в состоянии начать вторую. Реальность отказывается воскресать, как если бы ее создатель представлял ее себе совершенно или на мгновение лишенной необходимых духовных вибраций. Если молодой Сиддхартха спокойно идет с

самого начала навстречу своей судьбе, то Гессе постоянно оступается. На одной из фотографий он стоит в черном жилете на балконе Каза Констанца, грустный, подавленный. Перед ним распустившаяся, словно цветок, Рут со своенравно сложенными губами. На другом снимке они оба одеты в белое. В его улыбке горечь, лицо темноватое и плохо выбрито, он может сойти за отца молодой женщины, руки которой лежат одна на другой, словно птицы, готовые взлететь. Блик света озаряет лица. Кажется, что слышно жужжание шершня и видно, как покрывается смертельной бледностью небо…

Герману сложно объяснить свои отношения с фрейлейн Венгер: «Мы оба очень нуждаемся в любовном взаимопонимании. Мы его находим, когда рядом, и теперь знаем друг друга настолько хорошо, что, кажется, связаны навсегда». Он говорит о детском доверии, которое молодая женщина ему оказывает: «Если бы я смог заставить любовь Рут ко мне превратиться просто в дружбу, я бы это сделал… Но мне сорок четыре года, а ей едва двадцать. Сейчас дружба и любовь для нее неразделимы». Он не сомневается, что если бы у молодой девушки были другие возможности выйти замуж, она бы ими незамедлительно воспользовалась. Соблазненный ее милостями, одержимый смелыми мечтаниями, он волнуется: *«Я* сомневаюсь по поводу женитьбы: помоему, моя миссия состоит скорее в том, чтобы воплотить в творчестве собственный жизненный опыт. Моя чувствительность делает меня малоспособным к женитьбе». Его любовная авантюра тем не менее не находит иного завершения. «Наш трепет теперь, — говорит он, — в моих глазах благо и означает, что наши звезды и наши боги его желали».

Герру Венгеру он признается: *«Я* не только ощущаю любовь Рут, но также обязан ее матери многими вещами, которые не могут забыться». Как раньше у Марии в Кальве, он теперь ищет защиты у Лизы, старательно его опекающей. На фотографии справа от Тео, который с суровым видом сидит за рулем своего лимузина со ступеньками из светлого металла, стоит Лиза, поражающая строгостью выражения лица, — весь ее облик, исполненный какой-то особой основательности и серьезности, заставляет вспомнить жену пастора Иоганнеса. Позади Герман, самый веселый из всех, между двумя молодыми девушками, из которых та, что красивее, конечно, Рут.

Чтобы отдалиться от этой идиллии, которая требует от него определенных шагов, Герман отправляется в Германию на очередные конференции. «Меня, разумеется, встретили в Штутгарте статьи про Гессе — предателя родины, азиата, буддиста, ни к чему не годного, — записывает он, — но я

отметил, что их никто не читал и не принимал всерьез». Осень он проводит в Швабии: «Я увидел родину без особенного волнения. Провел день в Кальве, три дня в Маульбронне, отдал визит сестрам, провел много времени с сыновьями моих братьев и их друзьями, которым теперь от восемнадцати до двадцати пяти лет…»

Вернувшись в ноябре в Тичино, он с удивлением узнает, что его друзья Балли уехали из Агнуцио в Мюних. Одиночество в Монтаньоле кажется ему настолько невыносимым, что он начинает ненавидеть свою неподвижную рукопись, страницу, на которой уже побледнели чернила, все так же оставленную на той же строчке, на том же слове.

Новогоднюю елку он наряжает вместе с Рут в главной резиденции Венгеров, в Делемонте, в швейцарских Юра.

Сможет ли Гессе в наступающем году закончить наконец произведение, которое вынашивает уже около трех лет? Он стремится увидеть в индийской мудрости некую более глубокую духовность, менее нетерпимую, более располагающую к просветлению, особенно близкую к долгой аналитической работе, которая, по Юнгу, «не имела другой цели, кроме создания в нем пространства, в котором можно слышать голос Бога». Это понятие «внутреннего пространства» глубоко затронуло писателя. Оно заключало в себе новое измерение мира, всеохватывающее видение. Решающим, по-видимому, явился приезд в Монтаньолу Вильгельма Гундерта, его немецкого кузена — старшего сына дяди Давида, брата Марии. Он был для Гессе живым воплощением его духовных поисков.

Верный семейным традициям, Вильгельм получил философское образование и стал миссионером. Живя в Японии, он взял отпуск и отправился в Европу навестить Германа. Кузены вели оживленную переписку, оба интересовались ориентализмом, и общность во взглядах сближала их больше, чем родство. Легко представить, о чем они могли говорить на протяжении нескольких дней в Лугано, где остановился Вильгельм. Он был старше Гессе на три года, уже поседел и напоминал их деда, кальвского патриарха, которого звали Волшебником. Еще более чем старик Гундерт, он был обязан своими взглядами экзотическим приключениям. Вильгельму открывались мистические тайны, божественные откровения, которыми он пропитывался, не подвергая, однако, сомнениям собственную веру. Они вспоминали юность, деда из Кальва, изучавшего примитивные философии, стареющего Иоганнеса, медитировавшего над словами Лао-Цзы: оба, однако, не ушли за пределы пиетизма.

Вильгельм, изучавший философию Китая и Индии, проявил больше мужества: Восток помог ему создать свою концепцию неба и ада, и он старался постичь и то, и другое. Погрузившись в историю феодальной Японии, культуру самураев, постигнув законы мудрости, руководящие наукой души, он нашел в Германе собеседника, умевшего черпать в бессознательном вечные символы.

Благодаря этому общению все для писателя засияло новым светом. Индия, где он поселил молодого Сиддхартху, приобрела другое измерение. Ее образ потерял фрагментарность и камерность, навеянные кальвским кабинетом-музеем деда. Он обладал ключом от пещеры. Он мог войти туда без страха. «Прекрасный ребенок брахмана», образ которого был еще недавно лишь эскизом, теперь жил, искал свой путь, который ни отец, ни учитель не могли ему показать. Он уже не был тенью, укрытой небольшим пальто землистого цвета, — его взгляд напоминал взгляд Германа, и из уст Германа раздавался его голос…

Спускалась ночь. Озеро теряло свои цвета. Вильгельм возвращался в Токио, и птицы искали после утомительного дня свои гнезда в розовых кустах. Все умирало и одновременно рождалось, а писатель обращался к рукописи. Его молодой герой размыкает после сна веки, смотрит на него и вновь отправляется в дорогу. У обоих на устах слова: «Одна цель стояла перед Сиддхартхой одна-единственная: опустошиться, избыть все — жажду, желания, грезы, радости и страдание. Отмереть от самого себя, лишиться своего „я“, с опустошенным сердцем обрести покой, освободив мысль от самости, распахнуться навстречу чуду».

В конце мая 1922 года Гессе берет перо, чтобы написать: *«Я* наконец, через два с половиной года закончил мой индийский рассказ „Сиддхартха“ и отправил его Фишеру». Отметив свое сорокапятилетие, он признается: *«Я* чувствую, что там мне удалось сформулировать некий новый (индо-медитативный) для нашего времени способ мышления».

Гессе сделал своим героем человека из другого мира, но это никого не могло ввести в заблуждение. Жизнь Сиддхартхи — жизнь самого писателя. Брахман напоминает Иоганнеса, «ученого, достойного уважения каждого человеческого существа». Выходки темноволосого юноши — это выходки Германа, в них узнаваемы его гордыня и боль. Камала, посвящающая Сиддхартху в эротические игры, потом мать, олицетворяющая тайную силу, объединили в себе черты, которые вызвали восхищение Лулу и женитьбу на Мии. Наконец, странник Васудева напоминает Бауэра, книготорговца из Базеля. Именно он указывает герою путь

к одинокому постижению мудрости через созерцание воды в Реке и наслаждение ее музыкой.

Через прекрасную легенду, простую и мелодичную, Гессе постигает мудрость без ученых слов. Следуя за Сиддхартхой по пути божественного, мы прислушиваемся к душе Гессе. Здесь Запад созерцает Восток. Сиддхартха трогает нас, как Каменцинд или Демиан, потому что с горячностью, щедростью или безнадежностью он превратил свое сердце и чувства в нечто большее, чем интеллектуальные абстракции. Этой полной любви игрой писатель, ничего не отвергнув, соединил индийскую философию и собственные открытия в психологии. То, что им создано, по своему масштабу сравнимо с великими восточными религиями. Ищущий не должен на своем пути пренебрегать ни одним из знаков: божественное повсюду. Писателю настолько удалось проникнуть в тайну подсознания, что отныне его зовут не иначе как «мудрец изМонтаньолы».

В августе он был приглашен на интернациональный конгресс в Лугано, где Ромен Роллан попросил его представить свою книгу интеллектуалам ъсего мира. Но как рассказать о «Сиддхартхе»? Можно ли со слов понять то, что необходимо пережить? Как раскрыть образ индуса, который преодолел все свои «я», не являвшиеся истинным «я», и в конце пути останавливается на берегу Реки, чтобы услышать единство звучания тысяч ее струй.

Гессе стал читать перед собранием фрагменты из своего шедевра. «Я, — говорит Сиддхартха, — убедился телом и душою, что грех был мне весьма необходим, я нуждался в любострас-тии, в стяжательстве, в тщеславности и позорнейшем отчаянии, чтобы научиться отречению от противодействия, чтобы научиться любить мир, чтобы не сравнивать его с неким для меня желанным, мною воображаемым миром, вымышленным мною образом совершенства, а оставить его таким, каков он есть, и любить его, и радоваться собственной к нему принадлежности…»

Решив покинуть все, отказаться от всего, — даже от того, чтобы видеть, чувствовать, действовать, идти дальше, — и лишь слушать каждую вибрацию своего существа сквозь удовольствие и страдание, Сиддхартха достигает освобождения в тот момент, когда постигает бесконечную мудрость, заключенную в шуме Реки: «…Эта река бежала и бежала, бежала, не останавливаясь, и все-таки оставалась тут, на месте, всегда и во все времена была та же и все-таки каждую секунду другая, новая!» И от удовольствия и от страдания не оставалось ничего. «…Отрока Сиддхартху отделяла от мужчины Сиддхартхи и от старца Сиддхартхи лишь тень, а не реальность. И прежние рождения Сиддхартхи тоже не были прошлыми, а смерть его и возвращенье к Брахме не были

грядущими». Он отдался на волю Реки времени, слушая ее голос, — и в это мгновение появилась вечность. Состарившись на берегах Реки, Сиддхартха обрел лик, который больше не искажали следы желаний, лик, пребывающий в гармонии с сущим.

Гессе отложил книгу и увидел, что к нему кто-то идет. Высокий темнокожий человек представился: Калидас Наг, бенгали-ец, профессор истории в Калькутте. Переполненный чувствами, он упал писателю в ноги. Улыбка озаряла его лицо. Ему нужно было дойти до Европы, чтобы услышать подлинное послание Востока.

На балконе Каза Камуцци они пьют чай, прогуливаются вдоль покрытой полотном балюстрады, составляющей часть террасы, где Герман ставит свой мольберт для акварелей. Он показывает их гостю и одну из них хочет подарить: «Мой индийский друг выбрал ту, на которой было изображено дерево возле моста, объяснив свое предпочтение тем, что любит деревья и их язык, а мост отныне символизирует для него установленную связь между Западом и Востоком».

Калидас Наг с великим сожалением расстается с монтаньольским отшельником. «Этот бенгалиец стал для меня дорогим другом, — пишет Герман Гессе Ромену Роллану. — Он обладает тонкостью восприятия, какое встречается не часто». И Елене Вельти: «Он мне рассказал множество вещей и спел старинные и новые индийские песни… Он был энтузиастом. Он хорошо знал, что мы, европейцы, знаем и изучаем догматический буддизм. Но то, что один из нас оказался настолько близким к Будде реальному, живущему в глубине человеческой души, было, на его взгляд, совершенно замечательно…»

Молодежь поклоняется герою, который подчиняется лишь собственному внутреннему закону. Послевоенному негативному отношению к тоталитаризму писатель противопоставляет свою страстную проповедь свободной личности. В эпоху абсурдного материализма он видит лишь одно лекарство — обращение к внутреннему знанию. Для каждой личности оно индивидуально, и все они должны примирить свои многоразличные сущности в едином хоре бытия.

В своем убежище, в своей башне из слоновой кости монтаньольский отшельник страдает, созерцая смуту в Европе. Мировой кризис и его собственные проблемы наслаиваются друг на друга. Тот, кем он является в этой хаотичной вселенной, тот, чью личность он сам ставит под вопрос, вопрошает человечество. Его тревожит судьба Германии. Нравственный упадок и спекуляция уже заставили стенать Стефана Цвейга: «Берлин

превратился в Вавилон». Побежденная нация стала золотым дном, ярмаркой для аферистов, и результатом явилась ксенофобия. Все недовольство выражалось в адрес Пангерманистской лиги, оскорбляемой к тому же Версалем. 24 июня 1922 года Герман узнал об убийстве Вальтера Ратенау, еврея по национальности, двумя членами правой оппозиции. «Смерть Ратенау меня совершенно не удивила — она меня сильно потрясла. Я одно время переписывался с ним; эта несчастная клика, вооруженная пистолетами, которая его уничтожила, состоит из тех, с кем на протяжении лет я борюсь и выставляю у позорного столба». Противники Веймарской республики вынуждены были с осени 1920 года скрываться в подполье. В Мюнихе пустил корни расизм. «Немецкие университеты — цитадель этой глупой и невыносимой нищеты разума», — восклицает Гессе.

После смерти в феврале 1922 года его друга, либерала Конрада Хауссмана, он все более и более чувствует себя одиноким. Его прежние знакомства, завязанные на волне реваншизма, постепенно сходят на нет. «Мои германские друзья меня покинули», — пишет он 10 сентября. Даже Альфред Шленкер, его дантист из Констанц, музыкант, для которого он создал текст оперы, не пишет ему больше. Художник Отто Блюмель, друг по годам, проведенным в Гайенхофене, «посылает одно приветствие в год». Лишь несколько людей остались ему верны: Жозеф Энглерт и особенно Балли, дорогие Балли, которые мерзнут в Мюнихе при приближении осени и которым он теперь ищет жилье в Тичино.

Из Кальва новости не более радостные. Обвал марки, повлекший за собой повышение цен, отразился на благополучии Гундертов. Неуверенность в завтрашнем дне постоянно мелькает между строк в письмах из Адиса. Здоровье Маруллы, которая вынуждена была покинуть прежнюю работу и искать другую, заметно ухудшилось. Обследование выявило болезнь легких. Герман, убежденный в мистической связи тела и души, говорит со своей младшей сестрой в выражениях, которые могут показаться почти жестокими, если бы мы не знали о существовании для него «другой сцены», бессознательного, где разыгрывается вся наша жизнь: «Я считаю, что твоя болезнь психического происхождения, как считаю психической всякую болезнь вообще, равно как и перелом руки или ноги. Если ты не прекратишь мучиться разными беспокойствами и посвятишь себя среди приятных тебе людей тем занятиям, которые доставляют удовольствие, тогда даже с плохими легкими ты будешь счастливее и здоровее, чем со здоровыми, если ты ясно не представляешь, что тебе на самом деле нужно делать…»

Герман подчеркивает, что все это — отнюдь не воображение: Марулла действительно страдает, но ее болезнь — увертка. Разум хитер. Он — хозяин «театра сознания». Он дергает за ниточки наших настроений, оправдывает наши бегства и, объединившись с нашими нервами, играет нашими жизнями, как марионетками. Это вторжение бессознательного обозначает реальность «внутреннего пространства». Это истоки нашей жизни, символы которой представляет нам Гессе. «Театр сознания» или «Магический театр» — речь идет лишь о зеркале. Узнать себя — значит завладеть этим зеркалом и не отрывать от него глаз.

Узник своего ненадежного убежища, переходящий от одной депрессии к другой, постоянно озабоченный своим здоровьем, Гессе далек от того, чтобы покончить с этой поверхностью, обращенной то к сточной канаве, то к небесам. Однако физические боли его атакуют всерьез и требуют лечения. Это данность жизни, которую он воспринимает без иллюзий. Он отправился в красивое местечко Тоггенбург, где его подвергли довольно жесткому режиму: пост, ходьба, воздушные ванны, водяной пар, специальная гимнастика, массажи. Он сильно потерял в весе — теперь в нем едва ли наберется пятьдесят четыре килограмма: «девяностолетний» «старый кот», — объявляет он Баллям, переехавшим в район Монтаньолы. Одной из своих поклонниц, Ольге Дейнер, незадолго до Нового года он объясняет: «Конфликт состоит для меня в моей абсолютной неспособности разделить ощущение и способ жизни с другими людьми, с женщиной, с друзьями, с вышестоящими, с кем бы то ни было». В конце 1922 года он платит за летние мучения. Проблемы, связанные с Мией и заботой о троих детях, нанесли существенный урон его бюджету. Он буквально убил себя, написав «Метаморфозы Пиктора», немецкую реплику на «Сиддхартху», в надежде собрать хоть какие-нибудь гонорары. Приближается развод.

Необъяснимая фатальность: развестись — означает для Гессе тут же вновь жениться. Он испытывает отвращение к перспективе посвятить хоть малейшую частичку самого себя супружеской жизни. И притом думает о Рут как о невесте, клянясь всеми своими богами, что это безумие. Он страдает от тяжести в желудке и болей в горле. Он отчетливо понимает, что взвалить на себя заботы о женщине, занятой своей красотой, со своими требованиями и прихотями, для него непосильно. Жена продолжает его мучить, ему не хватает воздуха, сияющее небо превращается для него в низко нависшие тучи, жизнь — в груду пустяков. Мир вокруг теряет яркость.

С трудом дождавшись в Монтаньоле весны 1923 года, он,

едва стаял снег, решает вновь отправиться лечиться.

Гессе выбирает Баден, курорт близ Цюриха. Так же, как и Маульбронн, Гайенхофен, Базель или Берн, Баден станет местом, где происходит его духовная эволюция. Его подгоняет страсть к экспериментам. В тяжелых ситуациях он пользуется своим внутренним состоянием, чтобы почерпнуть силы для творчества. Что мог принести ему Баден, где лечились пожилые люди, больные, занятые обсуждением своих болезней или в одиночку сидящие в скверах на скамеечках и объедающиеся лакомствами? Какие отношения могут возникнуть у него с этими инвалидами, растянувшимися в шезлонгах в саду отеля «Вере-нахоф», фасад которого поддерживает странная кариатида, украшенная пальмовыми и тисовыми листьями? Его мучает артрит, у него впалые щеки, красные веки — его вид вызывает беспокойство. Особенно бросаются в глаза тонкие губы, сжатые в едва различимую улыбку, окрашенную не то нежностью, не то иронией.

Но теперь он понимает Реку. Романтик-немец и внимательный таосист узнал себя в этих мутных водах и, по примеру Сиддхартхи, пытается полностью реализоваться, зная цену такого воплощения. Он без колебаний отправляется на штурм своего внутреннего театра, где живут шуты и герои, страхи и прихоти, святые и оборотни. «Ты спрашиваешь, имеет ли мое беспокойство духовные причины, — напишет он Эмилю Моль-ту 26 июня. — Но, дорогой мой давний друг, неужели ты не читал ни одной моей строчки? Если нет, ты должен знать, что не только с точки зрения психоанализа я считаю все нервные болезни чисто психическими, но вообще любое физическое событие… продиктованным и вызванным душевным движением».

Гессе припадает к источнику, чтобы напиться целебной воды, и нежится в теплых ваннах, не теряя, однако, себя самого из виду. И, непримиримый, смеется над собой. Собственный образ озабоченного и педантичного курортника бьет его прямо в лицо, словно бумеранг. Он с наслаждением выписывает мимику, позы страдальца, любые банальности. В маленьком закрытом сумасшедшем мирке, который его окружает, он представляет собой идеального клиента, честного, благоразумного, респектабельного и дисциплинированного, то есть не топчущего лужайки и прополаскивающего свой стакан два раза как минимум. Он абсолютно подобен тем, кто его окружает: «На улицах люди идут очень медленно, многие с тросточками, многие хромают, хотя каждый старается скрыть ишиас. Я делаю то же самое — на людях стараюсь казаться путешественником, заехавшим в Баден из чистого удовольствия. Повсюду царят

радость и искусственный шарм, хотя на самом деле мы все испытываем боль».

За едой он украдкой улыбается самому себе: «Я сижу в светлой столовой с высоким потолком за маленьким круглым столом, один, и одновременно наблюдаю, как я беру стул, сажусь, чуть-чуть прикусив губу, потому что мне больно; потом я вижу, как прикасаюсь машинально к вазе с цветами, чуть придвигаю ее, вытаскиваю медленно, будто в раздумье, салфетку из-под своего прибора».

И это он — любитель природы, лесных прогулок, нераскаявшийся нудист, Кнульп, бродяга, сидящий в придорожных трактирах на деревянном табурете? Можно ли теперь узнать в нем фланера из Венеции с лицом святого Франциска, озаренным радостью, или зеваку, сфотографированного в Монтефалко в черной шляпе на итальянский манер, сидящего рядом с кувшинами вина? Какой неожиданный образ он теперь являет: больной нытик в плену привычек здешнего светского общества, как все остальные, забавляющийся «тревожным видом своего соседа, его неуверенностью и беспомощностью». Есть над чем посмеяться.

И Гессе-поэт смеется над Гессе-курортником. Он описывает свое унылое лицо, его «смиренное выражение», гримасы, которые корчит от боли, свои скупые жесты — и все это в окружении, которое он не теряет из виду и за которым продолжает внимательно наблюдать. В его сознании живут два человека. Один — примерный пациент, тщательно описывающий жизнь в Бадене. Другой — веселый повеса, которого ужасная жара и лютый холод приводят в драматическое возбуждение и которого терзают дурные предчувствия в этом оазисе беззаботности, где так распространен дурной тон, следы которого видны повсюду: в фасоне дамских шляпок, на выставке почтовых открыток или на программках концертов легкой музыки в час чая. Так увидят свет «Записки о курортной психологии», вскоре собранные в книгу под названием «Курортник», где грубоватые шутки и каламбуры не смягчат блестящую сатиру.

На протяжении своего весеннего и осеннего курсов лечения, под весенним ливнем или под осенним листопадом Гессе будет таскать за собой оригинального спутника — капризного и упирающегося изо всех сил одиночку. Они будут сражаться на рапирах — насмешливый и обессиленный, — ощущая трепет, биение крови и жар. Их удары прозвенят в молчании гостевого зала. Гессе-поэт слишком умен, чтобы не заметить, что игра, которой он забавляется, помогает Гессе-курортнику выздороветь. Он легко меняет тональность, заставляя воображение переходить

от гармонии к диссонансу и наоборот «в самом живом и самом глубоком взаимодействии». В мягких фланелевых брюках он напевает мелодию, которую подхватывает загоревший Гессе. Они подстерегают друг друга, сталкиваются, объединяются в восхитительном созвучии. Это одновременно и двуликий Герман из Кальва, и стоящий на страже Лаушер, но более гибкий, более умный, не упускающий случая выразить свою двойственность: «Я хотел бы найти выражение для двуединства, хотел бы написать главы и периоды, где постоянно ощущались бы мелодия и контрмелодия, где многообразию постоянно сопутствовало бы единство, шутке — серьезность. Потому что единственно в этом и состоит для меня жизнь, в таком раскачивании между двумя полюсами, в непрерывном движении туда и сюда между двумя основами мироздания».

Многие читатели увидят в герое Гессе себя. Его тоска — тоска человеческая. Он никогда не потеряет ее из виду, отказываясь ее предать: «Можно много говорить об этом, а вот разрешить нельзя. Пригнуть оба полюса жизни друг к другу, записать на бумаге двухголосность мелодии жизни мне никогда не удастся… И все-таки я буду следовать смутному велению изнутри и снова и снова отваживаться на такие попытки. Это и есть та пружина, что движет мои часы».

Принять свою судьбу, какой бы она ни была, — это его кредо. Эту мысль он объясняет нам не как интеллектуал, а как художник, прибегая к единственно возможному универсальному языку: музыке. Читать Германа Гессе — значит слышать его партитуру, на каждой странице воспринимать звучащую песню и ее эхо, брата, врага и любить их в их самых причудливых формах. Георгу Рейнхарту он напишет 25 октября: «Я закончил мою баденскую рукопись. Она называется „Курортник“ и содержит, как мне кажется, нечто новое и особенное…»

Ему сорок шесть лет: резкая линия бровей, гладкий подбородок, готовые сложиться в насмешку губы. На фотографии он бритый, обнаженный по пояс рядом с Рут, повязавшей на лоб большой светлый платок. Конец осени 1923 года он проводит в Каза Камуцци, «который дарит ему утонченность великолепного одиночества». Он пишет Венгерам длинные восхищенные письма: берега реки в цветах, горы — оттенков мечты. В день ежегодного деревенского праздника он наслаждается пиршеством, как ребенок, и, присев на стену церкви СанАббондио, разглядывает процессию: «Мадонну вынесли из церкви, очень большую, больше человеческого роста, могущественную, позолоченную и в голубом плаще. Она поглотила все солнце и напоминала древнюю богиню». Ему есть от чего чувствовать себя счастливым: только

что вышел в свет «Сиддхартха», переиздается «Демиан». Фрау Вельти прислала ему корзину осенних яблок, которые он оставил на воздухе и с удовольствием грызет время от времени. Он перечитывает сердечное письмо, полученное от Стефана Цвейга еще в конце 1922 года: «Я чувствую, дорогой Гессе, что мы идем очень близкими путями, что наши пути одинаково надломлены эпохой, что нас обоих время побуждает к внутреннему поиску, который мог бы создать впечатление отстраненности и бегства, однако мы хорошо знаем, что речь идет о попытке приблизиться к истине…»

Его развод вступил в силу 24 июля 1923 года. Рут с матерью приехали в Монтаньолу, чтобы напомнить о его обещаниях. Гессе называет восхитительную Рут в летнем платье «моя любимая», превозносит ее красоту, «изящные мочки ушек», прелесть ее форм, чистоту голоса. Но вновь жениться? Неразумная и сумрачная перспектива подобного шага его беспокоит, и в сентябре он бросает тревожный крик доктору Лангу, шлет друзьям призывы о помощи. Такое впечатление, что он собрался топиться. Его раздражает все, начиная от бумаг, которые нужно заполнить, чтобы подтвердить швейцарское гражданство, что является первым условием женитьбы. Он возмущается этой сатанинской бюрократией: «Квинтэссенция одиозности, мерзости, того, от чего нужно бежать, тьфу!» На самом деле Гессе и сам хотел получить документальное подтверждение тому, чем обладал с детства. Если он отступает иногда перед необходимыми формальностями, то это чистое притворство: так он надеется отдалить свою женитьбу, быть может, сделать ее невозможной. Его раздражают приготовления к церемонии, инфантильная возня Рут и ее матери: приданое, детали костюма, женские хлопоты. Он нервничает. Уехать, ах, уехать бы!.. Но Рут тороплива и требовательна. Она просит его приехать к ней в Базель, в 0сгель «Крафт», где она остановилась. Ее отец очень плох, и она не хочет ехать к нему в Делемонт одна — ей нужен ее Герман. Все начинается снова.

Облеченный новыми обязанностями, Герман покидает Монтаньолу с грустью, смешанной с яростью. В Лугано он садится на поезд, уносящий его от любимого Тичино. Бездна открывается перед ним: собственный палач, он решился разделить жизнь с женщиной, которую должен защищать, подчиненный ее просьбам, ее страхам, ее слабостям, а завтра — почему нет? — ее капризам. Нет, нет, — объясняет он сестре Адели, которая пытается его успокоить, — нет, я «старый, больной, одинокий, я не могу жениться по доброй воле». Так зачем же идти на поводу? Из-за угрызений совести, чтобы не предать детскую преданность Рут, из

любви к Лизе, которая смотрит на него, как мать, с нежностью и строгостью. К тому же доктор Ланг, который занимается астрологией, сообщает ему, что в этом году для него есть знаки, обозначающие женитьбу, и Герман начинает воспринимать все происходящее как неизбежную фатальность. Но письмо, которое он пишет 7 декабря из Базеля Ромену Роллану не может нас обмануть: «В глубине своего существа я самана и принадлежу лесу…»

Несчастный самана, раздавленный событиями, измученный болями, который колеблется, выбрать ему веронал или алкоголь, чтобы себя утешить, в безнадежных письмах друзьям объясняет, что женится, несмотря на овладевшее им сильное чувство, полный множеством сомнений! Не поддаться шарму дочери Венгеров было весьма сложно: на фотографии, сделанной в день свадьбы, она кажется маленькой мадонной, шея утопает в кружевах, платье с короткими рукавами украшено легким шарфом, невинные губки. Можно представить себе, чего он желал и не находил раньше.

Фрейлейн Венгер ничем не похожа на Камалу, куртизанку, научившую Сиддхартху утонченным удовольствиям: умелая в наслаждениях, она заставила юношу испытать трепет сладострастия. Гессе любит женщин, в которых есть жар муки, почти смертельная страсть, тех, в лице которых есть «письмена тонких линий, легких морщинок, письмена, напоминающие об осени и старости». В пятнадцать лет он безнадежно влюбился в Евгению Кольб, которая была на семь лет его старше. Разочарование заставило его перенести свои любовные переживания в область воображения. Только в двадцать два года он вновь испытал чувство к реальной женщине — Лулу, однако держался на расстоянии от Елены Войт. Он пал к ногам Элизабет Ларош, которая его грациозно оттолкнула и в конце концов со своего рода покорностью принял то, что могла ему предложить Мия: банальную безопасность комфорта. В сорок шесть лет он ощущал себя лишенным в жизни эротизма, присущего, однако, его книгам.

В Базеле Гессе старается разделить музыкальные интересы Рут, сопровождая ее в собор, чтобы послушать Баха и Гайдна, в оперу, но устает от этого ежедневного напряжения. Девушка подчиняет его себе, а он все хуже переносит ее страсть к животным: комнаты Рут в отеле «Крафт» населены птицами, кошками, собаками. Среди всей этой суматохи совершенно невозможно побыть наедине.

Он проводит Рождество у родителей невесты в швейцарских Юра, а в первых числах января возвращается в Базель, разбитый и

угнетенный. Семья Венгер подарила ему к Новому году десять томов «ЖанКристофа» Ромена Роллана. От самого Роллана он получил очерк о «Махатме Ганди» с посвящением: «Другу Герману Гессе, самана, с сердечной теплотой на память». Его тоска усиливается. Он ощущает внутреннее неблагополучие, но не может разобраться в себе, и обстоятельства приговаривают его еще к одному тупику. Гессе хотел встретиться с доктором Лангом, переехавшим недавно в Цюрих, но слег с рвотой и сорокаградусной температурой. Дни бегут. Свадьба назначена на 11 января. Она пройдет в камерной обстановке.

Своими впечатлениями о церемонии молодой муж поделился с Аделью: «Позавчера состоялась наша свадьба, то есть довольно глупая комедия, называемая гражданской свадьбой. Обстоятельства были не слишком благоприятные, если учесть, что после шести дней мучительной болезни с высокой температурой я не мог подняться и с трудом ходил. Но, поскольку мы не видели в происходящем ничего торжественного, то сочли предпочтительным закончить с формальностями как можно скорее».

Несколько дней спустя на маленький обед собрались близкие друзья: певица Илона Дюриго, композитор Отмар Шёк, Лётольды и весельчак Жозеф Энглерт. Последующие дни внесли мало изменений в жизнь Германа, «столь же одинокого, как обычно». Он пишет Карлу Шелигу 17 февраля 1924 года: *«Я* бродил, почти бесплотный и невидимый, по улочкам… Теперь я понимаю, насколько сложно быть стареющим мужем совсем молодой женщины, у меня столько нового, приятного и одновременно трудного… Мы не ведем общее хозяйство».

Всю зиму он болеет, а едва встав на ноги, решает уехать в Монтаньолу. Ему нужны цветы Тичино, бабочки, парк Камуцци… «Вырваться отсюда» — так он выражает стремление покинуть отель «Крафт» с меблированными комнатами, где единственная возможность убежать — это спуститься в бистро, чтобы выпить кружку пива или вина.

На Пасху писатель возвращается в Монтаньолу, в черном плаще, со складным стулом под мышкой, сообщив об отъезде лишь Лизе Венгер, которую теперь зовет «маман» и считает едва ли не единственной, кто способен понять, как он страдает от невозможности писать. Когда Гессе не рисует, ему остается «из-за дождя или холода читать около камина, курить, медитировать и тем не менее быть полезным себе»: «Я просмотрел целую кучу эссе и статей, которые написал за всю жизнь» и убедился, что «несмотря на все изменения, всегда, будь то с точки зрения человечности, политики или своих творческих исканий,

преследовал одни и те же цели».

Лиза Венгер живет его поэзией, прогуливается в тени его прозы, тихонько стучит в дверь его души, вглядывается в его умное лицо, в серые глаза, переводит взгляд на его руку, рисующую акварель, и, полив, словно Мария в Кальве, цветы, решительно пересекает коридор. Она не упускает случая повидать Германа и 5 июля 1924 года приезжает вместе с Рут, с цветами и пирожными, чтобы отпраздновать его день рождения. Она не стесняется застать его сидящим на опушке леса перед акварелью или принимающим на террасе солнечные ванны, но он не замечает этого. Он погружен в себя, мрачен и угнетен. Женщины докучают ему. Может быть, они объединились против него? Неужели Лиза, которую он почитает, источает яд обладания?

Гессе давно не видел сыновей. Бруно приедет в Монтаньолу в июле. Ему восемнадцать лет, и он хочет стать художником. Мартин живет в Киршдорфе у сестер Ринжер. Хайнер — самый неспокойный и потому самый близкий отцу, однако Герман на него сердит. Он ждал приезда сына в Монтаньолу на каникулы, но тот не сдержал своего обещания. Герман занимался подготовкой к его конфирмации, но Хайнер решил ее отложить: «Сколько тебе можно говорить, что я страдаю от твоего поведения и прошу тебя быть более почтительным. Говорить так не только позволительно отцу, но это и отцовский долг, нужно, чтобы ты это понимал…» — в раздражении Герман откладывает в сторону перо. Быть может, мы слышим Иоганнеса? Он меняет тон: «Мне хотелось бы сказать, что ты мне дорог, что я принимаю участие во всей твоей жизни, и не сомневаюсь, что с годами ты будешь все больше и больше это ощущать».

Хайнер — блондин, очень худой, его глаза похожи на отцовские, он чувствителен, и с ним можно быть откровенным: «Неразбериха и развод, долгие постоянно повторяющиеся болезни твоей мамы сильно повлияли на наши с тобой отношения, но от этого ты не стал мне менее дорог, ты всегда будешь нести частичку моего существа и моего сознания». Еще в начале года Мия внезапно приехала в Базель за руку с младшим сыном, закончившим школу: она хотела поговорить о нем с Германом. И столкнулась с Рут. В результате у Германа на нервной почве разыгрались желудочные колики. Рут, которая по любому поводу искала совета родителей, уехала в Делемонт.

Лето проходит в постоянных треволнениях. Явно что-то не ладится с этой женитьбой. Гессе уезжает в Баден лечиться, но его призывают в Базель — так хочет Рут. Он иронически рассказывает о своей супружеской жизни Алисе Лётольд в декабре 1924 года: «У меня есть миленькая маленькая комнатка на эту зиму,

которую я должен провести здесь, в Базеле, рядом с моей прелестной женой. Я живу у себя, Рут у себя… Я отправляюсь к мадам Гессе вечером, нахожу там что-то из еды, мы проводим вечер вместе в обществе кошки, собаки, попугая Коко… Потом я возвращаюсь в тумане ночи вдоль Рейна в свой квартал».

Кто сделал невозможной их совместную жизнь? Она, капризная, беспечная, небрежная? Или он, неловкий, не выносящий малейшей зависимости? Уязвимая и хрупкая Рут требует непрерывного внимания Германа не прельщает перспектива самоотречения. «Для писателя, мыслителя, привыкшего следовать собственному пути и играть в собственные игры одиночки, гораздо сложнее, чем другим, пожертвовать собой и забыть свое „я“», — пишет он Гуго Баллю. Снова обстоятельства не давали ему жить, как он хотел.

Ситуация осложнилась, когда весной 1925 года у Рут начались проблемы с легкими. Ее голос, переливавшийся так прелестно, теперь часто обрывался на мучительном хрипе. В декабре 1924 года она потрясающе пела в «Волшебной флейте» с Карлом Изенбергом и его старшим сыном — все трое блистали в огромной зале королевского замка в Людвигсбурге. В мае она слегла, но оставалась в Базеле вопреки мнению большинства врачей, которые советовали ей прогулки на свежем воздухе.

Гессе держится в стороне от больной: «Я постоянно скрываю от Рут собственную боль, — пишет он Эрику Оппенхейму. — Я стараюсь письмами воздействовать на нее, чтобы она была более оптимистична и думала о выздоровлении». Вскоре у Рут обнаружили туберкулез легких, и ее пришлось перевезти в Карону, где она была приговорена лежать в саду, не смея ступить ни шага, и прекратить петь по меньшей мере на год. Чтобы Герман, живущий в Монтальоле, мог ее посещать, она устроилась не у родителей, а в деревне. «Я буду, вопреки всем моим проектам, прикован к этому месту целый год, — сердится Герман, — и речи быть не может о серьезной работе».

Пока Рут борется с туберкулезом, продолжают разворачиваться драмы, связанные с Мией. Ее брат, коммерсант Адольф, покончил с собой. Другой брат, старый пастор Фриц, сошел с ума и был отправлен в клинику «Фриедмат» в Базеле. Мия сама страдает жуткими приступами безумия. Доктор Ниф предлагает отправить ее в Медризио. Но что делать с Мартином, который в двенадцать лет приехал из Киршдорфа к отцу с рюкзаком за спиной? Речи быть не могло, чтобы оставить его с матерью: пример Хайнера был слишком болезненным. Гессе жалуется Лилли Волкарт: «Я поглощен всеми этими невыносимыми вещами. К тому же на днях ко мне приезжает мой

старший сын Бруно…»

Обе семьи приносят Гессе одни хлопоты и расстройства. Его мучения обостряются, его вселенная погружается во мрак. Одна лишь воля не изменяет ему. Он хочет любой ценой преодолеть этот хаос, веря, что его судьба — испытать двойственность человеческой жизни и в конце пути обрести высшую истину. Он пишет 23 июля 1925 года убежденному католику Гуго Баллю: «Я не считаю вероятным, что я смог бы стать католиком; я буду продолжать жить в отчаянии от жизни, лишенной смысла, от одиночества. Я говорю себе, что страдание, даже самое бессмысленное, имеет с божественной точки зрения свое значение». В Монтаньоле Гессе не расстается с «Волшебной горой» Томаса Манна — великолепной сагой, где представлены два пути, открывающиеся человеку: добропорядочный и обыденный, путь обычного человека, отмеченный известными вехами, и другой — трагический, путь гения.

Писатель думает о пути просветленного бродяги-путешественника, который, чтобы примириться с самим собой и проникнуть в свою сущность, поощряет зверя, который сидит в каждом из нас. Чтобы пересечь эту ночную аллею, неподвластную разумному, лежащую вне нравов и обычаев смертных, быть может, нужно покинуть человеческое обличье, лишиться хриплого звука в горле, таящегося в зрачках смеха.

Гессе больше не будет бродить ночью один в безмолвном дворце Камуцци. Небо впитывает черноту земли, бледная луна поднимается над магнолиями. Он проскальзывает в свою комнату, где между фотографиями Рут и Махатмы Ганди свалены акварели. На секретере блистают в свете лампы «Петер Каменцинд», «Демиан», «Сиддхартха» и «Кнульп». У него коротко остриженные волосы, резкий профиль. Он закурил и выпил шерри. Он вдыхает ветер, у него острые уши и впалые щеки, его бока вздуваются и опадают.

Небесный свод безмерен. Зубы Германа блистают, а во взгляде сверкает золото. Он крадется вдоль стен. Он заблудился? Что он слышит? Баха, Генделя или бриз, проникающий в его берлогу? Нет отвращения, нет одиночества — есть могущество зверя. Если он перепрыгнет через эти перила, то не устремляясь к звездам и не в жажде приблизиться к лампе, озаряющей его звездное детство. В бесконечной степи он смотрит сквозь горизонт взглядом волка.

Глава XII ЧЕЛОВЕК-ВОЛК

… Кто читал ночью над Рейном облачные письмена ползущего тумана? Степной волк. А кто искал за развалинами своей жизни расплывшегося смысла, страдал от того, что на вид бессмысленно, жил тем, что на вид безумно, тайно уповал на откровение и близость Бога даже среди последнего сумбура и хаоса?

Г. Гессе. Степной волк

В марте 1925 года Гессе говорил о себе как о заблудившемся животном, которое бродит по степи и вдыхает ледяное одиночество. Он потерянно скитался от Каза Камуцци до своего базельского жилища и оттуда обратно в Монтаньолу, жил отдельно от жены, посещал бары. Болезнь Рут, безумие Мии, собственное беспокойство о будущем сыновей омрачали его существование. Однажды в Кароне он почувствовал себя пленником Рут. После лечения в Бадене его опять охватило желание бежать в Монтаньолу.

На его взгляд, болезнь Рут, как и Маруллы, связана с подсознанием. Не странно ли, что она проявилась тогда, когда он почувствовал, что хочет освободиться от супружеской зависимости? Рут, — быть может, бессознательно — создала своей болезнью себе алиби.

Гессе не сомневается, что источник его собственных болей, конъюнктивита и ишиаса, лежит в области психики. Рут, Мия, дети: столько препятствий к работе! Все это погружает его в меланхолию и раздражение, «смысл» которого он хочет понять. Его знание психоанализа достаточно глубоко, чтобы позволить ему почуять «всеобщий смысл», который подвластен ему только через творчество, когда, вглядываясь мудрым взглядом в боль, кажущуюся смертельной, писатель становится способным к высочайшему отстранению. Его юмор блистает уже в «Курортнике», и он прибегнет к нему с новой силой. Одинокий, отвергнутый, у подножия неизбежного, он хорошо слышит, как вновь рождается его смех — орудие, способное нанести удар рассудку. «Вот какие мы мартышки! Смотри: таков человек!» — восклицает он. У некоторых существ есть намерение страдать,

которое, разрушая их, несет на порог запредельного. «Нет, я не умру», — пишет он Эмме Балль в июле 1925 года, в час, когда его посещает мысль о самоубийстве… «Не по доброй воле я иду этим путем, пыльным, сложным, бесполезным». Он хочет надавить на закрытую дверь, ведущую в темную область его подсознания, и каждое движение дается ему с трудом.

Он стремится создать обстоятельства, которые помогут ему тронуть струны новых инструментов. В его «магическом театре» блистает игра светящихся букв. Этот «золотой луч», присутствие божественного, он почувствует, лишь пройдя отвратительными закоулками. «В мире я нерешительно плаваю кругами», — пишет он в конце октября 1925 года Вильгельму Шеферу. С осени он вырывает себя из паралича повседневности и поддается соблазну бегства, в котором так часто обретает черты бродяги Кнульпа.

В период этой новой эскапады он создает нечто, сравнимое по значимости с «Курортником». Теперь в нем нет и следа вчерашнего желчного подагрика. В образе четырехногого существа, не то человека, не то волка, он скользит сквозь реальность, где люди, вещи и города видятся ему в новом свете. Его путь лежит через Ульм, Аугсбург и Нюрнберг. Презрев комфорт, он идет пешком, прислушиваясь к самым тонким вибрациям действительности.

Вечером в Цюрихе при сиянии зимней луны он входит в дом Алисы и Фрица Лётольдов, где среди азиатской экзотики плавает дух индийских пряностей. Переночевав у ног позолоченного Будды, он вновь отправляется в путь сквозь бары, дансинги, автомобили, улицы, освещенные неоновой рекламой. Потерявшись в толпе, он пристает к официанткам в кафе, шутит с незнакомцами, идет в кино. И пока он пишет «Путешествие в Нюрнберг», его, как и его курортника, считают забавным весельчаком, «своим». Он создаст перспективу, создаст двухголосую партитуру. Жизнь за этот день не стала к нему милосердней, но он придаст ей колорит перипетиями своего паломничества за пределы существования отшельника. Он все глубже погружается в тему своей жизни: оппозицию двух полюсов. Бегство и безопасность, приключение и комфорт, отвага и скромность, разум и безумие: тревожные противоречия. Он мог бы миновать их, но они нужны ему, чтобы разбудить свою двуликость. Потерявший надежду смотрит на туриста, а турист не может оторвать взгляд от потерявшего надежду. Как он извлек из своего пребывания в Бадене иронический автобиографический рассказ, так из своих теперешних скитаний он создаст язвительную одиссею.

Путешествовать через старую Германию значило

путешествовать в собственной памяти и памяти всего народа, объединять прошлое и будущее, объединять мир: «Был Гёльдерлин в Тюбингене, был Мёрике и была прекрасная женщина. И смерть в этом путешествии претворялась в бессмертие! умершие, быть может, были, как и я, особенные существа, больные, страдающие, уязвимые, созидающие от скорби, а не от счастья, строители из-за отвращения к реальности, а не из-за ее гармонии». Это убеждение в том, что бессмертное искусство всегда отвечает на боль настоящего, не покидает писателя многие годы. Он говорит о нем во многих книгах, в «Демиане», например, и в «Курортнике». Именно из этого убеждения у него родилась идея зеркала, олицетворяющего ту загадочную эфемерность, какой живет в подсознании внутреннее «я», освобожденное от сиюминутности.

Гессе может смеяться. Конец его изнурительным скитаниям, туманным снам, бесполезным вопросам. В нем рычит волк — издевается над ним и приговаривает его к жизни. «Жил некогда некто по имени Гарри, по прозвищу Степной волк. Он ходил на двух ногах, носил одежду и был человеком, но по сути он был степным волком». Такими были первые слова произведения, которое создает с первых дней 1926 года седеющий писатель. Он дал своему герою — Гарри Галлеру — собственные инициалы И, как он, под маской нормального человека прячет волчьи клыки: «…В точности то же самое случалось и тогда, когда Гарри чувствовал себя волком и вел себя, как волк, когда он показывал другим зубы, когда испытывал ненависть и смертельную неприязнь ко всем людям, к их лживым манерам, к их испорченным нравам. Тогда в нем настораживался человек, и человек следил за волком, называл его животным и зверем, и омрачал, и отравлял ему всякую радость от его простой, здоровой и дикой волчьей повадки».

В этот период Гессе напоминает старого крестьянина и изголодавшегося живописца: сухое тело на нескладных ногах, взгляд, сияющий из-под очков, четкий профиль, пальцы, как у служащего измазанные чернилами или акварельными красками. Рут шлет ему наилучшие пожелания. Очарованный на мгновение, он ничего не делает, чтобы ее удержать. Он блуждает сам в себе, мечтает, слушает ветер, берет в рот снег, чтобы охладить пылающее горло. 7 января он пишет Карлу Изенбергу: «Я опять плыву в глубоком озере, полном воображаемого и того, что за пределами воображаемого и фантастического. Для меня это единственная возможность выносить жизнь в существующих обстоятельствах. так как я нашел здесь друга, с которым иду по этому пути, этот плохой период… по-своему величествен и

прекрасен».

Его друг психолог Ланг следует за волком по пятам и, словно оборотень, толкает его во тьму. «Я почти все вечера провожу с Лангом, пишет Гессе из Цюриха Анне Бодмер 10 февраля. — Мы едим в бистро Ниедердорф, а потом идем ко мне или к нему, болтаем, пьем коньяк, в чем он настоящий виртуоз. Я также научился у него танцевать фокстрот и недавно первый раз ходил на костюмированный бал, где пробыл до полвосьмого утра: конечно, я не блистал, но пойду опять туда в субботу. Я обратил внимание, как мудрый автор „Сиддхартхи“ сжимает в объятиях маленьких женщин под звуки фокстрота…»

Он должен взять реванш. Пиетизм запрещал любовные утехи под угрозой проклятия. Теперь Гессе хочет почувствовать в себе животное, которого манит близость, которое принюхивается, выходя из леса в поисках удовольствий.

Надев пиджак и лаковые ботинки, он превратился в гуляку. Ночные улицы, подозрительные отели, шампанское, клубы, негритянские оркестры. Двое ловкачей — Ланг и Гессе — идут, пошатываясь, знакомятся с девочками и после пары бостонов и танго болтают о своих похождениях, о смысле жизни, о смерти и Боге, не лишая ни один подобный вечер страстного завершения. Вечно мерзнущий Герман просыпается влюбленным, пьяным, раздевает своих любовниц — и открывает в сумраке нереальности новую главу своего существования. Его стыдливый интеллектуализм разбивается в прах. Ланг радуется этому. Не хочет ли писатель освободиться от набожных убеждений? На протяжении веков раны Христа кровоточили во тьме пиетистских альковов — Мария и Иоганнес видели лишь их. Герману не удалось уснуть меж рук, раскинутых на кресте, он не сумел увидеть сладострастия в лохмотьях греха.

Теперь он бросил вызов тому, чего так долго избегал, и с риском не понравиться читателям бесстыдно опишет свой отважный разнузданный опыт, помогающий ему отогнать тоску. «Если бы я не бежал постоянно по краю бездны и не ощущал под ногами ничто, — напишет он Елене Вельти, — моя жизнь не имела бы смысла». «Я оставляю своему читателю полную свободу выбора, — пишет он, — читать или не читать меня, любить меня или ненавидеть, найти мое произведение прекрасным или глупым, но я настаиваю на своем праве петь так, как мне необходимо в силу моего внутреннего мучения и бороться со своими проблемами так, как мне нравится». Он хочет испытать ничтожное, исчерпать его, чтобы найти жесткий и верный взгляд.

Будет ли опубликован «Степной волк», где распутный герой, равнодушный ко всему, к своей больной жене и потерянной

репутации, обеспокоенный, как и автор, прибоем Первой мировой войны, хочет уйти из жизни? В этом двойственном Гессе человек олицетворяет все духовное, утонченное, культурное, что находит в себе, а волк — все импульсивное, дикое и хаотичное. Писатель понимает, что эта терпкая книга не будет легко воспринята публикой, привыкшей к более гладкой прозе и менее суровой мысли. С другой стороны, он сам не будет любезно слушать своих боязливых поклонников, будь то даже его друзья.

Ни Гарри, ни Герман не покончат с собой. Но писатель, как и его герой, не избавится от своей иронической безнадежности, рискуя показаться сумасшедшим в глазах буржуа. Он погружается теперь в яростную чувственность, теряется в плену удовольствий, чтобы сделать их привычными и тем самым освободиться от желаний. Крайняя несдержанность — это любить, как Сиддхартха, и смеяться, как Моцарт, смеяться с безмерным сарказмом и ясностью бессмертных, воплотить в своей человеческой природе истинное намерение Господа. Как никогда, сын Иоганнеса и Марии хочет быть «поэтом или никем».

Но писателю нужно освободиться от прежнего «я», которое его еще не отпускает. Весна поможет ему в этом: загораются нарциссы, небо светлеет, оживают города. «На этот раз мы с Лангом, — пишет он в начале марта Анне Бодмер, — в самом деле участвовали в карнавале, в трех костюмированных балах, один из которых нас разочаровал, зато два других оказались просто великолепными. Я ничего подобного еще не испытывал, даже когда был пьян от вина. У меня было такое ощущение, что я совершенно растворился в окружающем. Это удовольствие, это опьянение вином, всем, что вокруг, плотским желанием, жаром, музыкой — это было чудесно!» И Отто Блюмелю: «Я почтил своим присутствием все балы Цюриха и оставался до утра, я влюбился в разных хорошеньких женщин — их фотографии в костюмах висят у меня в комнате; на самом деле мне трудно было сделать из упрямцаотшельника Гессе настоящее глупое и претендующее на жизнерадостность животное…» Артриту противопоказаны фокстрот и шерри. В большинстве своих писем он шутит по этому поводу: «Много выпито, много станцовано!»

В апреле он доверяется приятельнице: «Я жил, как молодой гуляка, часто танцевал, везде бывал, где только можно теперь бывать. Я был непрерывно занят самыми важными проблемами, которые ставила передо мной жизнь, не теряя тем не менее среди всего этого гама способности наблюдать…» Каждая из стен этих баров, залов, кафе дарила ему эхо, наполняя происходящее смыслами.

Долгие дни, надменное небо, в Швейцарии полно пчел. Июнь

1926 года, жара. Приближается годовщина смерти Иоганнеса. «Вот уже десять лет как наш отец умер, — пишет Герман. — И скоро пройдет десять лет с тех пор, как умрем мы». Помня, что в Кальве подобные даты отмечают почтенными церемониями, он покидает костюмированные балы Цюриха, чтобы уединиться в Монтаньоле.

В полудреме он вспоминает себя 14 июня 1916 года в Корнтале, перед телом отца. Рядом Адель и Марулла. Иоганнес лежит в гробу таким, каким сын видел его в последний раз: казалось, в лице его еще живет мысль. Пастор Кальва наконец обрел мир. Герман стоит, полный грусти, встречая пришедших почтить память усопшего, когда вдруг ощущает вокруг себя сияние. Над Тичино занимается заря. Открыв глаза, он видит на небе, над горами, явственный росчерк названия своего романа: «Степной волк».

Гессе вскакивает с кровати, охваченный ощущением внезапного прозрения. Эти белые ночи, женщины, которых он знал, все наслаждения от них: «он устал до тошноты». Но этот мир, куда он пожелал спуститься, открыл ему три формы видения: мировосприятие боязливого и банального буржуа, который до безумия боится страха и защищается от него деньгами и убеждениями; взгляд волка, противостоящего стае и непредвиденным опасностям; наконец, иронический взгляд бессмертных. Нужно научиться смеяться, и это то, что делает волк, который живет среди людей, ощущая себя чужим. Он ухмыляется, становится на задние лапы, высовывает язык и хочет изобличить лицемерие людей, их жалкую сентиментальность, заклеймить их нытье. Он привел своих братьев Германа и Гарри туда, где сияет знак театра, где ирония богов живет в безумном смехе, раскатистом и жестоком!

Действительно ли он проснулся, действительно ли отец дал ему знак и протянул зеркало, где стоит гениальный Пабло, в котором Герман узнает себя? «…И я несколько расплывчато и смутно увидел жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и мятущуюся картину — себя самого, Гарри Галлера, а внутри этого Гарри — степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль. И этот контур волка не переставал литься сквозь Гарри — так мутит и морщит реку приток с другой окраской воды, когда обе струи, мучительно борясь, пожирают одна другую в неизбывной тоске по окончательной форме…»

Почему не посмотреть уверенно в это зеркало? Волк Гарри не один корчится в судорогах — их двое, трое, десятеро, тридцать

Гарри: младенцы, старики, юноши, элегантные, обнаженные, одетые, грустные или смеющиеся. «Если моя биография имеет смысл, — напишет Гессе 13 октября Гуго Баллю, — то только в той мере, в какой интересен личный неизлечимый невроз, временно успокаиваемый разумом и являющийся симптомом души нашего века».

Это сделает «Степного волка» исключительным документом эпохи. Двадцатые годы — это смещение привычных ценностей, потеря человеком ориентира, метания между силой и анархией, буржуазная осторожность и необходимость свободы. Против всего, что несет издевку, унижает, давит, против семьи, религии, родины, против добропорядочных идеалов блага и добра восстает то, что взывает к подсознательному и иррациональному.

Германия, более чем когда-либо дрожащая от нищеты и смуты, тянется к варварству. Молодежь объединяется в группировки, принимает наркотики, вооружается. Университеты закрываются. Знамена, парадная форма, разговоры в кабаках, культ монархии и антисемитизма. Скоро фюрером Третьего рейха станет Адольф Гитлер. В противовес тоталитаризму рождается страх, психоанализ активно развивается как источник правды, и социологов становится все больше. Жестокому остракизму подвергаются интеллектуалы, посвятившие себя проповеди гуманизма и духовности. Интеллигенцию, которая стремится внести искусство в жизнь и сопротивляется власти, начинают притеснять. Те, кого привлекли в романе Гессе размышления над проблемой пангерманизма и взгляд на кайзера как на несущего ответственность за войну 1914 года, за миллионы жертв и руины, смогли также увидеть в нем протест против тех, кого неудача Германии толкает на возврат националистического режима силой оружия. По Герману, все предвещает новую войну.

Ощущение тоски — один из источников чувства безнадежности, возникающего у Гарри. Этот волк, рычащий среди клаксонов, скачет по проспектам, прыгает в дансингах, утверждая, что насилие не принадлежит ни стране, ни культуре — оно спит в каждом из нас. Войны развязываются во имя наций, чьи флаги они поднимают. И если бы вкус к ним не был присущ человеческой натуре, их не было бы. С первых строк пролога к «Степному волку» писатель представляет Гарри как человека своего поколения. Его крик — это крик узника на грани двух веков, он — жертва двойственности современного ему общества: «Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии»153. Он с теми, кто предпочитает смертоносному пути военных полчищ путь внутреннего совершенствования, способный

привести к правде, то есть к миру.

Едва Гессе поставил последнюю точку в своей книге, как тут же ринулся на природу. К этому периоду относится рисунок Франца Лётольда: в тройке, ботинках, попорченных чарльстоном, в перекрученных носках, мокрой фетровой шляпе с муаровой лентой, поля которой опущены и чуть закрывают круглые очки, Гессе насмешливо улыбается.

Рут ему больше не надоедает. Она переезжает с одного курорта на другой, пробует то одно лечение, то другое, печальная и недовольная. «Мне очень грустно, — пишет он ей 5 декабря 1926 года, — что твоя жизнь так пуста, что за долгий период нашей разлуки единственной новостью, которую ты сочла достойной мне сообщить, оказалось приобретение новой собачонки». Зато по отношению к Лизе его тон нервен, почти скандален: «На самом деле, наша дружба избежала опасности, потому что я допустил большую ошибку, сделав ее родственной. Дорогая мама Венгер, я тебе скажу по секрету: я не думаю, что эти родственные отношения продлятся долго. Рут меня уже на протяжении полутора лет совершенно покинула. Она достаточно хорошо себя чувствует, чтобы влюбиться в другого человека. Я не буду препятствовать ее возвращению к свободе и всерьез думаю, что для нас обоих так будет лучше».

«Сегодня мне пришлось еще раз дурачиться, пить, танцевать и кричать „prosit“ до полтретьего ночи», — пишет Гессе сестре Адели 3 января 1927 года после праздников, отмеченных обильными возлияниями. Он дал жизнь «Степному волку» и чувствует теперь усталость, не может уснуть при мысли, что его книга закончена и теперь перед ним опять «радость созидания, которая дает жизни некий смысл и облегчение!»

Под новый год Рут сообщила мужу, что намерена развестись. Новость тем не менее пришлась некстати. Герман был в Монтаньоле, где обсуждал с Хайнером его будущее, и письмо Рут только осложнило и без того напряженную домашнюю обстановку.

Он проклял этот 1927 год, год своего пятидесятилетия.

«Композиторы хотят издать мои стихи, художники высказывают желание создать мой портрет в живописи или гравюре, редакторы хотят знать знаменательные даты моей жизни, мэр Констанц настаивает, чтобы я присутствовал на „празднике Гессе“ 2 июля и так далее. От всего этого меня тошнит!»

В своей жизни, однако, он ничего не изменил: много работает и с трудом засыпает. Гуго Баллю он рассказывает 22 февраля 1927 года, что отправился вечером на бал и с первым глотком

шампанского принял лекарство от головной боли: «Понемногу девушки расцвели так прекрасно вокруг меня, что я наконец согрелся и танцевал несколько раз до тех пор, пока не почувствовал сердечную боль и не вынужден был присесть. Но потом музыка заставила меня подняться, и пожилой господин пожелал вновь танцевать и раздавать поцелуи. Вдруг наступил день, музыканты ушли… застучали трамваи… на улицах, и мое сердце сильно забилось в неприятном стеснении…»

В это время Рут, торопясь с разводом, представила ему в надлежащей форме суровое письменное прошение в суд. Милое дитя ударило сильно. Выписка из решения гражданского суда кантона Базеля, датированная 27 апреля, удручает: он назван отшельником, невротиком и психопатом. Отношения двух сторон были беспардонно разобраны на сухом юридическом языке. Был создан омерзительный портрет супруга в сравнении с молодой «истицей», стремившейся к налаживанию отношений и лишенной семейного тепла. «Ты говоришь, что я многое в тебе разрушил, — ответит ей Гессе. — Но я разрушил только картинку, которая была твоим представлением обо мне. Разрушение же меня самого во всех моих проявлениях — это единственное, чем я занимаюсь последние два года».

В мае 1927 года Гессе просто напишет Карлу Вилкеру: «В мой пятидесятый день рождения у меня лишь одно желание — избавиться от необходимости жить пятьдесят первый год». Грядущий год внушает ему невыносимое отвращение. Свидетельств восхищения его талантом тем не менее не становится меньше. Успех «Сиддхартхи» был огромен, «Путешествие в Нюрнберг» хвалили за искренность и юмор. Его произведения переведены на более чем двадцать языков. «Степной волк» появится в июне у Фишера одновременно с биографией автора, написанной Гуго Баллем. Его почитатели умоляют объявить следующий, 1927 год, годом Гессе, но он прячется от всех: «Пожалуйста, оставьте меня в покое. Почему вы выбрали именно того, кто живет многие годы вне мира? Почему, когда я всю жизнь избегал всяких официальных вещей и всякой известности, почему именно я должен на склоне жизни участвовать в этом обезьяннике? Нет, оставим это…»

Он смахивает с себя последние конфетти от балов в Цюрихе и сохраняет лишь фотографию той, которую вырвал из толпы, чтобы закружить в танце, — красавицы Юлии Лауби Хоннегер в карнавальном костюме, темных чулочках, схваченных на бедрах подвязками, коротенькой курточке из тафты, в цилиндре, с озорством надетом на бок на парижский манер.

В середине апреля Гессе скрывается в саду Клингзора,

обращается к пути новой аскезы, медитирует, постится, проводит ревизию всем своим желаниям, всем замыслам, перечитывает вслух свои стихи, написанные в 1926 году, когда он решил отдаться на волю инстинктов. Сборник стихов «Кризис», как и «Степной волк», вдохновлен свободной дикостью его излишеств.

Он отдает предпочтение человеку желаний, беспокойства, тому, кто погружен в смятение и дурные мысли. Душевное спокойствие наступает лишь тогда, когда человек проходит сквозь все пороки, все ошибки, сквозь все недоразумения, все страсти. Чтобы постичь упорядоченность вселенной, нужно преодолеть хаос в себе, и тогда возникнет знание. Жизнь требует уважения, требует, чтобы к ней прислушались. Посланники идей писателя — Петер Каменцинд, Кнульп, Демиан, Сиддхартха и Гарри Галлер — выходцы из его снов, его плоть и кровь. Боль, смертную тоску, пережитые им, Гессе показывает такими, каковы они есть, а не такими, какими их хотелось бы видеть читателю. Сказать людям, что они жертвы волка, который спит в них и которого они ни разу не сделали попытки разбудить, — значит заслужить их презрение.

Он пишет журналисту Генриху Виганду: «Если я не выражаю мое отвращение к жизни и старости, значит, как вы мне желали, я это скрываю, молчу. Вы, верно, заметили, что мои письма потеряли в содержательности… Я серьезно отношусь к своей работе. Я не воспринимаю ее ни как деятельность, приносящую доход, ни как артистический номер, я только стараюсь чуть меньше лгать, чем это обычно делается в литературе». И утверждает: «Поэт здесь не для того, как вы, буржуа, полагаете, чтобы оправдать с помощью слов значимость вашего существования, но чтобы выразить легкость и тяжесть человеческой жизни, не пытаясь предугадать, как это будет воспринято читателями и критиками — с удовольствием или нет. Я буду продолжать выражать мучительный хаос, который состоит в страданиях, даже если вы, поборники гигиены и оптимисты, не любите слушать и делаете вид, что верите в глупые шутки там, где я говорю л ишь свою кровоточащую правду…» Это письмо представляет интерес той настойчивостью, с которой Гессе выражает свой отказ от смягчающей лжи, свой абсолютный культ правды, даже если она жестока.

О торжественном праздновании дня рождения Гессе уже не говорят. Он живет вдали от всех, питается молоком, фруктами, увлекается нудизмом, загорает, валяется на траве, читает и перечитывает свою биографию, написанную Баллем, и теперь распространяющуюся по всему миру. «Последнюю ночь, — пишет он автору в июне 1926 года, мне снилась твоя книга: я увидел

себя, но не в зеркале, а как второго живого персонажа, более живого, чем я сам. Мне не было разрешено, из-за внутреннего запрета, посмотреть на себя самого как следует, это был бы грех… Я только успел на мгновение открыть глаза и увидеть живого Гессе!»

Высохший, как настоящий йог, черный от солнца, едва одетый, он в каждую секунду ощущает вполне свое существо… «Я похож на индуса, — пишет он, — женщинам это нравится. Но артрит — это как раз то, что не может соблазнить девчонку». Он больше не курит, ездит иногда в Цюрих, но проводит большую часть времени один, вспоминая былые похождения, будто пытаясь извлечь из них всю возможную прелесть. При каждом удобном случае писатель защищает от нападок «Степного волка». Не то чтобы они его удивляют — он понимает, что должен растолковать смысл тем, кто его не увидел. Он хочет обратить их на путь внутреннего погружения, категорически отрицая, что при создании романа им руководили уныние и безнадежность. История Гарри Галлера, будет он повторять неустанно, — это история выздоровления, она прорывается в творениях Моцарта и нашем ощущении бессмертия.

Однажды в его жизнь вошла Нинон. «У меня есть подруга, — сообщает Гессе Анне Бодмер 2 апреля 1927 года, — венка, молодая женщина, которая начала мне писать, когда ей было четырнадцать лет, но с которой я познакомился лично совсем недавно». Как и когда Нинон и Герман встретились? Ничто не мешает думать, что она просто постучала к нему в дверь. Удаляется одна женщина, появляется другая. Забавно, что этот индивидуалист, считающий себя неспособным к семейной жизни, стремится к новому союзу, едва лишь наметится перспектива разрыва. Его развод с Мией не был еще оглашен, а он уже проводил время в обществе Рут; и едва он расстается со второй женой, как у него появляется Нинон: «Моя подруга теперь возвращается в Вену, но, возможно, приедет в Тичино этим летом, чтобы попытаться прожить некоторое время поблизости от меня».

Гессе скоро будет пятьдесят лет. Нинон тридцать два. Она дочь доктора Якоба Ауслендера, адвоката-еврея, и с 1919 года замужем за австрийским карикатуристом Бенедиктом Фредом Долбином, с которым вместе не живет. На портрете, относящемся ко времени их встречи, у нее плотная шея, крупные губы, ясные черты лица, короткие черные волосы, выступающие уши, мальчишеский затылок. Быть может, она была обязана неудачей своего замужества этому сумеречному взгляду, который придает странное ощущение уязвимости облику женщины, которую не назовешь хрупкой. Она — историк искусства и специализируется

по эстетике Греции. Возможно, она увидела в Гессе своего рода трагического героя современности, а его покорили ее шарм, богатство внутреннего мира, ее умение забывать одиночество в изнурительной работе и наполнять свою жизнь смыслом.

Эта встреча могла стать для Гессе незначительным приключением, если бы он продолжал воспринимать любовь только через запрет. Но он долго вел разгульную жизнь, и теперь визиты фрау Долбин были ему приятны. Он приобрел опыт и созрел для истинной любви: очень скоро они становятся любовниками.

Красива ли она? При взгляде на одни ее фотографии приходится в этом усомниться из-за ее тяжелого подбородка. Но она непринужденна, и ее лицо с гладкой кожей светится одухотворенностью. В ней даже пытались узнать «неземную красоту» героини «Степного волка» Термины, в глазах которой «витала умудренная грусть».

С начала лета Нинон живет в Монтаньоле, в маленьком домике радом с дворцом Камуцци, и обедает в ресторане. «Она здесь, и моя жизнь изменилась», — пишет Герман. Ему открываются неизвестные дотоле отношения, происходит новая таинственная метаморфоза. И это после того, как он несколько месяцев ощущал себя Гарри, слушал Пабло, играющего на саксофоне в «Сити-баре», танцевал в «Отель дю Глоб», много пил, потом постился, как монах, и, одетый в старое платье, болтался, словно бродяга, и размышлял, подобно патриарху, оставаясь притом волком степей, проснувшимся в тысяче первой из своих душ. Он пережил столько несчастий в любви и вот, вопреки всему, встретил Нинон. Кажется, прошли века с того момента, когда он начал думать, что ему удалось понять смысл жизни. В последних строках «Степного волка» Гарри уже обладал сотней тысяч фигур жизни, о правилах расположения которых с трепетом догадывался, когда они стояли в ожидании начала партии. Гессе надеялся, что ему удастся перейти порог высшего знания: «Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше. Когда-нибудь я научусь смеяться…»

Приближается 5 июля. Резвая Нинон созывает друзей, готовит празднество, горячих кур и свежее кьянти. Все будет происходить на террасе Каза Камуцци, где соберутся Макс Вассмер, владелец замка Бремгартен возле Берна, в сопровождении своей жены Матильды, доктор Ланг и его дочь, романист Альберт Мозер. Вечером в местном трактире, где разложены на столах круги сыра и расставлены кружки, наполненные вином, будут танцы.

На праздник не приедет Гуго Балль — ему будут оперировать

рак желудка. Он вернется домой 14 сентября, чтобы уснуть на руках Эммы. «Балль — это своего рода святой аскет, но совершенно не на индийский манер, он скорее похож на древних христиан», — говорил о нем Гессе. Он проводит друга в последний путь на кладбище СанАббондио, напротив церкви, в конце большой аллеи остроконечных кипарисов. Слышно, как гроб опускается в яму, по краям которой растет вереск, а в земле видны корни столетних деревьев. *«Я* потерял в Балле единственного человека, который был мне действительно близок, который понимал меня вполне, с которым я мог говорить на любые интеллектуальные темы. Такую дружбу больше не найти», — восклицает в отчаянии Гессе.

Небо Тичино нависает над богатым мраморным надгробием и бедными дикими цветочками за кладбищенской оградой. От земли исходит запах смолы и животворных соков. Герман рассматривает землю, в которой надеется однажды уснуть под спокойными соснами.

Пока Гессе оплакивал смерть друга на плече Нинон, «Степной волк» начал свое триумфальное шествие. Пессимизм книги потрясает — мужество удивляет. «Необходимо ли говорить, — напишет Томас Манн в 1948 году в предисловии к американскому изданию „Демиана“, — что „Степной волк“ — произведение, тяготеющее к жанру романа, которое по смелости эксперимента ни в чем не уступает „Улиссу“ и „Фальшивомонетчикам“». «Мы выли с волками, которые могли разодрать нас на части, — скажет Рудольф Хагельстанже, имея в виду нацистов. — Лучше было бы, если бы мы выли со степным волком». Человек хорошо приспособился к лживой цивилизации, несущейся к кровавой суматохе. Определенный «общественный порядок» можно принять лишь по трусости: он не рождает ни мир, ни свободу — он является источником ненависти.

Зимой 1928 года Гессе увозит Нинон в Давос на спортивные состязания, посреди пушистых снегов они становятся еще ближе друг другу. «Когда спускаешься с горы на лыжах, — пишет он, — чувствуешь ступнями и коленями волну каждого поворота, крутизну склона, мелкие подъемы и спуски так ясно, как любовник ощущает, лаская, тело любовницы». Вот он рядом с Нинон, готовый спуститься по склону: он в грубых лыжных ботинках и толстых носках, в смешной фуражке швейцарского таможенника; она в черном комбинезоне из ратина, словно маленький трубочист.

В 1930 году они отправляются в «Шантареллу», гигантский отель, заполненный берлинцами, спекулянтами и коммерсантами всех национальностей. «Это нам нравится, — признается он Ад

ели, — эта среда хороша тем, что никто меня не знает и никто не навязывает своего присутствия, поскольку здесь играют роль только деньги и общественное положение». На следующий год он едет в долину Энгадин с друзьями: Томасом Манном и Самюэлем Фишером.

Когда в записях и письмах этого периода Гессе говорит «мы…», речь идет не о нем и его подруге. Он создает нового героя — Гольдмунда, чувственного юношу-блондина. «Мы вдвоем, Гольдмунд и я, уточняет он, — две стороны одного существа. Гольдмунд составляет одно целое со своим другом Нарциссом… Параллельно я, художник Гессе, испытываю необходимость быть дополненным Гессе, который почитает ум, мысль, дисциплину и даже мораль, который был воспитан в традициях пиетизма и который бесконечно должен поверять моралью невинность своего поведения и даже своего искусства».

В новой книге звучат два внутренних мира Гессе: достойный сын Иоганнеса под маской молодого аббата-эрудита, которому он дал имя Нарцисса, и ребенок Марии — Гольдмунд, художник, призванный открыть единство поступи женщины и смерти. «Нарцисс — еще в меньшей мере чистый интеллектуализм, чем Гольдмунд — чистый сенсуализм. Если было бы иначе, один не нуждался бы в другом, они не дополняли бы друг друга как взаимозависимые сущности, сияющие по краям одного центра. Нарцисс может произнести грубое слово святого и распутника и в конце с любовью оправдать всю жизнь Гольдмунда…»

Какое же место занимает сейчас в его жизни Нинон? Насколько ей пришлось отойти в тень? Как она реагирует на происходящее, когда не спускает с него глаз и требует, уже одержимая собственническими устремлениями, такой же преданности от него? «Чувственное удовольствие от близости с женщиной, — пишет Герман, — не является для Гольдмунда способом достичь духовного обладания или отношений, которые могут возвести мужчину и женщину в ранг личностей, исполненных значимости. Гольдмунд обретает высшее проявление любви в искусстве». Гессе нуждается в счастливом одиночестве художника. Никогда он не сможет целиком посвятить себя женщине: Нинон должна знать об этом. Он пишет ей в мае 1931 года: «Пожалуйста, не отчаивайся. То, что я тебе вчера не смог ясно ответить, мне не менее больно, чем тебе…» Начинается обычная суета, сопутствующая всем супружествам: выбор дома, изменение жизни, новые обязанности. *«Я* могу терпеливо переносить подобные состояния лишь с трудом, обращаясь к своим душевным резервам, без спешки, медленно, так, как рождается мое произведение. Мне необходимо

внутреннее пространство, где я был бы совершенно один, куда никто и ничто не имели бы права войти. Твои вопросы угрожают этому пространству!» — предупреждает Герман.

Нинон не сидит на месте с тех пор, как меценат и друг Германа Ганс Бодмер построил, согласно их пожеланиям, великолепную виллу над озером Лугано на склоне, нависающем над деревней и испещренном лесными тропками. Она обставила на свой вкус все комнаты и кухню, превратив дом в настоящее «гнездо». Герман дрожит от желания и страха, подписывает, поеживаясь, контракт, на пожизненное владение домом. Его одолевают мигрени, и порой, быть может, он упрекает Нинон в том, что она сплела сети, в которых он чувствует себя утерявшим отчасти свою свободу. Суматоха его раздражает: «В последнее время ты много раз нарушала мой внутренний ритм». Как сложатся семейные отношения с этой умной и основательной женщиной, которая точно знает, чего хочет? Не зреет ли очередное фиаско под этой соблазнительной кровлей, в этом шикарном жилище, угнездившемся на холме, который местные жители зовут теперь «Коллина д'Оро» Золотой Холм? Может ли Гессе утверждать, что останется здесь? Он доверяет свои страхи сестре Адели и с горячностью решает высказать Нинон все.

Он любит, это правда, но что ждет ее? Терпение, доверие, самоотречение. Он обнимает ее за талию, и они вместе обходят свои владения. Дом устремляется к небу, утопая в цветах, деревьях, птичьем гомоне. Он вновь взял свою шляпу садовника, надел фартук и поношенные ботинки. Окна открыты на закат. Балкон освещается, и из-за папоротника, диких вишен и сирени показывается веранда. Взволнованный Герман сует руки в карманы, а Нинон, которая стоит спиной, кажется, скрестила руки на груди. «Важно одно, — шепчет он, — что она составляет единство с тем, для чего я живу, с областью мечты и созидания в моей душе».

Нинон умна. Она не обладает ни агрессивностью Мии, ни беззаботностью Рут. И узнает Германа в Гольдмунде, который «не служит женщине… он подле нее утоляет жажду, как из источника, самого благословенного в природе, впитывает по капле опыт, радость и мучение, из которых, когда приходит время, он создает свои произведения, свой мед…». Венка сумеет позволить о себе забыть. Она будет продолжать свои изыскания, путешествовать, покинет его, чтобы вернуться, внимательная к нему без навязчивости. Нинон стоит рядом с ним на фотографии тридцатых годов в жемчужном ожерелье и мягком платье, открывающем шею. Отчетливая морщинка прорезает ее лоб между бровей. Она не любезная, не добродушная, но задумчивая

и погруженная в себя, в ее взгляде читается холодная решительность.

Герман женится вновь 14 ноября 1931 года. Простой гражданской церемонии оказалось достаточно, чтобы наконец разведенная Нинон стала его женой. Он представляет ее родным во время их пребывания в Германии. Для этой официальной церемонии Гундерты собрались в Людвигсбурге у Карла Изенберга вокруг столика с фруктами под изображением Христа в образе пастуха с нимбом, сияющим на фоне восхода. Радостная Нинон улыбнулась всем, поцеловала Маруллу и Адель, оказавших ей нежный прием в полном соответствии с пиетистскими традициями.

Осень позолотила «Коллина д'Оро». Нинон вешает картины великих мастеров и разносит по дому букеты. Герман ставит последнюю точку в своем романе и углем рисует на больших листах корни деревьев или кистью набрасывает пурпурные буки, бросающие тени на фиолетовые деревенские домики. На вилле везде разбросаны его акварели, которые, как ему сказал однажды Ромен Роллан, «столь же прелестны, как фрукты, и смеются, как цветы». Он рисует и пишет, и оба процесса составляют для него одно целое.

Отныне на Золотом Холме царствует мыслитель Гессе. В мире у него есть последователи, он отвечает на огромную почту. Он обрел знание и способен различить «реальное» и «нереальное». Освобожденный восточной мистикой и анализом Юнга, он находится в состоянии глубокого самопостижения и излучает сияние мудрости.

У него буквально вырывают его последнее дитя, «Нарцисса и Златоуста», сказочную историю мысли и любви в сумеречном безвременье Средневековья. Многие его читатели, травмированные диким «Степным волком», его необычной авангардной структурой, найдут здесь форму более доступную, и писателя, чья ясная проза так ими любима. Под укрытием мирного монастыря Мариабронна интеллектуал Нарцисс хочет преодолеть себя, чтобы приблизиться к Богу-Отцу. Златоуст, нежный и горячий, ближе Матери-Земле и тонко ощущает безграничную Природу. Как и в «Степном волке», здесь Гессе проводит мысль о том, что лишь постижение божественного позволит людям преодолеть их одиночество, только оно способно излечить безумие современного мира.

Карлу Изенбергу он пишет: «Ты совершенно прав, когда говоришь о сильном влиянии, которое оказал дедушка Гундерт на дедушку Гессе. То, что могло бы объяснить их отношения, содержится в образе Гольдмунда, и главная проблема все та же:

что две натуры, совершенно различные, становятся очень важными одна для другой и даже почти подобными». Гессе заставил светиться в глубоком единении два полюса, которые так часто его раздирали, а теперь излучают сострадание, которое он более не позволит себе потерять.

Его бюст отлит в бронзе, его произведения известны во всем мире и переведены на многие языки, и в пятьдесят два года ему необходима передышка. Он проводит часы в своем саду, в соломенной шляпе, защищающей от солнца глаза, являя образ спокойной уверенности. Речь не идет больше о том, чтобы «писать романы прекрасным языком — он хочет дать молодежи основу осознания действительности». «Не нужно, — утверждает он, — чтобы они взяли лишь мои слова или слова Библии или любую другую попытку в области художественной выразительности. Я хочу, насколько это возможно, внести в их души слово за словом глубокий смысл».

Каждый день он склоняется над рабочим столом. На вершинах гор тает снег. Появляются первые цветы. Холм покрыт зыбкими тенями. Вокруг Германа разбросаны книги и заметки, наверху, над библиотекой, лежит старательно сохраненная скрипка из Маульброна. Он покрывает страницы аккуратными строчками. Он сам для себя бог, боль и мир. Куда он отправляется — молиться, путешествовать — кто знает? Когда он поднимает голову, то видит поля, лес, где снуют белки, небо, о чистоте которого свидетельствует сияющая гладь озера. Могут наступить сумерки, зажечься лампы, ночь может омыть тьмой травы и уступить место заре, но останется герой, навечно отмеченный нестерпимыми страданиями, с глазами, полными огня за круглыми стеклами очков, с утонченной германской изысканностью черт, таящих вызов.

Гессе может теперь посвятить себя своему гимну — своего рода сказке или легенде, которую он назовет «Паломничество в Страну Востока». Их цель — достичь не географического Востока, а родину вечной молодости души. Отовсюду и ниоткуда они спешат, пересекая время и пространство: Европа, Германия, Средневековье. Они погружаются в рощи, их питает запах жасмина. Они идут по грязи, чтобы закончить свой маршрут в ущельях итальянской горы, между озером Ком и Лугано. Там странный персонаж Лео, который представляется всем в облике скромного слуги, оказывается верховным магом, находящимся на священной службе. Быть может, это сам Гессе, облеченный миссией поэта в своем королевстве? Королевство совсем не похоже на сон — абсолютная реальность, созданная благодаря уважению и признательности, завоеванных искренним

жизненным путем.

Закрыв рукопись «Паломничество в Страну Востока», он отсылает ее на суд Алисы Лётольд. И получив благоприятную оценку, пишет ей: «Символика такой книги не нуждается в том, чтобы быть понятой читателем; нужно, чтобы он позволил ее картинам проникнуть в себя. Эффект должен состоять в подсознательном восприятии». Позднее, помещая ее в сборник своих произведений, он скажет: «„Путешествие в Страну Востока“ принадлежит вместе с „Сиддхартхой“, „Демианом“ и „Степным волком“ к самым важным моим творениям, к тем, создание которых было для меня жизненной необходимостью…»

Гессе с удовлетворением может сказать о себе: «Думаю, что я продвинулся на шаг в искусстве в том смысле, что научился надеяться на лучшее и переживать терпеливо периоды творческой пассивности, борьбы, раздражения и непонимания, воспринимать эти несчастья как повод для медитации». Он обрел способность проницать смысл сущего. Высшая форма понимания — любовь — появилась в нем. Но слова, сами слова, которые он слышит во всем богатстве их резонансов, не могут до конца передать то внутреннее таинство, где в чередовании неба и земли, ночи и дня, тяжести и легкости появляется Бог. Одна музыка может это выразить. И дома слушает «законсервированных, как он говорит, — на граммофоне» Моцарта, Гайдна, Стравинского. «Теперь для меня начался период жизни, в который созидать сформированную уже, и достаточно отчетливо, личность не имеет ни малейшего смысла, — пишет Гессе в своем „Наброске автобиографии“. Это, напротив, момент, когда, растворяясь в драгоценном мире, душа стремится обрести свое место в вечном и вневременном Порядке мироздания».

У него резко ухудшается зрение, но его обостренные временем черты одухотворены. Со своими сыновьями, теперь уже мужчинами, он поддерживает горячие и близкие отношения. Бруно тоскует. Ему двадцать семь лет, и недавно была разорвана его помолвка. Мартин еще в Германии, в школе Дассау. С братом Хайнером он участвует в движении Социалистического интернационала. «У них коммунистические взгляды, — пишет Герман в марте 1932 года своему кузену Фрицу Гундерту. — Я буду доволен, если они найдут там точки соприкосновения и не только будут стараться очистить и улучшить жизнь, но, главное, испытают счастье жизни, полной смысла, обращенной ко всему сущему». Он любит на них смотреть и видеть в них фамильные черты великой пиетистской семьи. *«Я* не знаю, как различить, — пишет он Марулле, — среди многочисленных черт нашего отца следы облика дедушки Гундерта. Некоторая очень тонкая

одухотворенность, какой-то благородный страх ошибки и наказания, который легко увидеть сквозь все христианские запреты, некоторая склонность к характеру и мышлению Индии — все эти свойства двух личностей для меня часто сливаются».

Гессе обвинял религиозное воспитание в своих несчастьях и ненавидел Бога, который омрачил его детство. Но он был признателен Христу за попытку воцарить любовь среди людей и не почитал ни одну из церквей. Мало-помалу, однако, его озлобленность себя исчерпала, и он пришел к необходимости смотреть на всех с сочувствием. В конце января 1933 года он пишет Хорсту Шварцу: *«Я* больше не сужу испорченное и черствое человечество, еще меньше приветствую, в противовес этой разнузданности, революцию, и более всего верю в магию любви». Гессе хочет помочь своим современникам: «Все было бы хорошо, если я бы мог удовлетвориться бездействием и мудростью ЛаоЦзы; но хотя знаю больше, чем многие, я, как все европейцы, эгоист, снедаемый жаждой желаний, и надеюсь на наивное счастье творить, доказывать, созидать».

30 января 1933 года Гинденбург провозгласил Гитлера канцлером рейха. Уже более десяти лет говорят об этом маленьком служащем в черной одежде, который в кабаках и на стадионах кричит в микрофон, призывает к реваншу, громит демократов, большевиков и евреев, вербует безработных и разорившихся крестьян. «На самом деле, — говорит Гессе Артуру Штолю 24 марта 1933 года, — то, что началось по ту сторону границы, в Германии, это настоящий и ужасный погром против разума, с заключением в тюрьму, с применением силы, побоищами, убийствами. Но те, кто больше всех кричит и рассылает проклятия, остаются живы и невредимы, а страдают, почти без исключения, мирные ученые, служащие, художники…»

Имя Томаса Манна в черном списке. Гессе, названного пацифистским дезертиром, вот-вот настигнет очередная волна ненависти. «Я старый человек, — пишет он Эрнсту Коппе-леру. — Для пожилых людей в это время тяжких испытаний единственно важен вопрос разума, веры, того глубочайшего сострадания, которое рождается на пороге мучений и смерти». Он мужественно продолжает публиковать в газетах и журналах комментарии к трудам, которых все боятся касаться: к книгам евреев, католиков и адептов тех верований, которые идут вразрез с официальным мировоззрением… «Против меня ничего нельзя сделать, — заметит он в начале апреля. — Но до меня дошли несколько писем взволнованных читателей, которые предупреждают, что я должен молчать…»

В конце марта и в апреле у Гессе в Монтаньоле гостит Томас

Манн, который в феврале опубликовал в Берлине социалистический манифест и тут же подвергся преследованиям. Новый властелин с черными усами, одетый в габардин, счел знаменитого писателя опасным террористом. «Гитлеровский террор будет царить еще долго, — напишет Герман, — до того момента, когда диктатор совершит ложный шаг во время войны и проиграет ее». пока в Германии волна разнузданной нетерпимости захлестывает невинных людей. Муж Адели, Герман Гундерт, скромный пастор из Шварцвальда, потерял приход по той простой причине, что не был членом национал-социалистической партии и не принадлежал к национал-социалистическому пасторскому союзу. В Швейцарии полно беженцев, и Гессе открывает отчаявшимся доступ в свой дом. «Нищету германцев невозможно выразить. Я переношу этот период немного лучше, чем раньше, на протяжении прошедшей войны, но не потому что на этот раз знаю точно с самого начала, где я, и не потому что не могу согласиться с сегодняшней официальной идеологией Германии, а просто потому что я теперь стар и менее привязан к жизни…»

Его вдохновляет также письмо, которое он получил 11 марта из Франции и которое с волнением перечитывает: «Дорогой Герман Гессе, я давно собираюсь Вам написать. Меня мучает мысль, что один из нас может покинуть эту землю раньше, чем я успею выразить Вам свою глубокую симпатию и признательность за каждую Вашу книгу, которую я прочел. Меня совершенно восхитили „Демиан“ и „Кнульп“. И, наконец, ваш „Златоуст“, которого я еще не закончил и продолжаю смаковать, боясь прочесть слишком быстро. Ваши почитатели во Франции (и я Вам их постоянно добавляю) еще, быть может, не слишком многочисленны, но тем более преданны… Андре Жид».

«Андре Жид много для меня значит, — пишет Гессе Артуру Штолю. — Среди нескольких всемирно известных писателей он, — вместе, быть может, с Гамсуном, — единственный, к которому я испытываю глубокое уважение и которого я люблю». То, что автор «Имморалиста» выразил ему таким образом свою симпатию накануне великих потрясений в Европе, было для Германа, по его словам, «лучом света».

Глава XIII КОЛЛИНА Д'ОРО, ИЛИ МАСТЕР ИГРЫ

Я не нуждаюсь в оружии против смерти, потому что Смерти нет.

Г. Гессе. «Из неопубликованного»

В конце марта 1933 года нацистское правительство было облечено всей полнотой власти, а работа проголосовавшего за него Рейхстага была приостановлена. В мае были распущены партии и синдикаты. Герман Гессе с печальным вниманием, но без удивления, следит за происходящим, рассматривая его как неизбежное следствие недоверия немцев веймарскому режиму, не способному заставить себя уважать. Вслед за порабощением, которого германский народ захотел сам, ему ясно виделись новая война и новый крах.

Гессе, вечный сторонник мира, пишет Томасу Манну 18 марта 1934 года: *«Я* не знаю хорошо, чего бы я хотел, какие решения я бы принял, если бы от меня зависела судьба человечества… Я все так же продолжаю думать, что я бы дал возможность французам форсировать Рейн, с тем чтобы Германия проиграла теперь войну, которую в течение нескольких лет она, быть может, будет выигрывать».

Первые жертвы Гитлера — это немцы: и не только политические противники и евреи. Когда 2 августа 1934 года умер президент-маршал Гинденбург, постом «фюрера и канцлера рейха» завладел преступник. Многих из тех, кто ему сопротивлялся, он уничтожил страхом быть вытесненными своими старыми союзниками. Как после «ночи длинных ножей» можно было игнорировать его варварские побуждения? Не надо оплакивать Рема, который стоил не больше своего палача. Но не нужно забывать, что и первыми противниками нацизма были немцы.

«Эти германцы, — напишет Гессе 22 августа 1945 года, — которые не только на протяжении 1939 года, но и предшествующих ему, подвергались преследованиям и вынуждены были влачить жалкое существование, теряли посты, честь, свободу, работу и способность действовать, страдали и голодали в тюрьмах и лагерях, теперь, быть может, самые мудрые и зрелые из европейцев».

Он возмущен тем, что «апатия» по отношению к Гитлеру заставила слово «немец» стать «надолго в мире ругательством», но считает «естественным, что окружающий мир ненавидит германцев, не задаваясь вопросом, как они относятся к Гитлеру».

Хотя Герман при каждом удобном случае настаивал на своем швейцарском гражданстве, его всегда считали немцем. «У меня с Германией очень тесная связь, — признает он, — хотя бы даже финансово, и морально тоже, по соображениям литературным и лингвистическим, и еще по той причине, что там у меня близкие родственники и друзья, которые там живут и чувствуют себя там дома». Он экономически зависим от страны, политические установки которой осуждает на протяжении двадцати лет. «Мне нужно рассчитывать, — говорит он, — на период, в течение которого у меня практически не будет доходов». Писатель будет продавать рукописи с автографом — средство, к которому он уже прибегал в трудные времена и главное достоинство которого состояло в возможности не чувствовать себя побежденным.

В Берлине Самюэль Фишер, храбро пренебрегая антисемитским террором, не хотел слышать об эмиграции. «Он не мог представить себе, — пишет его дочь, — как можно покинуть свое издательство и Германию». И в результате он погиб 16 октября 1934 года в своем доме в Грюневальде. По договору между наследниками и министерством пропаганды семейное предприятие в 1935 году было поделено. Часть осталась в Берлине под руководством некоего Петера Зуркампа, который не стал прислуживать нацистам, как они рассчитывали. Другая, под руководством Готфрида Бермана, зятя Фишера, обосновалась в Вене, где издавались книги авторов, преследуемых в Германии. Гессе, относившийся, конечно, к последним, был тем не менее провозглашен таковым только в 1939 году.

В 1935 году немецкие власти потребовали у Гессе подтверждения его арийского происхождения. «Речь, вероятно, идет об ошибке, — ответит он с юмором, — поскольку я Швейцарский гражданин и член Общества швейцарских писателей… Искусство Германии и ее литература у нас в Швейцарии всегда и во всех формах приняты самым дружеским образом; и Берлин другой декларацией Общества писателей к нам, швейцарцам, проявил взаимное уважение».

В конце того же года немецкие журналы серьезно атакуют Гессе, обвиняя его, «немецкого поэта», в предательстве своего народа и «в сообщничестве с евреями по распространению за границей ложных и вредоносных идей». Вил Веспер, один из предвестников литературной диктатуры, в одном из швейцарских журналов обращается к писателю «с ненавистью,

несдержанностью и в выражениях, столь непристойных», что тот чувствует себя «немного испуганным». В сентябре 1936 года предположения Гессе, что нацисты будут «стремиться задушить его и его творчество, совершенно подтвердились». Только упорство Петера Зуркампа смогло помешать запрету на издание его книг. В этих условиях писателю потребовалось определенное мужество, чтобы отправиться в северную Германию для консультации со своим окулистом. Это не было, говорит он, «безмятежное путешествие». По пути он увидел «ужасную разруху, разгром всего того, что люди, подобные нам, любили, того, в чем они нуждались, чтобы жить». «Мировая история, — пишет он немецкому другу, — не слишком благоприятствует нашему общению», намекая на контроль за его перепиской со стороны гестапо.

В 1942 году часть книг Гессе была запрещена на территории рейха, часть подверглась жестокому рецензированию.

Вероятно, можно читать книги в том темпе, в каком они написаны: одни быстро, другие медленно. «Игра в бисер» — этот собор с огромным нефом, высоким сводом, длинными галереями вокруг хоров, с запутанными и глубокими криптами. Предупреждение торопливому читателю: не старайтесь быстро пересечь паперть! Войдем под эти спокойные своды как друзья покоя и размышления. «Игра», о которой идет речь, не похожа на другие, не похож на то, что мы считаем бисером, и ее материал. Действие этого фантастического романа отнесено к 2480 году. «Игра была поначалу не чем иным, как остроумным упражнением памяти и комбинационных способностей в среде студентов и музыкантов, и играли в нее… в Англии и Германии еще до того, как она была „изобретена“ в Кёльнском высшем музыкальном училище, где и получила свое название, которое носит и ныне, столько поколений спустя, хотя давно уже не имеет никакого отношения к бисеру. Бисером вместо букв, цифр, нот и других графических знаков пользовался ее изобретатель, Бастиан Перро из Кальва, странноватый, но умный и общительный человеколюбивый теоретик музыки… Перро соорудил себе, по примеру немудреных счетов для детей, раму с несколькими десятками проволочных стержней, на которые он нанизал бисерины разных размеров, форм и цветов. Стержни соответствовали нотным линейкам, бусины — значениям нот и так далее, и таким образом он строил из бисера музыкальные цитаты или придуманные темы, изменял, транспонировал, развивал, варьировал их и сопоставлял с другими».

Исток Игры лежит, таким образом, на стыке математики и музыки — самых возвышенных, по словам писателя, областей

человеческого знания. «Всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рожденными человечеством в его творческие эпохи… всей этой огромной массой духовных ценностей умелец Игры играет как органист на органе, и совершенство этого органа трудно себе представить — его клавиши и педали охватывают весь духовный космос…»

Видимо, уже в 1930 году, когда писал «Паломничество в Страну Востока», Гессе думал об «Игре в бисер», которую он посвятит «паломникам Востока» — символической «утренней страны», где однажды пробудится знание. Этот вымышленный край, который так и не открыли паломники, мог бы быть Касталией, которая появляется в следующей книге и обязана своим именем чистому источнику в Дельфах, струи которого вдохновляли поэтов.

Если у Гессе и возникали трудности во время создания «великого труда старости», то не из-за отсутствия вдохновения, а из-за событий того времени. В марте 1934 года последняя из трех версий «Опыта общепонятного введения в историю Игры в бисер», написанного в 1932 году, «стала невозможной и лишенной смысла», потому что в ней присутствовала пародия на политику современной Германии, что ставило этот текст вне обсуждений.

В сентябре 1934 года Гессе заканчивает четвертую и окончательную версию «Введения», которая появится в декабре в Берлине, в «Нойе рундшау». Из нее понятно, с каким старанием, сохранив основную идею, автор ушел от действительности. «Но на протяжении этого времени, — вспоминает издатель Фолькер Михельс, — копии политической версии продолжали тайно циркулировать в Германии».

В конце 1935 года Гессе пишет: «Моя жизнь оставляет желать лучшего, и поэтому моя работа оставлена. На протяжении двух летя не продвинулся ни на шаг». Кажется, ему препятствует все: здоровье, финансовые проблемы, смерть или неверность друзей, нападки, объектом которых он является, тысяча разочарований.

В мае 1936 года он успокаивает Петера Зуркампа: «Недавно я вновь стал верить, что продолжу работать над романом». В сентябре 1939 года разразилась давно назревавшая война, и писатель повторяет свое желание «закончить труд, с которым провел последнее десятилетие, и передать его, если возможно, в мир, где он будет издан и прочтен». Однако в конце года возраст, дающий о себе знать, и война, забирающая силы, заставляют его сомневаться: *«Я* начал настоящий труд жизни. Самое важное, впрочем, уже закончено. Позднее, если потребуется, в нем увидят с достаточной ясностью, каковы были мои намерения; но окончание его остается весьма проблематичным».

С немного болезненным юмором Гессе замечает, как медленно движется вперед: «…Я пишу строку или две в день. Раньше я бы посмеялся над тем, кто сказал бы мне, что я буду работать с такой скоростью. Остается лишь надеяться, что моя вода, которая течет из этой маленькой тоненькой трубки, плещется не хуже, чем раньше». Но когда он измеряет результат своей работы не количеством написанного, а степенью явленности духовной субстанции и местом в его жизни, его комментарии становятся более спокойными. «Орден Кнехта, — пишет он 27 января 1942 года Фрицу Гундерту, — и „Игра в бисер“ наполняют на протяжении более чем одиннадцати лет мою внутреннюю жизнь; когда внешний мир враждебен нам, мы создаем другой, такой, где наше дыхание не было бы стеснено. Для меня существует некое количество понятий и идей, которое будет однажды воспринято тем, кто поймет вполне мою книгу». И наконец может сообщить дочери Самюэля Фишера: «Весной я написал несколько последних фраз большой работы, начавшейся одиннадцать лет назад; теперь я ее смог наконец закончить; я часто сомневался, что мне это удастся».

«Игра в бисер» должна была появиться в 1942 году, но издательскому дому Зуркампа публикация романа была запрещена министерством пропаганды доктора Геббельса под предлогом того, что «культура там представлена как элитная деятельность синода избранных умов» без участия политической власти. В Бадене, во время осеннего лечения, Гессе получил из рук Зуркампа рукопись, которую напрасно отдал семь месяцев назад в столицу рейха.

Какая еще судьба, несмотря на принятые автором меры предосторожности, могла быть уготована материалистами для книги, которая представляла собой противоядие претензиям индустриальной цивилизации? Что могли пророчить этой исполненной религиозного смысла книге любители фельетонов? что могли думать о прозе, проникнутой музыкой Баха и Моцарта, увальни, влюбленные в военные марши? Волшебная страна Касталия рухнет из-за непреодолимого человеческого противоречия между индивидуальным и коллективным. И тут таится самое замечательное проявление гения Гессе: он сумел создать метафору идеального мира и, устами Плинио Дезиньо-ри, назвать те опасности, которые ему всегда будут угрожать. урок великим мира сего должна преподать судьба магистра Игры, Йозефа Кнехта: верный своему имени, он выбирает в качестве завершения своей карьеры обязанности наставника маленького мальчика.

Какое значение имеет после этого критика швейцарского

писателя Рудольфа Гумма, даже если она иногда расстраивала Гессе, даже если заставляла страдать! Что может Гумм поставить ему в упрек, прочтя книгу, изданную наконец в Швейцарии, кроме того, что авторская концепция не соответствует его собственной? Правда, пребывая в хорошо понятном приступе дурного расположения духа, писатель сам называет в 1945 году «Игру в бисер» «большой неудачей своей карьеры».

Но он признается своему сыну Мартину: «Для меня эта книга… стала большим, чем идея и Игра, — она стала защитой против мерзкой эпохи и убежищем, куда, будучи готов духовно, я мог входить, где оставался часами, и ни один звук внешнего мира не властен был там меня настичь». Что это: башня из слоновой кости, где находит приют эгоист и трус? Думать так значило бы пренебречь тем, что часто отвлекало Гессе от работы над романом: его помощь своим несчастным современникам.

«Эй! Вы отлично видите, что я теперь старый эгоист, пребывающий в дурном расположении духа, не заслуживающий ласкового солнца Женерозо, которое согрело бы его плечи», — пишет Гессе 26 декабря 1939 года своему корреспонденту, которому только что перечислил разные аспекты благотворительной деятельности, отнимающей у него много времени. Слова эти, быть может, скрывают со стыдливой осторожностью иронию в адрес тех, кто упрекает его в изнеженном уединении во времена несчастий. Его действительно осуждают, и эта несправедливость — притом, что в нем нет и доли хвастовства, — объясняет его желание рассказать о проявлениях своего милосердия. Кроме того, он хочет привлечь внимание влиятельных и богатых людей к нищете, которую они не понимают так, как он, который ежедневно сталкивается со многими из несчастных.

Больше чем за год до захвата Польши «я начинаю, — записывает Гессе, — жить примерно так, как во время войны между 1916-м и 1919 м, когда занимался помощью военнопленным. Теперь меня беспокоит судьба беженцев и эмигрантов, к решению их проблем я прилагаю много усилий… Мы сидим перед нашими печатными машинками, мы создаем curriculum vitae, прошения о приеме на работу, ходатайства в полицию для иностранцев. Короче говоря, я вновь во всей этой военной писанине, и это не легче, чем раньше».

В Аншлуссе усилился приток беженцев, спровоцировав беспокойство о тех, кто не покинул оккупированную Австрию, где родилась Нинон и где у самого Гессе было много друзей. Среди австрийских беженцев был писатель Роберт Музиль, блистательный автор «Человека без свойств», которому Гессе

безуспешно пытался помочь, прося швейцарские власти продлить его разрешение на въезд в страну.

Среди стольких беспокойств Герман, по крайней мере, уверен в любви Нинон. «То, что я получаю от незнакомок любовные письма, мучительно для моей жены», — пишет он в октябре 1933 года мужу немного сумасшедшей иностранки, которая преследует его в письмах своим навязчивым вниманием. Герман и Нинон любят друг друга — это глубокое взаимное чувство. Изыскания Нинон вынуждают ее часто уезжать, но они обмениваются письмами, в которых выражения нежности не превышают размера вступления и окончания. Содержание их составляют описания повседневных дел и состояния здоровья. Взаимное уважение и восхищение, которые супруги питают друг к другу, это залог прочности отношений. По крайней мере, Герман и Нинон нашли возможность сополагать два своих одиночества, деликатно находя грань в потребности общения. Это искусство семейной жизни, достойное уважения. Правда, в признании Гессе одному корреспонденту сквозит грусть по этому поводу: *«Я* не знаю совершенной формы любви, брака или дружеских отношений, которые вы пережили. Что касается меня, часть моего существования всегда была подспудной и отмеченной одиночеством, без чьего-либо участия».

В ноябре 1945 года после заключения мира Гессе адресует своим друзьям и читателям циркуляр, в котором сообщает, что продает в пользу жертв нацизма свое частное издательство «Журнальдю Рижи».

«Воскресенье, скоро полдень, вокруг нашего дома глубокий снег, и он продолжает падать, тяжелый и сырой. Мои чувства и мысли, совершенно лишенные на протяжении трех четвертей часа живости и свежести, вдруг взлетают стремительным потоком, когда я слышу по радио два „Бранденбургских концерта“, которые наполняют мое сердце чистотой». Так зимним днем 1950 года говорит Герман Гессе. С тех пор как покинул свое цюрихское пристанище в Шанденграбен, чтобы провести с Нинон зиму в Коллина д'Оро, он все чаще и чаще слушает концерты по радио.

«Чем была бы наша жизнь без музыки?» — спрашивал он себя в 1915 году. Она ему будет необходима до самой смерти, и потребность в ней будет у него тем больше, чем менее он сможет вкусить другие радости, отнимавшие некогда его силы и его угасающее зрение. Музыка была для него всегда больше чем отдыхом. Для него это духовная и интеллектуальная пища, доступ к «внутреннему пути», который ведет к знанию и ясности, мудрому веселью, озаряющему жителей Касталии. «…Настоящий игрок должен быть налит весельем, как спелый плод своим

сладким соком…» — пишет он в «Игре в бисер».

Чтобы подарить Плинио Дезиньори внутреннюю безмятежность, без которой тот не смог бы заснуть, Иозеф Кнехт «стал играть часть той сонаты Пёрселла165, которую так любил отец Иаков. Каплями золотого света падали в тишину звуки, падали так тихо, что сквозь них было слышно пение старого фонтана, бившего во дворе. Мягко и строго, скупо и сладостно встречались и скрещивались голоса этой прелестной музыки, храбро, весело и самозабвенно шествуя сквозь пустоту времени и бренности, делая комнату и этот ночной час на малыйсрок своего звучанья широкими и большими, как мир, и когда Йозеф Кнехт прощался со своим гостем, у того было изменившееся, просветленное лицо и на глазах слёзы».

Чтобы столь полно передать могущество музыки, необходимо было самому чувствовать это. Среди композиторов Гессе выделял Баха, Пёрселла и особенно Моцарта, которого давно полюбил за «мимолетную магическую прелесть», особенно явную в операх. По отношению к Бетховену он более сдержан, не склонен видеть в нем «ни святого, ни ангела»: «Я совсем не ощущаю его принадлежности к традициям Баха и Моцарта, он для меня олицетворяет начало декаданса, нечто грандиозное, героическое, великолепное, но тем не менее содержащее изначально в себе нечто негативное». Приходится удивляться равнодушию писателя к современным ему романтикам. «Я плохо воспринимаю современную музыку, — пишет он в 1952 году. Я не иду дальше Равеля и Бартока».

Гессе всегда испытывал особую радость, слушая живую музыку. Так, в 1937 году он ездил в Цюрих на «Страсти по Матфею» с участием Илоны Дюриго и под управлением своего друга Волкмара Андреа. Французский виолончелист Сильс-Мария играл однажды целый день ему одному, и тогда Гессе пережил ощущение чуда, которое так трепетно позднее воссоздал в «Игре в бисер».

«…День этот выдался несчастный, — пишет он в „Энгадинских впечатлениях“. — Это оказался один из тех дней недомогания, недовольства, усталости и дурного настроения, какие и на ступени мнимой старческой мудрости все еще доставляют нам наша среда и порывы собственной души. Я чуть ли не силой заставил себя отправиться к назначенному послеполуденному часу в номер артиста, из-за моего дурного настроения и уныния у меня было такое чувство, будто я сажусь немытым за праздничный стол. Я вошел туда, опустился на стул, маэстро сел, настроил свой инструмент, и вместо атмосферы усталости, разочарования, недовольства собой и миром меня

вскоре охватила строгая атмосфера Себастьяна Баха; казалось, будто из нашей высокогорной долины, волшебство которой сегодня на меня не действовало, меня вдруг подняли в какой-то еще гораздо более высокий, более ясный, более хрустальный горный мир, открывавший, будораживший и обострявший все органы чувств. То, что не удавалось весь этот день мне самому — шагнуть из обыденности в Касталию, — это мгновенно совершила со мной музыка».

За исключением премии Баурнфельд, которой Вена наградила в 1904 году «Петера Каменцинда», Гессе не получал официальных наград, пока 28 марта 1936 года Мартин Бодмер от имени цюрихской организации не вручил ему премию Готфри-да Келлера. Поскольку он «на своей собственной шкуре» испытывал серьезный кризис, в котором находилась тогда немецкая литература, его радость от получения этой премии «возросла вдвое». Писатель был польщен, а вознаграждение в шесть тысяч франков его тем более не оставило равнодушным. В письме Волкмару Андреа его впечатления окрашены легкой иронией: «Мир дает нам понять, что мы стареем и слабеем, самым неприятным образом. В течение десяти лет, если я еще буду жить, меня сделают почетным доктором, а когда меня хватит первый апоплексический удар — почетным гражданином».

В отношении этих дат Гессе проявил поистине пророческую проницательность! Как ему это удалось, совершенно необьм нимо. В 1946 году немецкий город Франкфурт прост его принять премию Гёте. Он долго колебался и согласился в итоге только потому, что комитет, распределявший премии, имел безупречную репутацию.

О самой высокой международной награде — Нобелевской премии — Гессе думал, вероятно, еще меньше. Его кандидатура была предложена еще в 1933 году Томасом Манном, лауреатом 1929 года. Не успел Гессе в начале ноября 1946 года приехать в санаторий в Марен, рядом с Невшателем, где надеялся «скомпенсировать одиночеством, покоем и скукой чрезмерное переутомление этого года», как ему официально сообщили о присуждении этой высокой награды. В первую очередь он отблагодарил Томаса Манна, который ежегодно обновлял свою рекомендацию. Эти годы, сказал писатель не без оттенка черного юмора, принесли много радостей: долгое пребывание у него двух сестер, премия Гёте, наконец, Нобелевская премия. Друзья и особенно жена радовались его успеху, как дети, и «обливали его шампанским». Однако он с грустью признается Максу Вассмеру: «Жалко, что чаще всего внешние благодеяния приходят тогда, когда они нас уже не радуют». Гессе не присутствовал на крупной

шведской церемонии по вручению премий. Он отпраздновал это событие вместе с Нинон, директором санатория, мадам Риггенбах, при участии хора.

В конце февраля 1947 года Гессе ответил Андре Жиду, говоря, что из всех, написавших ему после вручения премии, вряд ли найдется корреспондент, поздравление которого ему доставило бы столько же удовольствия. «Принимая этот приз, я был сильно удивлен, почему вы не получили его раньше меня». Два месяца спустя он пишет кузине Фанни: «Недавно к нам совершенно внезапно приехал знаменитый и уважаемый гость, Андре Жид. Я высоко ценю этого писателя нашего поколения. В семьдесят семь лет он очень свежий и живой. Его сопровождали дочь, очень миленькая, и ее муж, который переводит „Паломничество в Страну Востока“». В «Листках памяти» Гессе рассказывает об этом посещении. *«Я* страшно обрадовался и в то же время немного испугался, ибо был небрит и одет в мой старый костюм для садовых работ. Заставлять долго ждать таких гостей я не мог, необходимо было по крайней мере побриться. Никогда я так стремительно не справлялся с этой задачей. И явился в потрепанной одежде в библиотеку, где с гостями уже сидела моя жена».

И вот оказываются лицом к лицу, в «первый и единственный раз», Гессе, которому скоро исполнится семьдесят, и Андре Жид, который старше его на семь лет. Жаль, что в дневнике Жида нет ни слова об этой встрече: портрет Гессе, созданный им, был бы неоценим. Однако есть много фотографий этого времени, по которым можно представить Гессе в простом костюме с болтающимися брюками и с поясом, едва придерживающим блузу из светлого полотна. Лицо, прорезанное глубокими морщинами, совсем не напоминает лицо Степного волка сейчас в нем этот образ выдают лишь остроконечные уши и резкий профиль. Сморщенный лоб и седые волосы свидетельствуют о возрасте, но в линии рта и выражении глаз таятся проницательность и ум.

Гессе, со своей стороны, подробно описал внешность и поведение француза: «Он был меньше ростом, чем я его представлял себе, да и старше, тише, спокойнее, но в серьезно-умном лице со светлыми глазами и выражением одновременно испытующим и созерцательным было все, что намечали и обещали немногие известные мне фотографии… В комнате, однако, мы находились не только впятером — на полу стояла большая мелкая корзинка, а в ней лежала наша кошка с котенком. Ему не было и двух недель, лежа рядом с матерью, он то спал, то сосал, го еще неуклюжими, но энергичными движениями пытался обойти и исследовать окружающий мир…

Оживленно и интересно шла беседа, которую Жид вел без труда, ни на секунду не но шикало впечатления, что он не полностью сосредоточен на разговоре. И все же полностью сосредоточен он не был. Моя жена, наблюдавшая за многочтимым гостем не менее внимательно, чем я, может подтвердить: в те полтора или два часа, что он сидел на диване, спиной к большому окну и к Женерозо, его пытливые, любопытные, влюбленные наперекор всякой серьезности в жизнь глаза возвращались, независимо от разговора, к корзинке с кошками: матерью и ее детенышем. С любопытством и удовольствием следил он за ними, особенно за котенком, когда тот поднимал головку и едва прозревшими глазками удивленно разглядывал большой неведомый мир… Этот взгляд, — эта великая человеческая открытость, тянущаяся к чудесам мира, — был способен к любви и состраданию, но был совершенно не сентиментален, при всей увлеченности в нем была какая-то объективность, его первопричиной была жажда познания».

Этих двух писателей, несмотря на имеющиеся расхождения, объединяла общая страсть к освобождающему бунту. Но Жид отказался от религии, Гессе — черпая из разных источников, пытался создать собственную.

На пороге глубокой старости Гессе смог наблюдать, как завершались, более или менее торопливыми шагами, судьбы сто родственников, друзей — близких и далеких. Чужая смерть на учила его смотреть на собственный конец без содрогания. «Страдать, стонать вот наш первый и естественный ответ на потерю чего-то дорогого», признает он в одном из неопубликованных писем. Однако, пишет Гессе, те, кого «знал, любил и потерял», «теперь часть меня и моей жизни, как раньше, когда они были еще живы. Я думаю о них, я о них мечтаю… Но я знаю скорбь, которая происходит от этой эфемерности, я испытываю ее перед каждым увядающим цветком. Но эта скорбь лишена безнадежности».

В ноябре 1935 года трагически закончилась жизнь его брата Ганса, который работал на заводе в Бадене. Он постоянно нервничал из-за боязни потерять место. «В последние недели, — писал Герман, — это приобрело просто маниакальный характер.

8 бюро его все сердило и раздражало, вызывало неприязнь. Ему мерещилось, что девушки-работницы замышляют что-то против него, шпионят за ним…» Не справившись с депрессией, Ганс вскрыл себе вены перочинным ножом… «Никто не может себя в чем-либо упрекнуть по отношению к Гансу. В противном случае я был бы первым, у кого для этого были основания, потому что на протяжении лет мы стали далеки друг от друга, Гансу

было неприятно, его стесняло, что у него брат такой известный интеллектуал. Потом я узнал, что он всегда при случае об этом говорил…»

О кончине в Тюбингене сводного брата Карла Изенберга в 1937 года Гессе сообщит сыну Хайнеру как о «великой боли». «Он был самым здоровым и жизнерадостным среди нас». В 1939 и 1944 годах уходят подряд несколько друзей: его окулист, граф фон Визер, Рейнхольд Гехеб, доктор Фридрих Вельти. В 1941 году умер Тео Изенберг. В апреле 1942 года Гессе пишет Отто Базлеру: «Угасла в возрасте семидесяти четырех лет наша старая Наталина, которая на протяжении двенадцати лет единственная заботилась обо мне, занималась уборкой, потом на протяжении других десяти лет царила в нашем доме и саду как добрый гений».

В 1941 году Гессе беспокоит судьба его старинного близкого друга, автора латинского эпиграфа к «Игре в Бисер», Франца Шалла, который был брошен гестапо в тюрьму. В июле 1943 года Гессе узнает, что Шалл умер.

В 1944 году в Везелау умер Ромен Роллан — соратник Гессе во время Первой мировой войны, человек, близкий ему по образу мысли, словам, действиям. Гессе его хорошо помнил и не мог отделить его имя от имени Льва Толстого, «разбудившего» Роллана, от Махатмы Ганди, его индийского друга. «Они умерли, — пишет он, — три великих утешителя, но они живы в миллионах сердец и помогают тысячам оставаться верными себе и излучать свет в мир, исполненный апатии и лишенный смысла».

В одном из писем, посвященных «Игре в бисер», Гессе пишет такие строки: «Есть только один персонаж моего романа, который почти портретен, — это Карло Ферромонте. Карло был одним из моих самых близких друзей и моим близким родственником, моего поколения, но чуть меня моложе… Это органист, дирижер хора, клавесинист и одержимый коллекционер всех еще бытующих образцов народной музыки… Так случилось, что мой дорогой племянник Карл Изенберг участвовал как солдат санитарной службы в этой бессмысленной войне. По последним известиям, он был в Польше, в военном госпитале. В конце войны он бесследно исчез».

В сентябре 1949 года угасает старшая сестра Гессе Адель: «… С детства существо для меня самое близкое, самое дорогое.

Эта новость меня парализовала, я почувствовал, будто наполовину умер сам».

В марте 1951 года он вспоминает недавнюю кончину Андре Жида, нобелевского лауреата 1947 года: «Жид значил для меня очень много, и, за исключением Томаса Манна, больше не

существует коллеги моего поколения, с которым я мог бы поддерживать подобные отношения». В 1953 году потребовалось расширить могилу Иоганнеса, чтобы она смогла принять и останки Маруллы: «…Потому что это твое место, подле нашего отца, чью одинокую старость ты еще так недавно облегчала, часто жертвуя собой». В 1955 году в окружном госпитале Цюриха умирает восьмидесятилетний Томас Манн, о котором Гессе думал, что «никогда не смог бы его пережить… дорогого друга и великого коллегу, мастера немецкой прозы», мастера Томаса в «Игре в бисер».

Наконец, в 1959 году Петер Зуркамп, которого гестапо арестовало в 1944 году и который 8 февраля 1945 года покинул концентрационный лагерь Сашзенхаузен с больными легкими, воспаленной плеврой, пополнил пантеон в душе Гессе. «Каждый раз, — говорит Гессе, открыв ему это теплое пристанище, — когда я сталкиваюсь во время чтения или в разговоре с банальным выражением об „истинной, настоящей или скрытой Германии“, передо мной тут же встает силуэт Петера». «То, что он опередил меня в смерти, — пишет Гессе доктору Зигфриду Юн-зелю, директору издательского дома „Зуркамп“, который также вскоре покинет этот мир, — мне действительно приносит боль».

Жизнь для писателя течет, подобная крестному пути и богатая утешениями, активная и созерцательная, верная своим благородным привычкам и спокойному ожиданию смерти, за которой он не видит ни кару, ни вознаграждение, но на которую втайне надеется более чем на простое избавление от болей.

После «Игры в бисер» он больше не пишет больших произведений, но продолжает тем не менее работать. Так рождаются стихотворения и короткие отрывки прозы, большей частью воспоминания. Из них будут составлены сборники.

То, что он рассказывал в 1932 году Георгу Рейнхарту о своих занятиях садоводством, так и не изменится за тридцать лет: *«Я* целыми днями выпалываю сорняки. Это для меня, учитывая мое плохое состояние здоровья, что-то вроде опиума, что меня занимает иногда по целому дню… В этой работе есть что-то религиозное: надо встать на колени и выкорчевывать траву, это похоже на молитву». Когда холодно, он собирает ветки, чтобы разжечь огонь, в котором видит печать божественности и который сам является объектом его поклонения.

Каждый раз до 1961 года он будет проводить июль и август в Энгандине, чтобы избежать жары и неизбежного скопления туристов в Монтаньоле, а в сентябре с радостью возвращаться на Коллина д'Оро, к своему саду, кошкам, к своей почте. Он редко принимает гостей только избранных, — и все более

ограничивается кругом родных: сыновья и их внуки.

В письме, адресованном Гертруде фон ле Форт, Герман Гессе описывает свой восемьдесят пятый день рождения: «Я был очень болен всю зиму, очень слаб, находился почти без движения, но, как обычно, в хороших вещах недостатка не было. Я с удовольствием читал и слушал музыку, и мы очень весело отпраздновали мой день рождения: пиршеством с моими сыновьями и их женами, с нашей Дамой, моим врачом, и, разумеется, владельцем замка Максом фон Бремгартеном, который и устроил праздник, пригласил отличный квартет струнных, игравший Моцарта. Мы праздновали все вместе часов пять, потом я ушел с Нинон к себе, а другие еще долго продолжали сходить с ума».

«Весь декабрь и январь 1962 года, — вспоминает Нинон, — Гессе чувствовал себя все хуже и хуже. У него развилась лейкемия. Он об этом не знал, слава Богу; я — тем более, если бы узнала, тоска меня бы выдала. Доктор мне сказал об этом только 2 июля… Весь этот последний год Гессе был так спокоен, как никогда раньше. Ему столько вещей доставляли радость: луна, вечерние облака… красивая занавесь при входе, к которой он прикоснулся рукой, словно к дурной траве, перед тем как передумать и отпустить. За несколько дней до смерти он остановился у подножия дерева, посмотрел на него с восхищением и показал мне его, шутя: „Смогу я его выдернуть?“».

Он посвятил утро 8 августа сбору веток для костра. После полудня побыл с Ядвигой Фридландер, французской переводчицей «Гертруды». Их оживленный разговор касался в основном Сартра, Камю и французской литературы вообще. Когда наступил вечер, Нинон почитала для него, потом, перед тем как уйти к себе, он послушал по радио сонату Моцарта. Так до конца пути его сопровождали огонь, книги, музыка, поэзия — бо'лыпая часть того, что он любил на Земле.

Герман Гессе умер во сне от кровоизлияния в мозг. несколько дней назад, узнав, что один из его друзей ушел из жизни во сне, без агонии, он воскрикнул в возбуждении: «Как это замечательно! Ты только представь! Как замечательно!», — и Нинон поняла меру «его надежды на подобную смерть». Хорошо, что его желание исполнилось: в этом завершающем аккорде судьбы можно увидеть последний штрих к истории человека, пришедшего в жизнь, чтобы прославить мир и гармонию.

Это гармония, о которой вечно на кладбище Сан-Аббондио говорят умершим высокая кампанилла и стройные черные кипарисы, под которыми в субботу 11 августа 1962 года в четыре часа пронесли гроб Германа Гессе его сыновья Хайнер и Мартин и

внуки Сильвер и Симон. Под простым каменным надгробием, в месте, которое он сам выбрал, поэт покоится рядом со своими близкими друзьями: Гуго и Эммой Балль, Нинон Гессе. И Бруно Вальтер словно нарочно нашел здесь последний приют, чтобы играть Моцарта.

Карандашный набросок внучки Изы оставил нам облик усопшего: его черты преобразила та ясность, которая часто превращалась в страдание, ясность, заслуженная верностью в течение всей жизни великому слову немецкого языка «Uberwinden» — «преодолевать»! Небо Монтаньолы — вечный кристалл над его могилой, как небо Греции, которое он научился любить во время учебы в Маульбронне.

Спокойствие двадцати трех послевоенных лет, прожитых Гессе на Коллина д'Оро, контрастирует с чередованием эйфории и смятения, которые вплоть до этого периода составляли доминанту его жизни. Ему было необходимо, чтобы дни и годы летели быстро. Было бы ошибкой думать, что безумные цвета его внутренней драмы вдруг вырвались наружу и, обернувшись мирным пастельным колоритом, исчезли внезапно в просторной глади озера — в душе, которая наконец постигла себя. Ее можно понять, следуя сквозь духовное завещание писателя — «Игру в бисер», которое являет собой не только последнее, но и самое значительное его произведение. Гессе ждал более десяти лет, прежде чем в нем произойдет духовная метаморфоза, о которой человек никогда не узнает, если ничего не испытает в своей жизни. «Так с осеннего дерева спадает листва, оно этого не чувствует, по нему течет дождь, или на него светит солнце, или его обжигает мороз, а в нем жизнь медленно уплотняется, уходит вглубь. Оно не умирает. Оно ждет…»

«Ту долю жизни, которую я отобрал у темных сил, — писал Гессе, — я принес в жертву светлым. Не наслаждение было моей целью, а чистота, не счастье, а красота и духовность».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГЕРМАНА ГЕССЕ

1877, 2 июля — В семье Иоганнеса Гессе и его жены Марии, урожденной Гундерт, во вдовстве Изенберг, в г. Кальве (Вюртемберг) родился второй ребенок, Герман. Мать — швабско-швейцарского происхождения. Отец — из балтийских немцев, ученый-миссионер; после непродолжительной проповеднической деятельности в Индии стал помощником Германа Гундерта, своего тестя, ведя дела в Кальвской издательской компании.

1881–1886— Базель. Иоганнес Гессе — учитель в миссионерской школе. Побег из дома Теодора Изенберга, сводного брата Германа событие, сильно повлиявшее на будущего писателя, который увидел в этом эпизоде проявление свободомыслия и стремление к выражению индивидуальности.

1886 — Возвращение семьи в Кальв.

1889 — Иоганнес уезжает в Берн на лечение.

1890, февраль — Чтобы подготовиться к дальнейшей учебе в семинарии, Герман поступает в гёппингенскую «латинскую» школу. Знакомство с ректором Бауэром, оказавшим сильное влияние на формирование его личности.

1891, апрель — Конфирмация Германа в Кальве.

1891, 14–15 июля — Гессе сдал швабский «земельный экзамен» и получил право учиться за государственный счет в семинарии Маульбронна.

1891–1892 — Учеба в семинарии. Весной 1892 года студент Гартман сообщает отцу в частном письме о странных речах Германа и о его тяжелом душевном состоянии.

1892, 7 марта — Бегство из семинарии. С мая — пребывание в Бад-Болле под присмотром пастора-пиетиста Кристофа Блумхардта. Знакомство с Евгенией Кольб. Попытка самоубийства; предложение Блумхардта отправить Германа в лечебницу для душевнобольных.

1892, 22 июля — Приезд в Бад-Болл Марии, которая намерена последовать совету Блумхардта и отправить сына на попечение к пастору Шаллу в Штеттен.

1892, сентябрь — Пастор Пфистерер, старый учитель Германа из Базеля, предлагает его родителям взять юношу к себе.

1892–1893 — Канштат. Учеба в лицее. Встречи с Евгенией Кольб.

1893, 24 апреля — Смерть деда Германа Гессе — Германа Гундерта, протестантского миссионера, крупного ученого-

индолога.

1893–1894 — Гессе бросает учебу в Канштате и намеревается поступить учеником к типографу в Эсслингене, однако, уже подписав контракт, 1 ноября 1893 года бежит из города. Вернувшись в Кальв, он становится помощником отца в Издательской компании.

1894, июнь—1895, сентябрь — Гессе — ученик владельца фабрики башенных часов в Кальве Генриха Перро.

1895–1898 — Ученик в книжном магазине Хекенхауэра в Тюбингене университетском центре Германии. Начало дружбы с Людовигом Финком.

1896 — Болезнь и чудесное исцеление Марии Гессе врачом миссионером Шренком.

1898–1899 — Герман — помощник книготорговца. В венском издании «Фуае дю поэт» публикуются его первые стихи. Начало переписки с Еленой Войт, которая станет его музой и корреспонденткой на долгие годы.

1899 — Выход в свет «Романтических песен», которые Мария Гессе осуждает как порочные, и сборника «Час после полуночи» в издательстве Эжена Диедериха. Стихотворения Гессе следуют традициям немецкого классицизма и романтизма; в ранний период для них характерны исповедальность, мотивы одиночества, поиска гармоничного единения с природой; в более поздней лирике звучат жизнеутверждающие ноты, вера в могущество человеческого духа.

1899–1903 — Гессе работает в книжном магазине герра Рейха в Базеле. Знакомство с Элизабет Ларош.

1900, август — Герман отправляет Елене Войт и ее мужу-издателю Эжену Диедериху рукопись «Принцесса Лилия». Образ героини был навеян Юлией, прелестной племянницей хозяев трактира близ Киршхайма, где собирался «Пти сенакль» — кружок молодых романтически настроенных студентов.

1901 — Выход в Базеле в издательстве Рейха «Произведений Германа Ла-ушера, публикуемых посмертно». Рассказы имели большой успех благодаря тонкому психологизму. Первое путешествие в Италию (Флоренция, Равенна, Венеция).

1902- Смерть Марии Гессе. Сборник «Стихотворения».

1903 — Второе путешествие в Италию.

1904 — Выход «Петера Каменцинда» — романа о судьбе молодого швейцарца, где через историю становления личности, борьбы руссоистского «естественного человека» против техногенной цивилизации утверждается ценность чистоты — лучшего, что дано человеку от природы. Вена награждает Гессе за роман «Петер Каменцинд» премией Баурнфельд. Брак с Марией

Бернулли.

1904–1912 — Семья Гессе живет в Гайенхофене на Боденском озере. Он — свободный писатель и сотрудник многочисленных журналов («Симплициссимус», «Рейнланд», «Нойе рундшау» и др.). Путешествие в Италию. Дружба с Отмаром Шёком.

1905 — Рождение сына Бруно.

1906- Выход романа «Под колесами», посвященного проблеме образования и воспитания в кайзеровской Германии. В истории Ганса Гибенрата, который становится жертвой непререкаемой авторитарной традиции и духа лжи, и его антипода Генриха Гейльнера прослеживаются автобиографические детали из жизни Гессе и его брата Ганса.

1907 — Покупка участка земли близ Гайенхофена — Эрленлох. Строительство собственного дома.

1907–1912 — Гессе — соиздатель журнала гуманитарной направленности «Мерц», противопоставившего себя пангерманистскому изданию «Вельтполитик». Сборник новелл «По эту сторону».

1908- Сборник рассказов «Соседи».

1909 — Рождение сына Хайнера. Посещение немецкого писателя Вильгельма Раабе (1831–1910) в Брауншвейге.

1910 — «Гертруда» — роман о музыканте, раскрывающий трудное становление одаренной личности в попытках обрести душевное равновесие то через единение с миром, то через бегство от него. Гессе заключает с издателем Самюэлем Фишером договор, по которому обещает предоставить ему шесть своих будущих произведений и получает за это ежемесячную ренту.

1911 — Сборник стихотворений «В дороге». Гессе отправляется в южную Индию и по возвращении публикует у С. Фишера «Записки об индийском путешествии».

1912 — Выход в свет сборника новелл «Окольные пути» — ранних рассказов Гессе, материалом для которых послужили впечатления детства. Свой родной Кальв Гессе воссоздает здесь под именем городка Герберсау и населяет его чудаками, которые часто не вписываются в размеренное однообразие бюргерского быта, порой страдают от проявлений своей индивидуальности, порой настойчиво стремятся к самоутверждению. Повествование пронизано мягкой грустью и тонким юмором.

1913 — Герман и Мия переезжают в Берн. Рождение сына Мартина.

1914 — Опубликован роман «Росхальде», где ставится вопрос о принципиальной способности художника или мыслителя к супружеству; сюжетом является история распада бюргерской семьи, описанная в большей степени с психологической точки

зрения, чем с социальной.

1915 — Активная переписка с Роменом Ролланом. 12 августа приезд французского писателя к Гессе в Берн. Сотрудничество Гессе с посольством Франции в Берне, пацифистская деятельность. Опубликована повесть «Три истории из жизни Кнульпа» («Мои воспоминания о Кнульпе», «Ранняя весна», «Конец Кнульпа»). В центре повествования — образ одинокого скитальца, бродяги, широко распространенный в Германии в конце XIX века. Странник по натуре, он противопоставляет себя бюргерской рутине во имя личной внутренней свободы.

1916, 8 марта — Смерть Иоганнеса Гессе.

1916–1917 — Лечение у доктора Иозефа Бернхарда Ланга, ученика Карла Густава Юнга, в Люцерне; занятия психоанализом.

1919 — Гессе отправляется в Швейцарию, в кантон Тичино и поселяется в деревне Монтаньола на берегу озера Лугано. Знакомство с РутВенгер.

«Демиан. История юности Эмиля Синклера» — роман, написанный осенью 1917 года. Свое авторство Гессе скрыл ото всех, даже от друзей. Издателю С. Фишеру он отправил рукопись под названием «История юности, написанная Эмилем Синклером», объяснив, что она принадлежит молодому автору, который смертельно болен. Роман имел огромный успех. С семнадцатого издания (1920) «Демиан» получает подзаголовок «История юности Эмиля Синклера, написанная Германом Гессе». «Возвращение Заратустры. Обращение немца к германской молодежи».

1920 — «Стихотворения художника». «Последнее лето Клингзора» — трилогия, вышедшая под названием третьей новеллы (также «Душа ребенка», «Клейн и Вагнер»), которую в письме к С. Фишеру Гессе оценил, наряду с «Демианом», как необычайно важное для себя произведение. «Взгляд в хаос». Начало дружбы с Гуго и Эммой Балль.

1921 «Избранные стихотворения».

1922 — Роман «Сиддхартха» (названный Гессе «индийской поэмой») на основе древнеиндийской легенды о Гаутаме Будде воссоздает путь «индивидуации», становления героя, достигаемый им через преодоление противоречия между плотью и духом, растворение в сознательном и бессознательном собственного «я», обретение единства с сущим; попытка синтеза восточного и западного мышления, различных религиозных устремлений.

1924 Сборник «Записная книжка Синклера». Гессе становится гражданином Швейцарии. С начала года регулярно бывает на курорте в Бадене под Цюрихом. январь — Брак с Рут Венгер.

1925 — Повесть «Курортник»; написана под впечатлением от пребывания на курорте Баден близ Цюриха, куда Гессе регулярно приезжает с 1923 года. Колоритные зарисовки быта курортного городка перемежаются здесь с серьезными и предельно искренними размышлениями о внутренних проблемах, о конфликте личности и внешнего мира.

1925–1926 — Каждую зиму Гессе проводит в Цюрихе.

1926 — «Альбом». Прием в Прусскую академию поэтов.

1927 — «Путешествие в Нюрнберг» — дорожные заметки, написанные в ноябре — декабре 1924 года. «Степной волк» — роман на автобиографической основе с фантастическим сюжетом (раздвоение героя на человека и волка), воссоздает атмосферу внутреннего одиночества, потерянности в большом городе, противоречивое единство животной и духовной природы личности. Выходит в свет первая биография Гессе, написанная Гуго Баллем к пятидесятилетию со дня рождения писателя.

1928 — «Размышления» — сборник литературно-критических эссе и публицистических статей, посвящен памяти Гуго Балля. В него вошли: «О душе», «Если война продлится еще два года», «Путь любви», «Братья Карамазовы, или Закат Европы», «Художник и психоанализ», «Размышления об „Идиоте“ Достоевского», «Не убий», «Магия книги» и др. «Кризис. Отрывок из дневника Германа Гессе», написан в 1926 году и содержит многие мотивы, получившие развитие в «Степном волке».

1929 — «Утешение ночи» — сборник стихотворений. «Библиотека всемирной литературы» — статья, призванная познакомить юных читателей с миром книг.

1930 — «Нарцисс и Гольдмунд» — повесть с элементами жития, легенды. Гессе дал именам героев свое особенное толкование в противовес историческому, согласно которому персонаж мифологии Нарцисс — самовлюбленный юноша, а Гольдмунд, то есть Хризостом, или Златоуст, — выдающийся константинопольский оратор, покровитель проповедникон. И основе сюжета духовное взаимодействие воплощающего абстрактное мышление Нарцисса и наивного и непосредственного ПО натуре художника Гольдмунда, судьбы которых прослежены от отрочества до старости и смерти Гольдмунда. Проблематика: двойственность, противоречие духовного и материального, отцовского и материнского, мужского и женского. Выход из Прусской академии искусств.

1931, ноябрь — Брак с Нинон Долбин, урожденной Ауслендер. Новый дом на окраине Монтаньолы, который построил для Гессе и предоставил ему в пожизненное пользование Ганс К. Бодмер. Начало работы над «Игрой в бисер».

1932 — «Паломничество в Страну Востока» — художественное воплощение внутреннего мира писателя в магическом образе Братства — тайного общества единомышленников, стремящихся достичь вершин духа и проникнуть в тайну бытия. Повесть близка по жанру к романтической сказке, содержит сложную систему символов и реминисценций.

1936 — «Время в саду» — идиллия в гекзаметрах.

1936, 28 марта — Мартин Бодмер от имени цюрихской организации вручает Гессе премию имени Готфрида Келлера.

1937 — «Листки памяти» — сборник автобиографических заметок и воспоминаний о близких и друзьях, среди которых: «Когда я был школьником», «Из воспоминаний об Отмаре Шёке», «Воспоминания о Гансе», «Воспоминания об Андре Жиде» и др. «Новые стихотворения».

— «Стихотворения».

— Выход в Швейцарии «Игры в бисер» — романа, написанного в 1931–1942 годы и посвященного судьбам культуры. В центре его проблематики — метафора культуры как игры, проблема взаимодействия государства и церкви, мирское бытие и духовная аскеза. Игра в бисер, то есть перевоссоздание культуры на основе уже имеющихся в распоряжении человечества ее достижений, имеет у Гессе два ключевых источника: музыку — область духа, и математику, благодаря которой возможна формализация духовных богатств, включение их в единую универсальную знаковую систему культуры.

1945 — «По следам сна» — сборник, вышедший в Цюрихе с подзаголовком «Новые рассказы и сказки»; отразил изменения в восприятии писателем как европейской литературы того времени, так и собственного творчества. Своей манере письма Гессе придает оттенок иронии и игры. В сборник вошли такие произведения, как «Детство волшебника», «Краткое жизнеописание», «Европеец» и др.

1946 — Нобелевская премия. Выход в Германии «Игры в бисер». Присуждение Гессе немецким городом Франкфуртом премии Гёте. Статья «Благодарность Гёте» написана по просьбе Ромена Роллана для журнала «Эроп» в связи со столетием со дня смерти Гёте, опубликована в 1932 году в «Нойе швайцер рундшау». Сборник «Война и мир» — размышления о войне и политике после 1914 года.

1947 — Присуждение почетной степени доктора Бернского университета.

1950 — Премия имени Вильгельма Раабе.

1951 — «Поздняя проза» — преимущественно

автобиографические вещи, среди которых «Украденный чемодан», «Счастье», «Однокаш ник Мартин», «Баденские заметки» и др.

1947–1954 — Публикации «Писем по кругу», близких по форме к статьям и эссе и призванных ответить на многочисленные вопросы, поставленные громадной читательской почтой: «Тайны», «Всяческая почта», «Энгадинские впечатления», «Заклинания», «Письмо „по кругу“ из Сильс-Марии» и др.

1952 — «Избранные сочинения» в 6 томах.

1955 — Премия мира Немецкой книготорговли. Присуждение ордена «Pour le mérite» («За заслуги»).

1957 — «Избранные сочинения» в 7 томах.

1962 9 августа — Герман Гессе скончался в Монтаньоле.

БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения Германа Гессе

1899 «Romantische Lieder» («Романтические песни»). E. Pierson. Dresde. «Eine Stunde hinter Mitternacht» («Час после полуночи»).

Diederichs, Leipzig.

1901 «Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher Herausgegeben von Hermann Hesse» («Произведения Германа Лаушера, опубликованные посмертно Германом Гессе»). R. Reich, Bale.

1904 «Peter Camenzind» («Петер Каменцинд»), Samuel Fischer, Berlin.

«Unterm Rad» («Под колесами»). S. Fischer, Berlin.

«Diesseits» («По эту сторону», новеллы). S. Fischer, Berlin.

«Nachbarn» («Соседи», новеллы). S. Fischer, Berlin.

1910 «Gertrud» («Гертруда»). Albert Langen, Munich.

1911 «Unterwegs» («В дороге»). G. Muller, Munich.

1912 «Umwege» («Окольные пути»). S. Fischer, Berlin.

1914 «Rosshalde» («Росхальде»). S. Fischer, Berlin.

1915 «Knulp» («Кнульп», три новеллы). S. Fischer, Berlin. «Am Weg» («В пути», новеллы). Reuss und Ita, Constance. «Musik des Einsamen» («Музыка одиночки», новые стихотворения). Salzer, Heilbronn.

1919 «Demian, die Geschichte einer Jugend» («Демиан. История юности», под псевдонимом Эмиль Синклер). S. Fischer, Berlin. «Zarathustras Wiederkehr. Ein Wort an die deursche Jugend, von einem Deutschen» («Возвращение Заратустры. Обращение немца к германской молодежи» под псевдонимом Эмиль Синклер). Stampfli, B erne. «Kleiner Garten» («Маленький сад»). Vienne. «Marchen» («Сказки»). S.Fischer, Berlin.

1920 «Blitz ins Chaos» («Взгляд в хаос»). Seldwyla, Bern. «Klingsors letzter Sommer» («Последнее лето Клингзора» — новелла, давшая название сборнику, в который вошли также «Kinderseele» («Душа ребенка») и «Клейн и Вагнер»). S. Fischer, Berlin.

1921 «Siddhartha, eine indische Dichtung» («Сиддхартха»). S. Fischer, Berlin.

«Kurgast» («Курортник»), повесть. S. Fischer, Berlin.

«Bilderbuch» («Альбом»). S. Fischer, Berlin.

1927 «Die Nurnberger Reise» («Путешествие в Нюрнберг»). S.

Fischer, Berlin.

1928 «Krisis» («Кризис»). S. Fischer, Berlin.

1929 «Betrachtungen» («Размышления»). S. Fischer, Berlin. «Trost der Nacht» («Утешение ночи»). S. Fischer, Berlin.

1930 «Narziss und Goldmund» («Нарцисс и Гольдмунд»). S. Fischer, Berlin.

1932 «Die Morgendlandfahrt» («Паломничество в Страну Востока»). S. Fischer, Berlin.

1937 «Gedenkblatter» («Листки памяти»). S. Fischer, Berlin.

1943 «Das Glasperlenspiel, Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften herausgegeben von Hermann Hesse» («Опыт жизнеописания магистра Игры Йозефа Кнехта с приложением оставшихся от него сочинений, опубликованных Германом Гессе»). Fretz und Wasmuth, Zürich.

1945 «Traumfahrte» («По следам сна»), Fretz und Wasmuth, Zürich. В этом сборнике опубликованы «Kindheit des Zauberers» («Детство волшебника») и «Kurzgefasster Lebenslauf» («Краткое жизнеописание»).

1946 «Krieg und Frieden» («Война и мир»), Fretz und Wasmuth, публицистические выступления и статьи написаны в 1914–1946 гг. Zürich.

1954 «Piktors Verwandlungen» («Превращение Пиктора»).

1965 «Prosa aus dem Nachlass» («Проза, изданная посмертно»). Книга предлагает две версии — одна от третьего лица, другая от первого, «Der vierte Lebenslauf» («Четвертое жизнеописание») Йозефа Кнехта.

1973 «Die Kunst des Mussiggangs» («Искусство лени»). Suhrkamp Taschenbuch. Тексты, подготовленные Фолькером Михельсом.